ИВАН БАСАРГИН

В ГОРАХ ТИГРОВЫХ

ИВАН БАСАРГИН

В ГОРАХ ТИГРОВЫХ

РОМАН

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА · 1975

Р 2
Б 27

Иван Ульянович Басаргин родился в глухой таежной деревушке Нижние Лужки, Чугуевского района, Приморского края, в семье крестьянина-охотника. С детства он познал тайгу со всеми ее тайнами. С двенадцати лет начал свою трудовую деятельность, работал золотодобытчиком, водил баркасы по бурным рекам Зейского района. Был фрезеровщиком, токарем, слесарем, охотником-промысловиком, учился в культпросветшколе. После окончания школы работал заведующим клубом, учителем, преподавателем слесарного и токарного дела, начальником автомотоклуба, шофером, был сотрудником районной газеты «Авангард».

После V Всесоюзного совещания молодых писателей был рекомендован на Высшие литературные курсы. В 1969 году принят в члены Союза писателей СССР.

Вышли из печати его книги: «Черный дьявол», «Волчья ночь», «Акимыч — таежный человек».

Новый роман — еще одна веха в становлении самобытного советского писателя Ивана Басаргина. В романе на протяжении многих лет прослеживается путь русских переселенцев, освоивших и защитивших от иноземцев земли Приамурья и Дальнего Востока. В центре внимания автора — династия бунтарей-пермяков Силовых, русских землепроходцев, предводителей пестрой крестьянской вольницы, которая и положила начало заселению диких таежных земель.

Б $\frac{70302-296}{083-(02)-75}$ 6—74

Часть первая. БУНТАРИ

1

Широко, с богатырской уверенностью течет Кама-река. Туманятся тихие плесы по утрам, стонут чайки, крякают утки на заводях и озерах. А когда приходит ночь, то тихо вздыхает, будто ей так же тяжело, как и человеку, который живет на ее берегах. А может быть, жаль ей человека? И как не пожалеть? Стоит над Камой стон, редко слышен над Камой смех. Но плывут над Камой-рекой думки шальные, думки разбойные, думки бунтарские.

Мужицкая река. Всюду мужики, они гонят плоты, тянут баржи, бегают по реке на лодках-плоскодонках. Завшивлены, оборваны, косматы, и души их расхристаны. Это Русь. Это суровое мужицкое лицо. Болтаются на шеях медные кресты, трут шеи грязные гайтаны. Не ново. Тягуче поют бурлаки «Дубинушку», стонливую, привычную. Жарит их солнце, жжет ноги песок. Э, что говорить, долго тебе, Русь, быть завшивленной и косматой,

чем-то похожей на медведя после зимней спячки. А что делать?..

Феодосий Силов со товарищи гонят плоты в далекую Астрахань. Отдыхают, радуются солнцу. То не работа — ворочать тяжелыми кормилами, так, баловство. Хотя пока прошли щеки бурных перекатов Камы, не раз приходилось смотреть в лицо смерти. Да и до того, как спустить лес на воду, пришлось поломать спину: со стоном и хрипом волочили бревна к реке, потом сбивали из них длинные и неповоротливые плоты-самокрутки, чтобы сплавить их и продать купцу-барыге. Что заработают? Гроши, за которые и портков новых не справить.

— Э-ге-ге-гей!— орет во всю мочь Феодосий Силов. А голосище у него как иерихонская труба. Таким голосом только мертвых из могил поднимать, когда будет второе явление Христа народу. Заглушит даже трубы архангелов.— Иване, навались, догоняй! — потрясает кулачинами мужик.

Вай! Вай! Вай! — весело откликается Силову прибрежное эхо. Разбудил сонливое.

Андрей, мизинный сын Феодосия, косит родниковые глаза на отца — чего, мол, орет? Здесь так тихо и мирно, что только и подумать о боге, о судьбах людских. А орет Феодосий от избытка сил, а силы у него не занимать, хотя ему уже далеко за полста лет. Ну и пусть орет. Андрей опустил ноги в теплую камскую воду и посматривает на берега. А берег тоже живет: ровными рядами, как солдаты, что идут в наступление, шли мужики, косы поднимались враз, дружно, падали к ногам травы, покорные. Это крепостные косили сено для помещика. Свое будут косить потом, косить в убогих ложках, на засушливых угорьях.

Травы... Вот эти-то травы и стояли перед глазами Андрея, а над ними протяжный крик, как стон чайки: «Андре-ей! Вернись! Андре-ей! Судьба моя!» — так кричала Софка Пятышина. От этого крика и сейчас холодеет под сердцем, тягостно на душе...

...Вот они идут по росистым травам, бредут по ним, как по воде. Софка же оплела шею Андрея своими гибкими руками и ведет его к звездам, что припали к земле. А потом они целовались. Было жарко и необычно. Потом был «блуд великий», от него-то и бежал Андрей. Не мог не бежать Андрей от Софки. Набожный, чистый, не принял Софкиной любви...

Было с чего. Андрея обучал грамоте и воспитывал в духе божьем Ефим Жданов, самый честный человек в деревне. Таким его принимал Андрей. Говорил Ефим: «Прелюбо-

деяние — грех великий». Но забыл старый, что первая любовь — чиста и безгрешна. Первая любовь — это первый следок судьбы, первые радости земные. Все забыл с годами старик.

«Андре-ей!» — повис чей-то крик над рекой, Андрей вздрогнул и обернулся. «Андрей, греби доселева, пора мужикам едому нести».

«Блазнить стало. Ну на кой ляд мне видится Софка? Ить, кажись, мне любится Варя. Варя добрая, тихая, а Софка огнистая, жаркущая. Боюсь я ее. Господи, прости мой грех!» — перекрестился Андрей, встал, подошел к отцу и принял из его рук кормило. Задним кормилом ворочал Ефим Жданов.

— Пороби, пороби, с души болесть сойдет,— усмехнулся отец, будто прочитал думы сына.

«Андре-ей! Ты судьба моя!»

Софка упала в травы и забилась в тяжелом плаче, задохнулась в душевном крике. А Андрей убегал. От себя убегал. От любовного неистовства Софки убегал. Только можно ли от любви убегать? Убежал. А потом пришла другая любовь, тихая, божеская, где только было касание рук, тихий смех, тепло под сердцем. Софка однажды бросила Андрею: «Ты еще вспомнишь меня. Не одну маету за первую любовь примешь. Богом прикрылся, но знай: то было тоже божье...»

Навстречу тянули баржу бурлаки, тяжело, надсадно тянули. Они тоже будут тянуть баржу от Астрахани до Перми. Не пойдешь же пешком в такую даль зря. Деньги проешь, что заработал на плотах. Тогда и на глаза домой не показывайся. Каждый должен нести копейку в дом, копейку на царскую подать. И быть Андрею в общей связке, петь Андрею «Дубинушку». Хоть он и молод, но во всем горазд: и плот свяжет, и дом срубит, а ко всему рослый, широкоплечий, а уж силушки ему не занимать стать. Силовской родовы, чего уж там. Хотя он обличьем не похож на Силовых, по-монгольски скуластых, чернявых, будто с одной колодки шитых. Андрей же белокур, да так белокур, как одуванчик после цветения. Дунь на его кудряшки, и кажется, что они пухом разлетятся по сторонам. Глаза — небо голубое, если не голубей, а там тихая тоска утонула. Андрей пошел в мать-пермячку, робкую и податливую во всем,— Меланью. Да и душой в нее: не соврет, не обманет, не попрекнет бога за тягости, что шлет он на людей. Ходит мягко, с чуть отрешенным видом, часто напевает молитвы.

Не любо такое Феодосию. Сам горяч, резок на словах и в деле. Даже порой жесток, если это надо. Хочет видеть сына таким же, как сам. Привязал его к себе, как веревкой. Задумка

есть — выбить из сына душевную хлипкость работой, обозлить тяготами, голодом, частым гостем у мужиков, чтобы он излил свою душу в злой матюжине, чтобы закричал во всю силу легких от радости, если она есть, силу бы в этом крике испытал, берега бы разбудил. Но Андрей пока оставался самим собой.

Ползут плоты. Вот они прошли Оханск, протянулись мимо родной Осиновки, но недосуг забежать мужикам к своим, зудкое тело в печи попарить, вшу выжарить. Надо спешить, следом тянутся плоты, падет цена на лес, в прогаре будут. Да и к жатве надо поспеть, хлеба наливаются ядреными колосьями. И каждому хочется, особенно голове семьи, нажать первую горсть хлеба.

Течет Кама-река. Просторны ее берега, широки заводи. Поодаль тянутся угорья, чуть ниже ложки́, долинки, луга заливные. Не земля, а радость мужицкая, хоть она и потлива, не всегда урожайна; но побольше бы такой земли — и мужик бы поднялся на ноги. Но не мужицкая это земля. Чужая земля: то помещичья, то купеческая, то государева. Силовы, Воровы, Ждановы — все это государевы люди. Будто и вольны, но от подати их государь не освободил. А уж подать, будь она проклята, все на нее уходит: и деньги, что будут заработаны, и урожай, что зреет на пашнях. Платить так, за спаси Христос! Государева земля, а почему не мужицкая? Чудно устроен мир: мужик пашет, мужик сеет, но сеятель не ест вдоволь хлеба.

— А про ча я должен кормить царя? Пошто я кормлю воров и нищих? — орет на Ефима Жданова Феодосий.

— Хэ, дура, а рази ты не понимаешь слова «муж». Муж — значитца голова всему существу на земле. А раз голова, то и корми всех: кто богат, кто нищ,— спокойно отвечал Жданов.

— Умен! А пошто я должен кормить всех?

— Так бог повелел. Кормить во искупление грехов своих.

— Бог повелел? Так пусть бы он мне дал земли поболе да чуток продыху, тогда бы я богу в ноги поклонился, государю тожить. А так я не боле как раб божий, раб царский. А так всяка тля тебе в душу лезет, да с ложкой в твою чашку. Дай мне волю, я бы засыпал Расею хлебом, вот те крест, по маковку бы засыпал...

Течет Кама-река, ложатся на угорья тихие ночи, звездные, мудрые: с комариным звоном, тихим шелестом волн, с шепотом зреющих хлебов, ржаных, сытных. Спят плоты, уткнувшись в берег. Лишь не до сна людям. Та же печаль, те же думы спать не дают. Нудят душу. Ефим Жданов доит свою козлиную бороду, тянет руки к огню, шмыгает острым носом, миролюбиво гудит:

— Все дано от бога, во всем дела божьи. Ни един волос не падет с головы человека без веления бога.

— Ха-ха! Знать, оттого ты и лыс стал, что бог того восхотел? Врешь! Не божии то дела! — рыкает Феодосий.— Куда ни плюнь, все не в радость!

— Грешно такое говорить. Бог на небеси, он все зрит. Все!

— Ежли бы зрил, рази бы слал такую маету на мужика? Как я ни кряхти, а нонче и пятой части подати не смогу выплатить. Две части с хлеба, три с отхода. Долгов с прошлого года рублев на пятнадцать набралось. Вот и считай, что зряшно я вшу кормил. Так и так розог не миновать.

— Бунтовать надо,— ворчит Иван Воров.— Бунтовать!

— Бунтовать, а кого в голову? То-то. Нет у нас головы, потому нишкните. Много бунтуем, а толку мало. На наших спинах вороги росписи делают,— рыкает и на Ворова Феодосий.

— А что делать?

— Уповать на бога, а не бунтовать. Все идет от бога, даже вша и та божий плод. За муки наши, за радение наше апостол Петр откроет нам райские ворота. И будем мы жить в тиши и песнопении.

— Заткнись! Я хочу здеся слышать ту тишь и песнопение. Эх, знать бы в точности свою судьбу, тогда пошел бы я по ее следам и никуда бы не сворачивал. Но не знаю. А коль не знаю, то и плыву за ней, как наши плоты по воде.

— Тятя, а тятя, не ярись, след наших судеб ведом только богу. И даже в худом можно видеть красоту и божье творение на этой земле. Ты послушай, послушай, как шепчется ночь. А? Ажно душа млеет от этой тиши райской, благодати земной. Чего же ругать бога и судьбу свою?

— Не юродствуй! — еще сильнее взорвался Феодосий. Ему стыдно было за сына. Такое говорить при мужиках, они вон и глаза опустили. Твоя, Ефим, работа! И сделал сына юродивым: бог, пташечки, райское песнопение. Вот заведет Андрей семью, тогда познает желчь, которая не однова у него отрыгнется. Головой будет, весь и спрос с него, не раз снимет порты да ляжет на лавку дубовую под розги березовые. Забудет думать о тихих ночах и тиши райской.

— Эх, Феодосий, Феодосий, гореть тебе в геенне огненной. Супротив бога идешь, туда же сына зовешь.

— Нишкни! Отнял сына. Хрена бы вам с редькой вместо хлеба,— может бы, начисто бога забыли. Запели бы другое. У, козел божий!..

Таким спорам нет конца. Сколько помнят этих друзей люди, столько они и спорят. Но раньше Феодосий бога не клял,

с опаской говорил, что он, мол, творит что-то не так, сейчас же стал даже матом его крыть. Далеко зашел мужик, далеко! Раньше он спор кончал такими словами: «Кому быть повешенным, тот не утонет. Судьба не дозволит, а судьба дело темное, как и завтрашний день». Сейчас же добавлял к этому: «Бог тоже дело темное, пожалуй, темней судьбы и завтрашнего дня». Приказывал спать.

Дремала ночь. Далеко, за угорьем, метались сполохи. То ли горело какое-то село, то ли мужики взбунтовались и жгут помещика. Такое здесь не в новинку.

Андрей шагнул от костра и лег в травы. Еще не росные, еще теплые. Лежал и слушал перезвон кузнечиков, тонкий напев комаров, шумные вздохи реки. Смотрел, как плакала июльская ночь звездами, среди них плескалась луна. Он еще чист душой, не накопилась в нем злоба, не заматерело сердце от невзгод, чтобы все это выплеснулось в заполошном крике: «Бей! Круши! Бога мать!..»

Так дни и ночи. Отдохнули. Продали лес в Астрахани, не свой лес, с этого леса добрая половина денег пойдет купцу, что держит сплав в верховьях Камы. Нанялись тянуть баржу с солью. Не привыкать, уменья не занимать. Каждое плесо знают, каждую мель ногами промеря́ли. Дотянут. На то они и мужики, а мужик все должен мочь: плоты вязать, гнать их по рекам, тянуть баржи, пахать, сеять, жать, выжигать уголь для заводов, железо плавить, травы косить, мраморные дворцы строить для царя и вельмож. На мужике Русь держится, как земля на трех китах.

Феодосий уже не спорит с Ефимом Ждановым. Спор пустой, от него мужику легче не будет. Живет и рассказывает о прошлом. Не верится в то, что он говорит, но и за сказ мужик деньги не просит. Отчего же не послушать.

— Вольна была эта земля,— начинал Феодосий, тянул клешнястые руки к костру, тяжелые, с въевшейся навсегда пылью, — вольны были здесь думы, вольны в делах своих люди. Во времена заполошного царя Ивана Грозного бежал сюда мой пращур, бежал от боярина, чтобыть вольным стать. Пришел на Каму-реку, поклонился ей, воды испил, и возрадовалось сердце... Его мирно встретили тихие и добрые зыряне и пермяки. Пригрели они вольнодумца, обласкали, дали землю, построили дом. Жили те люди в достатке, может потому и были добры и покладисты. При нищете — добрым не будешь. У тех людей главным богом был бог Лен, творец всего сущего на земле. Он,

как добрый дедушка, коему и спешить-то некуда, учил людей пониманию жизни и мудрости. И люди те не ведали даже слова — грех. Все они были чисты и безгрешны, потому как бог все грехи людские на себя взял. Ибо все люди есть дети божьи, и он за каждого в ответе.

В лесах жил другой бог — Вор Айка. Он тоже не сидел без дела, а очищал леса от болестей, от гнили, берег их, зверя холил. И люд шел в те леса не за корыстью, а за очищением души своей. Ибо лес делает человека добрее, выше и мудрее в думах своих. И люди любили свои леса, берегли каждое деревцо, считали, что оно тоже может кричать от боли, ежели не в дело его пущать.

Хлеба и пашни защищала добрая богиня Вушерка, девственница и доброхотица. Не давала скудеть земле, болеть хлебам. Сама была чиста, ако росы, делала такими же чистыми и людей своих. Люди любили Вушерку, поклонялись ей, как дивной бабе...

Долго жили те люди в чистоте и доброте, в тиши лесной и птичьем песнопении, пока не пришел к ним монах Стефан. Пришел и отнял у них веру, дал единого бога, а с тем богом грехи людские, муки душевные. Принес дьявола и чертей, домового и водяного. Сумел повести за собой тех мирных зырян и пермяков, а они, сами не ведая всей пагубности, возвели этого монаха-брандахлыста во святые, назвав его Стефаном Пермским.

А скоро пожаловал сюда и разбойный атаман Ермак. Стефан пленил души пермяков и зырян, а Ермак пленил все, подвел и пращура нашего и этих людей под высокую руку царя. Порушил мир, добро затоптал...

— Дух твой, Феодосий, сомустил дьявол. Ты такое снова говоришь о святых и боге, что страхотно делается, мурашки бегают по спине,— вставил Ефим.

— Не мешай. Может быть, и запутался я в богах-то, но ежели бы вернулись сюда те боги, то ушел бы я к ним. Нет добра в нашем боге едином, да еще в трех лицах, трехликий он, а может быть, двоедушный ко всему. Ежли нет добра на земле, то не может быть его и в раю, ибо земля и рай — это все божье. Бабу узнают по сарафану: чист,— знать, и в доме все чисто и угоено, тогда и душа добра и чиста. Мужика узнают по его воротам: ежли они прямы и красивы, знать, в доме достаток и мужик не ленив. О нас, конешно, такое не скажешь, просто мы захирели душой и телом. Бога же — по его делам. Царя — по мужику. Чист и сыт мужик,— знать, и помыслы царя и дела его чисты, людские, человечные. Наш же царь и наш бог будто

спелись, дуют в одну дуду, а жисти мужикам не дают, ездят на них, как на клячах, выбивают последний дух розгами.

— Изыди, нечистая сила,— махал длинными руками Ефим.

— А ты помолись,— может быть, и убежит из моей души сатана. Не убежит, крепко прижился. Дай досказать, пусть люд судит, кого мы славим, кому молимся. Вот и ответь мне, Ефим: ежли я лба с утра не перекрестил, знать, я грешник?

— Тако, тако,— кивал бородой Ефим.

— Нет, не тако, я святой, Ефимушко, я вламываю, как кобылица, я люд кормлю, божьего помазанника тоже, Расею кормлю, чтобыть она была крепка, не уступала бы ворогу в силе. А мы бездельника, коий жрет мой хлеб, сидит в пустыне,— во святые. Во святые за то, что он лоб свой бьет денно и нощно, пошто бы ему также не поробить на пашне аль еще где? Святых развелось поболе, чем у меня вошей. И все они корыстны и подподушны, бо мечтают о своем бессмертии, о райской жизни. Вот ежли бы они держали свое тело в посте и молили бы бога, чтобы он и в загробной жизни послал бы их в ад, тогда бы я поверил в их святость. А так не моги и говорить мне об их святости.

— С такими помыслами я бы тебя посередке оставил, чтобы ты маялся между раем и адом. Чтобы ты познал и бога и дьявола.

— Ха-ха! Все ты врешь, бо ты есть путаник и божий козел. Стара присказка, мол, хлеб ести в поте лица своего. Я ем-то в поте, а помещик только и потеет, когда чай с малиной пьет. Тоже метит в рай. Вот ежли уж кто заслужил рай, то мой дед Евлампий. Он, ног не жалея, руды и золото всю жисть искал. Все, что находил, то передавал купцу Демидову. И вот нашел он золото и россыпь камней самоцветных на земле Строгановых. Прознал Строганов про находку и давай улещать деда посулами. Евлампий ни в какую: мол, дал слово служить Демидовым верой и правдой и от того слова не откажусь. Не отказался, хоть Строганов и обещал деду купеческое звание, сгнил в темнице подземной, но остался верен слову. А с той поры Силовы дали обет не искать злата и камня самоцветного. А вот ты, Ефимушка, корыстен, умре твой брат, что же ты сделал? Ты у его жёнки половину земли оттяпал. Вот и вся твоя святость, вся доброта. Теперь ответствуй: может стать святым Евлампий?

— За долготерпение он стал святым. Бог избрал народ свой для долготерпения, он сам много терпел и нам то же делать велел. Мы должны нести крест мучеников, как он нес его на Голгофу.

— Эхе-хе, упрям ты, Ефим, как козел урядника, все-то гундосишь свое.

— Бог такое в душу вселил.

— Надоел! Не дал досказать дивный сказ. Да уж ладно, от него в душе болесть, обойдетесь. О боге же нашем скажу, что он стар, пото глух к молитвам нашим. Надыть бы выбрать бога помоложе, чтобы за каждого радел, робил бы на нас, а не супротив нас.

— Не моги такое говорить, предадут анафеме! Живьем сожгут!

— Ты сожгешь? Ты предашь попу-блуднику? Меня и мою дружбу предашь?

— Ради бога все мочно.

— Эх, житуха! Бог мает душу, а попы и царь тело.

— Попы — божьи пастыри, а царь за бога на земле, а мы их овцы...

— Коих ведут под нож,— закончил Феодосий, вздохнул и улегся спать.

— Топоры точить надыть! — проворчал Иван Воров и тоже отполз от костра подремать.

Расползлись и другие. Стало тихо и мирно на земле ночной.

Мужики вернулись к жатве. Хлеба родились добрые, сочные, так и просились на серп, в горсть мужицкую, ласковую, сильную. И зря нудился Силов, зря, больше половины подати уплатил, и с отхода, и с хлебов. А впереди еще зима, уйдут с сыном уголь для демидовских заводов выжигать, остальные же сыновья уйдут валить лес помещику. Копейка к копейке — рубль. Смотришь, и открутится от розог голова Силовых. Урядник тоже в эту осень был покладист, его жёнка, Любка, родила рыжего мальчонку,— правда, не похож на урядника, но не беда: чей бы бычок ни прыгал, а теленочек наш, так говорят в народе. Урядник даже пивом угостил мужиков. Они, тоже добрые от богатого урожая и угощения, помогли уряднику хлеба сжать, сено вывезти на подворье. Известное дело, рука руку моет, то обе чисты будут.

И вот с колючими ветрами ушли жечь уголь Феодосий и Андрей. Ушли надолго, вернутся с талым снегом.

2

Урал. Каменный пояс земли. Круты здесь горы, высоки их вершины, столь высоки, что даже пашут ленивые облака. На замшелых скалах вьют свои гнезда орлы, спят в обнимку

с туманами. Полощутся в бездонных озерах звезды, там же купается корявая луна. Густы леса, в лесах звери. Здесь можно, как говорят, не сходя с места, отковать меч из взятого из земли железа, осыпать его рукоять самоцветами, сделать золотую роспись. Все есть на Урале.

А Урал, как старая песня, легендами и сказаниями оброс. Много тайн утонуло в его земле, озерах, затерялось в глухих распадках, затаилось в пещерах. Не отыскать их, не прознать. И живет Урал, копит в себе тайны людские...

Просторна, но низка землянка Феодосия Силова. Строил он ее такой, потому что сюда собираются углежоги в долгие зимние вечера, спорят о делах мирских, поругивают царя, его ярыг, но в то же время не теряют надежд на лучшие времена. Должны они быть. Но когда?

Забегают на огонек лучины бродяги, от них Феодосий узнаёт, что творится на земле, о чем говорят люди.

Вот и в тот памятный вечер, который заронил дивную мечту в сердце сурового пермяка, Феодосий сидел глыбой на чурке, по привычке тянул лапищи к каменной печи, хмурил мшистые брови, розовела от огненных сполохов борода, черная, вразмах, вразлет, трепетали от гнева ноздри широкого носа, не по душе Силову разговор. Напружинился, сейчас прыгнет на человека, сомнет его. Но божий странник не хотел замечать палящего взгляда, ровно говорил:

— Да, я старовер-беспоповец. Бегун. Наше бегунство идет от святого Ефимия. Тако мы боремся со злом царским. Наш путь спасения — это не думать о чадах, о жёнках, о доме, о торгах, стяжаниях, иже не имати ни града, ни села, бегати, досаждати антихристу, не платить подати, не признавать власти, убегать от солдатчины, не давать присяги...

— Брысь! — рыкнул Феодосий.— Дурно ваше учение, ако песья блевотина. Бежать! Скрываться! Для ча? От кого? Детей, жёнок — все бросить? Тронься за вами вся Расея, то все с голодухи подохнем. Другой сказ, ежли бы бунтовали супротив царя, то я с вами. Оружье грешно в руки брать? Тогда мы вам не будем давать едому, гнать вас в шею, посмотрим, что вы запоете. Вон на холод и в ночь, пусть бог тебе даст крышу и тепло! Вон!

— Обозлено твое сердце, бежим, в бегах оно помягчает.

— Вон, чтобыть и глаза мои тебя не видели! Я тоже был раскольником, двуперстием крестил лоб, но за то двуперстие надобно двойную подать платить. Так пусть бог рассудит меня, прав я аль нет, что стал щепотью креститься. А Ефимия я ва-

шего знавал. Дезертир он и моталка. Полезности от его учения нет ни ему, ни люду. Вон!— уже устало гнал бегуна Феодосий.

Ушел бегун. Феодосий повернулся к сыну, что лежал на нарах, сказал:

— Дурак бегать. А куда вас девать? Мне за каждую душу надобно подушной подати заплатить по девяносто коп и еще одна, да оброчных по два рубля да еще семьдесят коп. А он бегать. Вас же засекут до смерти. Эх, Пугачева бы сызнова сюда! Вот энто бы для нас приемлемо было.

— Пугач был вор и божий отступник, не от бога он пришел к люду. Царь просто не знает, как мыкается народ, лиходеи-богачи скрывают от него правду.

— Эх ты, младен, царь все знает и ведает, только его голова не добирает, как исделать Русь могутной, а народ сытым. К нашей земле нужен головатый царь, а может быть, мужицкий царь, коий бы наперво поел нашего хлеба, а уж потом в цари...

Не остыл еще Феодосий от гнева на бегуна, как открылась дверь, ворвались морозный пар и свежий воздух, шагнул другой бродяга. Перекрестился тоже двуперстием, бросил:

— Здорово ли живете, мужики?

— Спаси тя Христос, как все люди на Руси,— со злой усмешкой ответил Феодосий.— Милости просим к столу, не царский, не боярский, но поесть можно. Чаек, правда, на малиновом листе, хлебушко наполовину с сосновой корой. Може, сдобы подать?

— Спаси тя Христос, сдобы давно не едал, да еда-то жидкая, только пучит, сытности нету в животе. А хлеб с корой посильнее будет, только тяжко с него живот простать. Ну да мы привышные. Каторга и похуже едала хлеба.

— Э, да ты каторга? Отпустили аль как?

— Бежал. Оттель никого не отпущают. Почти всех ногами вперед выносят, то уж отпуск долгий.

— Где томился?

— В земле Даурской.

— Эко куда занесло! Так, а сам-то откель будешь?

— Да вашенский, только чуток будет севернее, в самой тайге, там наша братия жила. На каторгу-то попал из-за помещика. Он повадился ездить к нам на охоту, почал сманивать мою жёнку, на прелюбодеяние соблазнять. Вот и шоркнул я его в логу. Сдох, как кобель. Прознали, мне вечную каторгу, жёнку в крепостные, а братию тоже туда, многие сбежали, а часть будто так и осталась в крепости у помещика. Пять раз убегал, на шестой повезло.

— А как поймают?

— Ну и че, вечная, она есть вечная, поймают, более уже добавлять некуда. Иду, чтобы жёнку свою отнять и снова туда же.

— На каторгу?

— Да нет же, для ча бы я туда перся, побегу в Беловодское царство, там, брат, житуха райская.

— Куды, куды?

— Да не кудыкай под руку-то. Есть такое царство, только далеконько отсюда будет. Мужицкое царство.

— Пошто же мы не знаем про то царство? — потянулся Феодосий к каторжнику.

— А пото, что о нем не каждому говорят, вот глянул на тебя и враз поверил, потому как ты черней грозовой тучи сидишь в этой завалюхе, знать о чем-то думаешь. Таким вот и сказываю про то Беловодье. Потом же, туда надо звать мужиков с крепким умом, да чаще мучеников царских. Гля,— каторжник поднял косматые волосы со лба, углежоги увидели темное клеймо «К», — а вот здеся, под бородой, на правой щеке, стоит буквица «А», на левой же «Т», вот и читается «КАТ». Таких туда примают. Бывал в том Беловодье нашенский, из каторжан, прознал все честь по чести, вернулся, чтобы своих набрать для подмоги тому царству, но его схватили ярыги, захлестали плетьми. Успел он сказать, что там нет царя, попов; раз нет тех и других, то нет и податей. Люд живет, робит с песнями, все сыты, все одеты. Главит то царство мужицкое вече. Словом, как писано в святом писании, то царство и есть земля обетованная.

— Садись поешь, чать голоден с дороги.

Каторжник ел, подставляя руку под кусок хлеба, чтобы ни одна крошка не упала на пол. Грешно хлебом сорить. Поел. Феодосий начал тормошить:

— Расскажи точнехонько, где лежит то царство?

— Раззудил. Не ошибся, кому сказать про то царство. Быть тебе там. Лежит оно, значитца, на берегу окиян-моря. Это, значитца, надо пройти всю Сибирь, миновать землю Даурскую, за море-Байкал перейти, значитца, потом бежать вдоль берегов большой-пребольшой рекой Амури, та река-то и приведет в Беловодье.

— Сколько же шел с земли Даурской?

— Почитай, два года. А до того царства надо чапать еще полгода, может чуть поболей. Я побегу туда. Заберу жёнку и побегу.

— М-да,— протянул Феодосий, хрустко почесал бороду.— Ходоков бы туда послать, все прознать, — может быть, и мы бы тронулись скопом.

— Ходоки — пустое дело. В одиночку туда трудно будет пробиться: тайга, звери, казачьи посты. Надо уходить большой общиной, так сподручнее. Найдутся и у меня дружки, кои хотят воли, земли, чистой жизни. От Усть-Стрелки и побежим.

— Каторга аль вольные?

— Каторга. Люд же, что живет на берегах Амури, добр и покладист. Ты не трогай, и тя не тронут.

— Что делал-то на каторге?

— Для царской казны золото мыл, чего же боле. Спаси Христос за хлеб, за соль, пошел я, ночь — моя попутчица.

Ушел каторжанин в ночь, ушел и оставил в душе Феодосия смятение и мечту, не то что тот бегун-раскольник. И задумался: «А ежли правду сказал этот человек? Ежли есть такое царство, то ить бежать надо, и немедля!..»

Утром приехал приказчик, осмотрел уголь и сказал:

— Худой уголек, уплачу по копейке за короб и не боле.

Феодосий, было с ним и раньше такое, подошел к приказчику Никодиму, выдернул из-за пояса топор и заревел:

— Порешу супостата! До коих пор будешь обманывать нас!

Никодим сиганул за спины возчиков, оттуда быстро-быстро заговорил:

— Дэк ить такое приказал сам Франц. Демидов с него деньгу требоват. Его жёнка племянница самого Наполеона, она будто восхотела купить корабель, чтобы на нем весь свет объехать. Сам же Демидов будто купил средь моря остров, стал зваться князем Сан-Донато. Понимать надо. Не всяк женат на такой бабе.

— Пусть он женится хошь на самом Полеоне, мы тута ни при чем. Уголек ажно звенит, ни разу огонь не пробился через землю, стомили лучше, чем баба томит молоко в печи. Три копейки короб, аль я тебе башку отрублю.

— Не пужай, Феодосий Тимофеевич, я пужаный, у меня сердце пужаное; так и быть, по три копейки заплачу, но другим об этом ни слова, — умолял приказчик.

Сошлись. Феодосий ссыпал серебро в кожаный мешочек и повесил его на шею, рядом с крестом. И тут же послал Андрея, чтобы он рассказал другим углежогам, как заставил он раскошелиться Никодима. Шум был великий. Никодим, взбешенный, ускакал на завод. Углежоги собрались у закопушки Силова. Судили, рядили, сговорились не продавать уголь дешевле трех копеек короб.

— Кругом обман, лиходейство! Каждый норовит зачерпнуть ложкой поболе, да со дна. Никодим нас обманывал всю зиму;

почитай, скоро марту конец, а что мы заробили? И врет все Никодим, что того требоват немец. Сдался он потому, что вор.

Тихо в уральском лесу. Дремлют старые горы, слушают могучий бас Феодосия Силова, его бунтарские речи. А вокруг толпа углежогов. Он говорил:

— Ворам надыть сечь руки, головы. Царь и его ярыги назвали нашего мужицкого царя Петра Федоровича вором, будто тоже отрубили ему голову. Но то неправда, наш царь Петр ходит промеж нас, чтобы снова поднять народ на бунт великий. Бунтовать царя, бунтовать церковь, всю никонианскую ересь побоку, царя тоже — и заживем по старинке, тихо и мирно, как жили здесь наши предки...

Смотрели мужики на Феодосия, мысленно подравнивали бороду, одевали его в царские одежды, и все сходились на том, что это и есть богом спасенный Петр Федорович, атаман Пугачев. Годы не сходились. Но ежли бог спас Петра от лютой смерти, то почему бы не продлить ему жизнь, молодость.

— Тиха ты о расколе-то,— шикал на Феодосия Ефим Жданов.— За брань православной веры сожгут в срубе. А тех, кто раскаялся и снова ушел в раскол, казнят смертью.

— От чудило, от бухало, какая разница — сожгут тебя в срубе или казнят? Однова смерть.

А кое-кто тихо спрашивал Феодосия, уж не он ли богом спасенный царь?

— Куда мне до царя? Головой не вышел. Но доведись править миром, то правил бы не хуже Николашки-полудурка. А че? Ить мой дядя Селивон при Пугачеве был полковником. Воевал ладно, умно, не раз бегали от него супротивники.

Сказывали старики, что Пугачев был великой силы человек. Феодосий тоже был в силе. Однажды на него прыснул медведь, этак пудов на десять, Феодосий схватил космача поперек и бросил его под обрыв, только камни загремели. Ефим Жданов позавидовал, сказал:

— Мне бы такую силушку, пра, мир бы к ногам положил.

Но пока он кричал:

— Не подбивай народ на бунт. Аль забыл картофельный бунт? После него едва кровями отхаркались, снова нас под палки зовешь? Шли супротив «чертова яблока», а теперь без него редкое застолье обходится. Знать, зря бунтовали. Боялись еще, что нас продадут барину, из казенных крепостными сделают. Враки оказались.

Картофельный бунт подняли заполошные раскольники. Они писали, что кто будет есть «чертово яблоко», погибнет, на земле случится мор великий, так-де царь-антихирист хочет.

— Теперича те же раскольники торскают ту картошку, ажно за ушами трещит.

— Не гуни, придет наш царь, и все будет в ладах.

— Никто не придет, акромя Исуса Христа. Пугач был вор. А секут нас праведно, чуток ума через заднее место доставляют. Ты переметчик, я же никогда не изменю своему второму крещению. А царя бунтовать — однова бога бунтовать! — визжал Ефим.

— А рази я не об этом же тебе говорил, что надо бунтовать сразу царя и бога? А потом, рази бы бунтовал я царя, ежли бы пузо мое было сыто? Пусть меня накормят, оденут, дадут в руки надею, вместо посоха странника, и я буду им друг закадычный. Так же я им враг до гробовой доски! — гремел Феодосий.

— Не можно так, мы на земле гости, на небеси будем хозяева. Кто больше мук примет здесь, тому слаще будет жисть в раю.

— Тьфу! Сколько можно говорить тебе, что царь и его ярыги давно спелись с богом и ездят на наших хребтинах, кои к животам приросли. Они сыты. Тоже пришли сюда для испытания крепости божьей? Чего же тогда не испытывают?

— Они пришли от дьявола,— не отступал Ефим.— Гореть им в геенне огненной!

— Ладно, спорить нам некогда, надо поднимать народ на бунт. Ермилу кликнуть, он подымет заводских, всех углежогов сюда, топоры, колья — и айда рушить завод, бить воров!

Но молчали углежоги. Пожимали плечами, мол, мы не супротив бунта, но домой пора, унести бы эти гроши, что заработали, за плуг, да землю подымать,— может быть, земля выручит. Чесали вшивые затылки, бороды, по одному начали расходиться.

Расползлись по своим закопушкам. Феодосий сел на пень и глубоко задумался: «А может быть, зря я зову народ на драчку? Может быть, уйти и нам с миром, а там готовить своих на переход в Беловодье? А этот люд с разных мест, пужлив. Не вытянем, зря сгинем. Э, че говорить...»

Вспомнились слова каторжника: «Велика Русь, велика! Земель край непочат, а люд голоден, космат. От ча? А от та, что царь дан народу от дьявола, а не божий он помазанник, антихристов. Вот и гнет люд, ломает, кровями его упивается, над горем надсмехается. Вампир, чисто вампир. Только с праведным царем, божьим царем можно поднять Русь...»

Не додумал своего Феодосий, приехал управляющий с казаками, приказчик. Казаки навалились на бунтаря, скрутили веревками, будто спеленали. Андрей сдался без боя. Где уж

такому воевать, душой слаб. А Урал молчал. Хмурилось небо. Из-за туч трусливо выглянуло солнце и тут же спряталось. И углежоги тоже хороши, видели, как вязали Силовых, но выручать не пришли. Чужая беда, чего встревать. Уходили к своим ямам, чтобы не прорвался огонь, не испортил бы уголь.

— Ви хотель поднимайт бунт, ви будет сидет темный места, немного думайт, штраф за бунт я забирайт, потом пускайт домой. Вы помирайт не будет, вы будет потом еще уголь сжигайт.

— Не поднимали мы бунта. Никодим обманул нас, за короб платил по копейке, потом враз заплатил по три копейки.

— Никодим правильно делайт, это я ему сказаль, сколько можно платиль.

— Ежли мы сделали худо, то пусть нас судит губернский суд, а пошто же сразу-то в темницу?

— Я сам есть губернский суд, сам есть на этой земле царь. Ви не ругайтся, а проси меня, тогда суд будет лючше.

Силовых долго вели по подземелью. На голову текла вода, под лаптями тоже хлюпала вода. Привели в каменный грот, сняли наручники и тут же приковали к железным цепям.

— Ну, сынок, кажись, все. Отселева одна дорога — в могилу. Заживо сопреем.

— Бог не даст сгинуть. Будем молиться денно и нощно и спасемся.

Андрей, чуть гнусавя, читал псалмы:

— «Да воскреснет бог и расточатся врази его, и да убежат от лица его ненавидящие. Ако исчезает дым, тако исчезнут врази его, ако тает воск от лица огня, тако погибнут грешники от лица божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются...»

— Цыц! Щанок, нишкни! И нече тута читать молитвы по усопшим, живы еще! Не выйдет из тебя ладного мужика. Сгубил тебя Ефим.

— Не хулил бы бога, то не были бы мы здесь. Все через тебя нас сюда бросили. Ладно, выпустят, а коль нет, то без отпевания и покаяния сгинем. Но надо уповать на бога, бог не забывает любящих его, а супротивников карает.

Тьма непроглядная, писк крыс, зловоние трупное, хруст чьих-то костей под ногами.

3

Крепки демидовские темницы. Запахом тлена провоняли они. Врос тот запах в серые камни, не выветрится во веки веков. Андрей пытался вести счет дням, но скоро бросил, ведь здесь не было дня, ночь и ночь. Феодосий посмеивался над сыном:

— Вначале бог сотворил землю и небо. Потом разлучил свет с тьмою. Нарече свет днем, а тьму ночью. Вот и попроси бога, чтобыть он послал сюда день. Не может? Грешники? Тогда будем терпеть и энту муку, не привыкать. На люд не обижаюсь, пуган, забит, поднять будет трудно. Уходить будем на поиски Беловодского царства. Нету средь люда той крепости, какая есть у раскольников. Те горло перегрызут недругу. А наши, э, что говорить, сгинем мы туточки. И Варюшка твоя знать не будет, где преют твои косточки.

Крысы толклись под ногами, кусались. Узники топтали их, гремели цепями, спали по очереди: могут живьем съесть. Один раз в день спускался горбун, чтобы подать узникам по плошке похлебки и снова молча уйти. На вопросы не отвечал.

Андрей, чтобы не сойти с ума, читал молитвы, теперь уже не мешал ему отец. Он тоже был на грани сумасшествия. Молитвы не читал, а крыл всех святых и грешных матюжиной, злой, сочной, наберистой.

А голос Андрея журчал в подземелье, чистый, звонкий. Подземелье его удесятеряло, молитвы мощно раздавались под сводами, троились.

— Добрая у тебя душа, Андрей. Но в этом мире надо имати и злобинку. Сломят, душу загадят. Бунтовал народ не ты, а я, так пошто же ты не ругаешь меня? Грамотен ты зело. За грамотность спасибо Ефиму. Но Ефим сволочь, обучили его грамоте раскольники, бежал он от них, потом затеял войну против раскольников. Был бит, но не убит. К нам приполз. Отходили. Э, что говорить, человек веру может сменить многажды... Давно приметил. Только непонятен мне царь. Рази будет хозяин усталого быка кнутом стегать? Он, ежли бык не тянет воз в гору, то плечом подопрет, то словом подбодрит. А царь, рази он таков?

— Сокрыта от царя правда, сокрыта. Царь пребываше в темноте.

— Но ить есть бог, он все ведает, вот и вразумил бы неразумного царя.

— Вразумит, придет час, вразумит. Всех на том свете рассудит.

— М-да, рассудит. Ить чуток было сказано нашенской правды, за то темница. Ефим, твой учитель, поди, уже хлеба посеял, молится за упокой наших душ, свету радуется. Болящий — здоровому — не товарищ. А над пашнями поют жаворонки, трезвонят божьи птахи. Хорошо на пашне-то. Дух земной так и шибает в нос. Хорошо!

— Да замолчи ты, тятя! — впервые вырвался крик у Андрея.

— О, энто уже ладно, энто уже по-нашенски. Давай еще, да матом отца-то. Не бойся, не обижусь.

А вода журчит, журчит, будто ручеек в балке. С подволока звонкая капель, будто дождь прошел, скатывается она с росных деревьев. Видит Андрей во сне цветы полевые, Варю. Будто идет и идет с ней на восход солнца. Не забылось лицо Вари. А Софкино, как и сама Софка, куда-то провалилось. Эх, взяться бы за руки и через угорья убежать на Каму, а там ночь, там тихая ласка. Стонал, гремел цепью. А потом начал звучать в этой тьме Варин смех, который градинками звенел по цинковой крыше. Вскакивал, но короткая цепь тут же бросала на гнилую солому.

Пришел горбун и вдруг заговорил:

— Эх, мужики, сгинете вы тута. Одна надея на кузнеца Ермилу, он подбивает народ на бунт, чтобыть шли выручать племянника полковника Селивона.

— А как народ? — напрягся Феодосий.

— Колготится. Это же заводские, а не ваши углежоги. Эти могут заставить немца отпустить вас раньше. Не то пропадете. Были у немца сегодня посланцы от Ермилы, требовали вас, а нет, то обещали завод по бревнышку раскатать. Эти могут. При Пугаче все их деды были бунтарями. А кровя-то одни, бунтарские кровя.

— И за что он нас морит здесь голодом и тьмой? — выдохнул Андрей.

— Э, вас есть за что. Все, что было сказано Феодосием, шло в уши немцу. Вот и задумал проучить чуток говоруна. Вы еще мало здесь томитесь, на дворе лишь июль. Другие, тоже только за слова аль по наговору, так и умирали в этой тьме и вони.

Андрей заметался. В голове звон. Отец заговорил:

— Полковника Селивона здесь знает каждый старец. Богатырь был. Ростом в сажень, ручищи как корни дуба, бородища до пояса, плечищи что твоя лежанка. Везли его в клетке мимо Оханска, по государевой дороге, богатеи совали в клетку железные прутья, кололи ножами, а он сидит себе и улыбается, боль свою врагам не показывает. Он был последним атаманом Пугачева. Погиб.

— Тятя, а ты веришь, что Пугачев был Петром Федоровичем? Веришь ли в то, что он жив и ходит средь народа?

— Нет. Пугачев был солдатом, мужиком, атаманом, но не царем. Народ хотел видеть в нем царя мужицкого, вот и набросил на себя личину царя.

— Так пошто же ты подбиваешь народ, что жив царь, что надо ждать бунта?

— А пото, что люду нужен посох, надея, чтобы дух его не охлял, душа зло копила.

— Тогда поделом мы здесь сидим.

Горбун принес еду,— значит, прошел еще один день. Поставил чашки, подсвечивая фонарем, тихо заговорил:

— Немец дал указ убить вас. Убить и тела бросить в шахту. Заводские остановили завод. Затевают драчку. Но он им сказал, что вы убежали, потому не может выдать вас заводским. Даже обещал понятым, что приведет их сюда. Я должен прибрать гнилые кости, чуть угоить темницу. Такое впервые случается, когда управляющий хочет показать темницу. Знать, припекло. На завод пришел заказ — лить множество пушек, бунт тому помеха. Ловят Ермилу, но его прячет народ.

— Так, видно, богу угодно,— истово перекрестился Андрей.

— Цыц! Богодух! «Богу угодно». Говорит человек, а ты молчи. Кто нас будет убивать?

— Как всегда — я.

— Ты? — удивился Феодосий.— Мал сокол, но тетерку бьет. Мы на цепях, чего же не убить. Счас аль чуток погодишь, пока мы помолимся?

— Я вас выведу из подземелья. Я дал богу обет, после того как меня заставили убить бабу, что больше никого не убью. Душу после того надорвал. А красивущая была, и не обсказать. Немец мне верит — больше, чем себе, знает — приказ выполню. А бунт все же будет. На земле, ежли вы заметили, что капели нет, стоит страшная сушь. Будет большой мор, много будет бунтовать народ.

— Добре, значит, квашня забродит?

— Должно.

— А когда тесто пойдет через край?

— Со дня на день. Повертайтесь, цепи отомкну. Уходим тотчас же. Прознают, то сгинем.

— Ты снова вернешься к немцу?

— Да, чтобыть вот таких бедолаг, как вы, спасать.

— Пошто же сразу не помог бежать?

— Такое дело,— замялся горбун.— Шибко уж красивущ Андрей-то. Зависть душу заполонила. Его может каждая полюбить, а меня кто? То-то,— с надрывом заговорил горбун.— Хотел видеть его смерть, на костях его постоять ногами, был, мол, красив, а вот я топчу твои кости. Бог сподобил меня, отвел лихую зависть, а потом, обет, данный богу, надо сполнять. Пошли, нечего тут сусоли разводить.

Снова вел их горбун по гулкому подземелью. Это были старые шахты, местами завалены, но горбун обходил завалы,

дорогу знал. Вел долго. Впереди полумрак, — значит, скоро выйдут из подземелья, а там солнце, там жизнь, а не этот мертвящий холод подземелья.

— Постоим, теперь нас никто не догонит, ежли кто и хватится. Пусть ваши глаза пообвыкнут, можете ослепнуть,— ровно говорил горбун.— Тяжек крест палача. Буду праведным. Пошли. Выход рядом.

Силовы осмотрелись, едва узнали друг друга: на плечах лохмотья, изопрели в сырости, глаза провалились в глазницы, косматы и серы.

Вышли наверх. Задохнулись от сухого воздуха, зажмурились от слепящего солнца, упали в травы, впились руками в землю, прослезились. Встали, низко поклонились горбуну, он махнул рукой, сказал:

— Не тому кланяетесь, не бог я и не поп, а убивец. Уходите! Пройдете вон тот лесок, выйдите на тропу, там есть пещера, чуток отдохните, вота вам по куску хлеба, а оттуда выходите на тракт государев и топайте домой. Да ночами старайтесь идти. Могут схватить казаки. Они счас частенько бегают по дорогам, богатых грабят, бедных убивают. Это у них тожить в кровях. — Нырнул в подземелье, будто в преисподнюю ушел.

4

Теплынь июльская разлилась над горами. Голубели они, вершины их сливались с небом. Жарища. Свернулись в трубочки листочки на деревьях, поникли травы, замолкли голоса птиц, даже ветер и тот где-то спит в прохладном ущелье.

Идут Силовы, уже днем идут, близок свой дом, чего же таиться, смело идут, так же смело смотрят людям в глаза, не пытаясь прикрыть свою наготу. Хмурится Феодосий при виде чахлых хлебов. Трогает руками землю, потрескалась она, как обветренные губы. А это уже большая беда, свалит она мужиков, сомнет. Была у Феодосия надежда на хлеба — рухнула. Он верил, что выберется из темницы. Почему? Такое трудно объяснить даже Феодосию. В силу, может быть, свою верил.

Сотни рек вбирает в себя Кама-река. Сотни. Сотни бед текут с ней рядом. Сотни. Жалок и беден пермяцкий народ. Жалок и скуден хлеб бедняка, но и тот у него отбирают. Власть, она все может. Может быть, поэтому и ленив и безлик пермяк,— сколько ни майся, а толку мало, сколько ни ломи спину, а все голодно. Махнет рукой, плюнет на все и пропьет жалкие гроши в грязном кабаке.

Есть небольшая разница среди этих мужиков: одни крепостные, другие казенные. Крепостные еще в большей неволе живут.

Казенным вроде чуть легче. Казенные, или государевы, люди даже чуть гордятся этим, казенный может назвать себя «вольным». А что та воля? Те и другие живут на мякине, так же жгут уголь, пашут чужие земли, так же злы и лохматы. Воля у них не длиннее заячьего хвоста. Конечно, государев человек может зиму на печи пролежать, считая тараканов, но придет срок платить подать — плати. Нет — на лавку, под розги.

А розги на Руси — добрые розги, березовые розги, ладно пропарены да просолены. Скоро не обсмыкаются. Крепкие розги. И бог с ними, с розгами,— стерпел бы пермяк, если бы после розог долги прощались. Не прощаются долги, они переходят из поколения в поколение. За долги уводят последних коровенок, выгребают последние зерна пшеницы, ржи, а порой и портки снимают. Царь и портками не брезгует. А самых ярых задолженников — в Сибирь. Там одумается, оклемается, сбросит с себя пермяцкую лень. Но лень ли?..

Розги, розги. От них и злоба и позор в душе. Но иной строптивый мужичонка, которому все нипочем, вскинет бороденку и скажет:

— Тхе, розги! Эка невидаль! Русь на сто рядов бита и сечена, потому позора в том не вижу. Знамо, телу чуток больно да душе душно, а так жить можно. Человек, ить он ко всему привыкнет, дажить к петле, чуток побрыкался и привыкнет. Ниче, привыкать надыть, но и забывать об энтом нельзя.

— Верна-а,— протянет мужичина, поднимаясь с лавки, подтягивая портки,— нелеченый конь язвами исходит, а мужик памятью да злобой. Позора и правда в энтой сече нету, пусть будет сумно тем, кто сек нас...

Вот и лечили свои души мужики случайными бунтами, драками, а после этого снова ложились на лавки. А знали, когда затевали бунт, что сечены будут. Но бунтовали.

А богатей, что со стороны наслаждался поркой, тоже скажет:

— Розги дело пользительное, без них не устоять Расее! Не устоять! Потому порите, шибче порите, чтобы крепко стоял трон царский. Вон, ежли бабу не бьешь, то она думает, что не любишь. Бабу люби, как душу, но и тряси, как грушу. В пятницу бей, а в субботу в печи парь. Тогда она будет мила и покладиста. Так и мужика-нерадивца.

И всему виной подать. Она камнем висит на шее мужика. От нее кровавые мозоли на плечах, спина кровава, душа тоже кровью исходит. Есть с чего: царю курочку, а мужику — репу, и той не вдосталь.

Подать...

С болью в душе смотрел Феодосий на иссохшую землю, на седину в травах, на рыжие хлеба, что едва завязали колос и начали засыхать. Вон и сороки, вороны приутихли, не гомонят, не кричат, тоже млеют от жары, сидят на деревьях с широко раскрытыми клювами, ловят прохладу. Осыпается средь лета листва с деревьев. Горит земля. Падал Феодосий на эту землю, вгонял ногти в нее, чуть волком не выл. Проклинал все на свете. А что толку? Из проклятий дождь не родишь.

Горел костерок в ночи, гнал от себя черноту ночи. Подранком сидел у костра Феодосий. Андрей безмятежно спал. Слезы текли по щекам старика, прятались в густой бороде. Рыдал, молча рыдал, рыдал зло, от безвыходности рыдал. Жизнь свою распроклятущую оплакивал. Уронил на грудь бороду-лопату, тяжело задумался. Было с чего. Долгов стало еще больше. Деньги немец отобрал, едва жизни не лишил. Только сейчас Феодосий начал понимать, как рядом ходила смерть. Отвел горбун. Не слышал Феодосий шорохов ночи, даже робкого говорка ключика не слышал, весь ушел в себя, в свои тягостные думы. Сидел, похожий на камень-валун, глыбаст, неотесан. Костер чуть притушил звезды. За костром чьи-то шаги, тихие, вкрадчивые. Но Феодосий даже головы не повернул. Грабить, а что у них грабить?

Человек вырвался из темноты. На плечах армяк, в разбитых лаптях. Этот грабить не будет, даже если есть что.

— Мир и почтение кругу сему! О, старые знакомцы! — воскликнул бродяга.

— А, это ты, каторжник! — устало бросил Феодосий.— Мир, мир! Садись к огоньку, погрей душу.

— Не узнать вас, голы, безлошадны, аль беда приключилась?

— Ограбили нас начисто, за праведное слово ограбили.

Феодосий коротко рассказал про ссору с приказчиком и что из этого вышло.

— Для того и рождается мужик, чтобы его кто-то грабил. На мужике держится земля, без него все бы с голодухи подохли.

— Как твои дела?

— Плохи. Жёнка умерла. Вот и иду один в Беловодье. Иду и пою, как птаха райская. Ежели все обойдется, то почну новую жисть. Ты тожить бросай эту землю-мачеху и дуй, не стой, по моим следам. Чудо у нас было недавно, сам видел из кустов: ехал царь по Казанскому тракту, а тут мужики задумали ему сунуть челобитную, а их в петли. Сам царь кричал, чтобы шибче пороли. Просветлил мозги ладно. Теперича не будут говорить, что царь ничего не ведает.

— Не то ты глаголешь, человек,— проснулся Андрей,— царь не станет бить мужиков. Это их били его приспешники. Боятся, что царь правду прознает.

— Эх, младен, эк тебя разносит, ты тожить веришь, что царь добр? Пустое. У царей не бывает доброты.

— Ты прав, ходячий человек; ежли бы каждого царь самолично выстегал, многие бы за ум взялись. А то ить выходит, что один за гуж, а другой палки в колеса ставит. А на сына махни рукой. Мал, а пытается судить о многом.

До полуночи шел неспешный разговор о жизни, о Беловодском царстве. Чуть вздремнули, а утром каторжник ушел на восток, Силовы пошагали на запад. Спешили домой. Миновали Строгановский завод и скоро вышли к берегу Камы. На угорье виднелся Оханск. На пароме купца Семишина перебрались на другой берег и снова пошли месить дорожную пыль разбитыми лаптями, скоро родная Осиновка.

Пришли в деревню под вечер, когда усталое солнце припало к угорьям, с пастбищ потянулись коровы, тоже усталые и тощие. На выпасах выгорела трава.

Феодосий первым зашел на подворье. Сел на бревно, задумался. Будто подкрадываясь, начали собираться мужики. Молча окружали Силовых. В глазах страшинка. Все были уверены, что эти двое погибли. И вот пришли. Уж не поблазнило ли? Нет. Феодосий косо посмотрел на мужиков, вскочил и заорал:

— Изменщики, супостаты! Распротак вашу мать! Мы гнили в штольне, а что вы исделали, чтобыть помочь нам? Чтоб вас разъязвило на сто рядов.

— Не ори! Меньше бы брякал языком, то такого бы не случилось, — вскинул бороденку Ефим Жданов. — И не сидели мы руки сложа, ходили в губернию, но сами едва в кутузку не угодили. Никто и слушать нас не стал, назвали бунтарями и под арест. За серебряный отпустили нас казаки. Остатней деньги лишились. Пусть мы не вызволили, так бог вас вызволил. Чего еще надо-то?

— Горбун нас спас, будто и заводские шумели, а не бог.

— Знать, их бог вразумил,— не сдавался Ефим.

— Не шуми, Феодосий, жив, и ладно, остальное приложиться.

— Меланья уже по вас молебен заказала. За сорокоуст последнее попу снесла.

— Дура! Чем жить будем, ить все сгорело?

— Сосновая кора еще есть в лесу. Надо загодя припасать. Репа успела вырасти, пока она повыручает.

— Снова забунтуют мужики.

— Это уж как пить дать, забунтуют, чего же больше.

— Ладно, идите по домам, — бросил Феодосий. — Дайте в дом войти,— прогнал Феодосий друзей.

Феодосий вошел в дом. Сел в кутний угол, насупился. В доме грязно, душно, мухота — не продохнуть.

Вернулись Силовы с полей. Четыре сына обугленными пнями застыли перед отцом. Замерли невестки. Лишь востроглазая Стешка, любимая дочь Феодосия, бросилась к отцу, повисла на шее, начала смачно целовать в губы, щеки, затараторила:

— Тятенька, миленький, возвернулся. Мы думали, сгинули. Ой, как я рада, даже под сердцем захолонуло.

— Ладно, будя, цокотунья,— чуть подобрел Феодосий, но тут же насупился снова.

Стешка на год младше Андрея. Любил отец ее сурово, помужицки; то рукой тронет за плечо, то шутливо шлепнет по крутому заду, но в работе, тайком от других, давал ей послабление. Отдохни, мол, еще наробишься, бабья доля — стон и боли.

— Зовите мать, чего она там мешкает? Аль не знает, что мы пришли?

— Уж знает, но пошла по пути рубахи сполоснуть, по́том все изошли. Духотища — страсть.

Максим, старший сын, надвинулся на отца, сейчас полыхнет грозой. Сорвется кабаном-секачом и сомнет отца. Сорвался, закричал:

— Пришли, с чем пришли? Надо было не языками молоть, а робить в три силы. Лучше бы совсем не приходили. Все нам Ефим рассказал. Нашелся мужицкий царь? Че принесли в кармане?

— Вшу на аркане. Вот хочу ее вытянуть из кармана, а она, сучья морда, упирается,— устало, будто слушая себя со стороны, говорил Феодосий.— Жирнущая, тварина, хошь сало с нее топи, хошь в шти бросай, заместо свинятинки. Один нам бродяга сказывал, что, мол, в Даурии, есть такая страна в Расее, таких вшей нарошно разводят, а потом жарят и заместо семечек едят, только щелкоток стоит. Знать, лучше бы не приходили, а сгинули в темнице? Та-а-ак! — вдруг подпрыгнул со скамьи, со страшной силой ударил сына, его кулачина будто вмял грудь, далеко отбросил Максима, тот растянулся на дощатом полу. — Варнак, отца не почитать? Вот теперича ответствуй, пошто у тебя на пашнях рожь посохла, овощь сгорела? Не слышу!

— Дэк ить засуха.

— Засуха от бога, а наша маета от кого?..

Меланья тихо вошла в избу. Хохотнула. Вожак вернулся в табун, требовал покорности. Кажется, покорил, могли бы и смять. Все злы. Обняла за плечи мужа, тихо сказала:

— В силе еще, чертушка! Корись, Максим. Ишь че удумал, почал мать погонять, никому от тебя продыху не стало. Кланяйся в ноги мне и отцу! Ну! — Поцеловала Феодосия в губы.

— Ну будя лизаться, взяла барскую моду.

— Соскучилась. Андрейка, милай, обними мать-то,— схватила за плечи Андрея, зарылась лицом в скатанных кудряшках.

Поднялся с пола Максим, поклонился в ноги отцу, проворчал:

— Прости, Христа ради, тятенька!

— Ладно, кто наказан, тот прощен. Знай край, да не падай.

Остальные сыновья молчали: Василий стоял у печи, ковырял в носу пальцем, Иван сидел на лавке, смотрел под ноги, чертил лаптем половицу, Алексей рассматривал свои огромные ручищи.

Гроза прошла, внучата повисли на руках и плечах деда. Все сели к столу.

— Что будем делать? — спросил семью Феодосий.— Ты, Максим?

— Пойдем к богатеям сенá косить. Все чуток заробим.

— Лады. Все идут на сенá, а мы с Андреем дома, свои будем с бабами косить.

— Зачем надрываться,— насупленно заговорил Иван,— розг так и так не миновать.

— Минуем, должны миновать. Хотя долг у нас растет, не копить же его до второго пришествия Христа. Меланья, вечерять, а потом мы с Андрюхой попаримся в печи, вошату сгоним да тела согреем.

— У нас одна репа.

— Заглавная мужицкая едома. Она богом дана мужику. Без нее — погибель.

Помолились на прокопченные иконы; хотя Феодосий в отходах почти не молился, но в семье за неверие ругал. Сам же говорил: может, я делаю промашку, что ругаюсь с богом, так пусть дети не идут по стопам своего заблудшего родителя.

После ужина Феодосий пошел осматривать подворье. Порядка здесь не было, в сараях прохудились крыши, покосились ворота, амбар пуст, дверь слетела с петли, и никто не поправит.

Раньше Силовы жили крепко: водились свиньи, куры, коровы, коней до пяти штук стояло в конюшне. Но скоро захирели, царь Николай повысил податную сумму, на заводах за уголь стали платить меньше, поля родили хуже. Вот все и пошло в разор. Сейчас у Силовых одна коровенка, которая кормит десяток внуков и внучек. По ложке молока достается каждому. Запах куриный давно выветрился. А свиньи — это уже совсем непозволительная роскошь.

— Каторга, кругом каторга,— прогудел Феодосий.— Прав тот беловодец-каторжник, что вся Русь каторга аль инвалидная команда, где нет головы и о людях некому заботиться.

5

Падают, падают чернильные ночи одна за другой на землю пермяцкую, на деревню Осиновку. Спит она тревожным сном, нудливым, клопиным сном. Кривой месяц немым вопросом завис в небе, смотрит на Осиновку. Дома черны, крыши прогнулись, как спины старых котов. Во всем нужда проглядывает. А горячий воздух, даже в ночь, катится и катится над хлебами, сушит и сушит и без того иссушенную землю. Жарко, душно. Душно земле, душно людям. В каждом доме затаился страх, перепуганным воробьем стучит под сердцем. Мечутся по темным углам изб тревожные думы, тягучие, как смола, челноками снуют в голове. Стонут во сне мужики и бабы, от безвыходности стонут. Тяжки их кудлатые головы, нет им покоя.

Живет покой разве что в домах Трефила Зубина, Фомы Мякинина. Вон они гордо вскинули тесовые крыши над деревней, над соломенными кровлишками. Там достаток. Там радость и жизнь.

Трефил Зубин, открыв рот, раздувая пышные усы, густо храпит, натянув на себя белоснежное рядно. Он только что прогнал от себя блудницу Дуську. Вдова! Чего с ней вожжаться! Для дома не гожа, а вот для баловства да. При зубинском достатке можно и барскую бабу взять, чтобы манерничать могла, как говорил сам Зубин, для потехи приседать и ласково говорить на французском языке, пусть непонятно, так то и лучше. Откуда у Дуськи ласковость взять? Баба, черная баба.

Прав Зубин. Дуська — черная баба, как все бабы-пермячки. Да и откуда им стать белыми? Все они забиты, затерты, перегружены заботой и работой. Нагрузили на них, бесправных, тысячи дел, так что и продыху нет.

Месяц заглянул в окно. Уперся неярким лучом в крашеный пол, тронул изразцовую печь, горницу осветил, там спали суро-

вые и жадные до работы сыновья Зубина. Забежал в Варькину боковушку, тронул ее мягкую постель, но пуста она была. Выпорхнула в окна зорянка. Убежала, счастливая, к Андрею. Тронулась умом девка, связалась с лапотником.

Не обошел месяц и дом Силовых. Боже, что думает эта девица? Здесь все спали вповалку и на полу. Кровати резные давно забрала подать. Перепутаны рваные рядна, зарылись бороды в солому. Тесно и дышать нечем. Но каждая баба уткнулась носом в бок своего супруга. Так можно и перепутать, в грех впасть. Зубин часто посмеивался над бедняками, говорил: «И как вы только в такой теснотище своих баб находите, как детей рожаете?» — «От бога, от бога наши дети зачаты»,— теребя бородку, отвечал Ефим. «От бога только одна дева Мария зачала, да и то есть сказ, что будто к ней мимоходом забегал архангел Гавриил. Может, не от бога... Ха-ха-ха!»

Спертый воздух, зубовный скрежет. Куда ни положит свою голову Феодосий — все жестко. Подушек нет: царь и их прибрал. Не то явь, не то сон, перед глазами незнакомая земля, тайга, море-океан. Видел людей вольных, дух вольный обонял. И брел, и брел по той земле, трогал руками сочные травы, хлеба, не мог нарадоваться. Радовался тихому миру, свободе мужицкой. Прекрасная земля, чудное царство... И вдруг он снова видел каторжника, слышал его наставления: «Пройдешь Сибирь, переплывешь через Байкал-море, потом уходи на реку Шилку, она приведет тебя к реке Амури. Стан свой гоноши на Усть-Стрелке. Там стоит казачий пост. Но эти люди до денег жадны. Потому их завсегда можно купить, и пропустят они ваши лодки хошь на край света. За копейку забайкальский казак и в церкви чижолый дух пустит. Только плати... Так и убежите вы в Беловодье. А уж как придете в Беловодье, то там мир и райское песнопение...»

Земля обетованная! Лесов — глазом не окинуть. Поля обрываются у берега моря. Травы в рост, хлеба, где каждый колос в четверть, земля будто пух, ноги тонут в ней. Все вокруг емко, сочно, все близко сердцу мужицкому. Земли много, паши — не перепахать.

Плещутся волны за окнами, запах неведомого моря щекочет ноздри, бьет соленая волна в берег, от крутого ветра дребезжит стекло в раме. Дзенькает. Добрались до мужицкого царства! Хорошо-то как! Пусть ярится море, на то оно и море, чтобы яриться, а потом ласково шелестеть волной на берегу. Пусть! Каждый волен показать свою силу-силушку!..

6

Заполошный крик и сильный стук в переплет рамы разбудил Феодосия. Поднял Силовых на ноги. Десятский орал что есть мочи:

— Эй, Силовы, поднимайтесь! Урядник кличет свой покос косить!

— Вашу бабушку! Такой сон спугнули! Господи, эко хороша там землица-то! Глаз радует, а уж душу — и не обсказать! Все млеет в тебе, будто впервой бабу полюбил. Сволочи! Не дали во сне пожить там.

И сразу навалилась вязкая лень, скука, безразличие. Отрешенно посмотрел на своих, бросил:

— Вставайте!

Меланья уже хлопотала у печи.

— Вот на кого напасти нет, так это на нашего урядника. Не успели дух перевести, тут же понадобились ему робить. Свои травы сохнут на корню, а тут за спаси Христос чужие коси. Ему что — оттяпал у нас заливные луга, и душа не болит, а тут...— Встал, отряхнул с холщовых штанов солому, подошел к рукомойнику, плеснул в бороду пригоршню воды, вытерся рукавом. Сел к столу. Репа была напарена еще с вечера, чуть разогрела ее Меланья — и на стол.

— Дал бы нам бог вместо репы блины! — со вздохом бросил Максим.

— Замолчь, щанок, ишь растявкался! — посуровел Феодосий.— Бога не замай, еще мал. Не будь его, совсем бы зачахли.

Андрей усмехнулся. Непонятный человек отец. При нем клянет бога на все корки, а при других сынах за бога горой. В подземелье тоже бога, кроме — как матом, и не поминал.

— Квас и вода — богатырская еда,— продолжал Феодосий.

— Ага, однако бог судит и делит люд не по-божески. У божьего человека — попа от свинячьего визга в ушах звенит, а у нас тишь. У него и свиньи лучше едят, чем мы.

— Сказано молчать в застолье!

Солнце еще где-то блуждало у горизонта, будто не могло найти себе окна, чтобы выйти в чистое небо, а мужики уже были на ногах. Хоть и говорил Феодосий: мол, кто встает с росами, те не будут босыми,— присказка не вязалась с жизнью. Реденький туман курился над рекой Осиновкой. Жидкая роса упала на травы. Конечно, легче косить даже по такой росе, но надолго ли она. Косить придется весь день, смахивая пот с лица. Правда, в ночь травы будто приободрились, повеселели, приподнялись, расправились. В день снова поникнут.

Первыми из косарей вышли Силовы, это Андрей и Феодосий. Братья ушли косить богачам. Феодосий оглянулся на ворота, а, черт с ними, за воротами не спрячешь свою нищету. Пусть уж все видят, что мы захирели.

Вышел на урядницкий покос и Иван Воров с сыном Степаном. Человек «довякий», так говорил об Иване Феодосий. На отходах он чаще молчит, грустит по своей хохотушке и красавице Харитинье. Боится, как бы не соблазнили ее богатеи, которые как мухи к ней тянутся. А Харитинья — баба-заводила: если кто из баб повесил нос, бросит терпкое слово, подбодрит — и, смотришь, ожила грустяга.

Сам Иван Воров, когда дома, не уступает хозяйке: весельчак, хват. Выпить не дурак, но только на чужое, говорил, мол, со своих меня рвет, голова болит, спасу нету, а вот на дармовщину — никакой болести. «Такое уж у меня нутро распаскудное...»

Иван Воров редко чешет волосы и бороду, разве что по престольным праздникам. Бородища — ком шерсти. Волосы на голове — суслон неугоенный. Светловолос, рыжеборöд. Двухмастный. О таких говорят, что они счастливые. Нос крючковат, лицо сухое. Походка веселая и упругая. Катится по земле, будто колобок. Часто смешит мужиков своими комедиями. Только вышел, глаз не продрал, а тут уже кричат:

— Иване, а Иване, а ну поломай комедь! — кажется, Феодосий: знать прошла обида на мужиков.

— Счас... Вот все сойдутся так и поломаю.

Начали подходить мужики, Иван начал свои комедии.

Вот поп Викентий, он крадется вдоль забора, прелюбодей, от Параськи бежит. А тут попадья затаилась у калитки и ждет с поленом в руке. Все это в лицах, понятно каждому. Попадья схватила попа за бороду и давай волтузить поленом по спине.

А вот урядник: расправил бороду-мочалку, пузо вперед, ноги вкривь, осанка по чину. Заорал: «Подайте царю на пропитание! Живо, нехристи вы этакие! Лопотину, холст на ярманку! Деньги царю!» — «Как же, ваше благородие, ить у меня последние портки, их тожить на ярманку? Боле ничего нетути. Ить грешно голяком-то ходить. Поп Викентий предаст анафеме. А потом бабы узрят мою красотищу, ить не отбиться».— «Розг захотел, собачья твоя душа!» — орал урядник. Ивану Ворову ничего не оставалось, как снять штаны под смех мужиков и визг баб и бросить их воображаемому уряднику. «Пусть их царь-батюшка носить. Ниче, еще крепкие, чуток зад протерт, так царица могет и подлатать...»

Вот Трефил Зубин, считает деньги, сильно слюнявит пальцы, воровато оглядывается на окно.

Вот Фома Мякинин: ведет подгулявшего золотаря, позволяет лапать и целовать свою бабу Василису, потом бьет колуном по голове, жадно выгребает золото из карманов, несет мертвеца к речке.

Ивана Ворова ненавидели богачи за представления. Поп Викентий дважды отлучал от церкви за богохульство, предавал анафеме. Но Иван хоть бы что. Любят его мужики,— знать, в дело его комедии. Он пошел еще дальше: купил сыну Степану гармонику и заставил учиться играть, чтобы давать представления под музыку. Грех великий!..

Сын и отец очень похожи друг на друга, только бороды разны: у Степана пушок по лицу, у отца кочка болотная.

— Эй, Феодосий, чего это ты сегодня, как конь усталый, спотыкаешься? — скалил широкие зубы Иван.

— То и спотыкаюсь, что иду робить на вражину.

— Э, поробим, потом пивка попьем, чебачком закусим. Люблю дармовое пиво.

— А хрен с квасом не любишь?

— Приелся. Чебачок, пивко, водочка — откуда и сила возьмется.

Хлопнул калиткой Ефим Жданов, закатил глаза под лоб, гнусаво запел:

— Ненавидящих и обидящих прости, боже милостливый...— Подоил козью бородку. Поправил на плечах холщовую рубаху, поддернул штаны, которые плохо держались на тощей заднице.

— Эй, Ефиме, штаны не потеряй! — хохотал Иван Воров.

Ефим беден, как и большинство осиновцев: коровенка, кляча-кобылица, все они худущи, как и сам хозяин.

— Твою бабушку, твою мать, чтоб вас всех громом расколотило! Изгои! Тати! Отберут у Ефима последнюю коровенку, еще для острастки высекут розгами! — заорал Воров, будто его шершень ужалил. Крик свой оборвал отборной матерщиной.

Ефим поперхнулся. Ведь только вчера он читал Ивану святое писание, там ясно сказано, что ждет грешника на том свете. Ефим дал обет, что костьми ляжет, но спасет душу заблудшего Ивана, вернет его в лоно божье.

— Окстись, Иване, ить смрадно в аду-то. Говорю тебе, а ты все свое тянешь, держи тело в посте, а беса от ся гони молитвой.

— Держу. Додержался, что вчерась выгнала Параська, слаб стал, мало духом, так и телом. Без блудных баб я никто. А с

такой едомы к бабам не ходи, тем паче к Любке, враз в гроб загонит такая кобылища.

— Дурак ты, Иване, заглавная жисть на том свете. Там рай...

— Пошел ты в ж... со своим раем, дай здеся пожить в сладость.

— Срамник, нечестивец, спелись с Феодосием, предадим анафеме, в кострище бросим.

— А я на вашу анафему чихать хотел! Эх, Ефим, Ефим, ну какая жисть без баб? А? Ты ить своих сопляков не пальцем же исделал?

— Но ить то с законной подружией, а ты с блудницами.

— А что же делать вдовам и невенчанным? Ась? Не слышу, громче скажи?

— Дэк ить...

— Вот те и дэк ить. Мужик на то и рожден, чтобыть всех жалеть. Знамо, свою больше, чужих чуток меньше.

— Бога побойся, сына посрамись!

— Хэ, сына, он тоже уже бывал у Любки, пришел домой, ажно под глазами сине.

— Тятя, ну...

— Ладно, нишкни, дело земное. Женишься и не будешь знать, с какого конца бабу распочать. Вот на то и создал бог вдовушек-то.

— Подумай, Иване, о старости, ить она не за горами, а за плечами.

— О старости думай, а о бабах не забывай. Бог тоже был хорош. Когда явился на землю в образе Христа, блудил ладно. Магдалину на руках носил. Богородица тоже хороша, сама в девках зачала, да еще непорочная. А мы ее во святые. От святого духа... Ну потеха!

— Зрю, гореть тебе в геенне огненной! Будешь лизать блудливым языком сковороды. Изыди, сатано!

— Ладно, Иване, не кощунствуй! Сегодня во мне столько зла, что чую — натворю беды, могу дать тебе по сопатке! — сорвался ни с чего Феодосий.— Я от бога не отрекся, просто мы с ним поссорились. Одно знаю, что не сидеть мне в раю с царями, не сдюжат они мужицкого пота. Однако не лайся!

— Не лаюсь, а просто говорю. Ефим сделал из сына попа, из Андрея второго, оба боятся баб — как огня. Боятся, а сами нет-нет да под подол заглянут...

Митяй прервал ссору. Мужики увидели Митяя, закричали:

— Митяй, скорей сюда!

— Вот идет, не идет, а пишет.

Косари подождали Митяя. Митяй шел, будто подкрадывался. Ростом в сажень, но тонкущий, поэтому гнулся, горбился, ноги тоже подгибались в коленях, словно им тяжело было нести Митяя.

Но Митяем Плетеневым гордилась вся Осиновка. Не в каждой деревне был такой Митяй. Сельчане помнили все, что случилось за эти годы с Митяем. «А помнишь, на Ивана Купалу Митяя бодал зубинский бугай?» — «Помню, тогда еще дочка Фомы Мякинина утонула».— «На Мануила его девки крапивой пострекали, потому как подглядывал за их купанием».

По Митяю равняли свой достаток, свои неудачи, просто людей:

«Ты идешь, как Митяй»; «Ты смешной, как Митяй»; «Ты жрешь за троих, как Митяй»; «Не везет, как Митяю»; «Ты беден, как Митяй».

Пришлого человека узнать было просто, стоило спросить его о Митяе,— если не знает, значит, дальний. А Митяя знали и в волости и по обоим берегам Камы. Его любили во многих деревнях — в Больших и Малых Гальянах, Мурашах, Комарах, Лаптях.

— Откель, мужик?

— Из Заполья.

— Знаешь ли Митяя?

— Какого Митяя?

— Э, ну-ка слазь, бегляк ты, а может, каторжный, хлобыстнешь кистенем по затылку и был таков. Слазь, слазь, не наш.

Потом добавилось еще одно сравнение: «Ты умер, как Митяй».

Однажды вышли на медвежью охоту Феодосий, Иван Воров, Ефим Пятышин да Митяй. Обложили зверя. В руках рогатины, за поясами топоры. Забили елкой пролаз и давай шуровать. Медведь проснулся, завозился, а потом с ревом выпихнул елку и бросился вон. Но на пути сбил Митяя, как трухлявый пень. Митяй сломался вдвое и рухнул на снег. Упал и ноги вытянул. Умер. Постояли мужики, почесали парные затылки, охотники-то они были плевые, начали гоношить носилки. Какая жалость, не уберегли деревенскую гордость. Заест их Марфа, проклянут сельчане. Но делать нечего, надо выносить усопшего. А далеко, а снег выше колен. Эко не вовремя испустил дух, да и не у места.

— Сердце оказалось хлипким. Медведь только плечом тронул, а он... Быдто букашка. М-да!— жалел Иван Митяя.

— Не отпущала его Марфа-то, будто ее сердце чуяло беду. Будет нам!..

Сгоношили носилки, несут Митяя, тонут в снегу, взмокли. Хоть и худ Митяй, а оказался тяжелым непомерно. Внесли в деревню. Давайте, мол, передохнем перед Марфиной бурей-то да погорюем чуток. А тут Митяй открыл глаза и говорит:

— Вот что, братия, умер я — это точно, но прошу вас, не бросайте Марфу, пусть ее Иван второй женой назовет...

Мужики даже присели, глаза навыкат, а Митяй ровно продолжает:

— Мы из чистых пермяков, у нас можно две жёнки иметь. Марфу Иван знает. Правда, его Харитинья красавица, а моя страхолюдина, но ниче. Харитинья хрупка, а моя одна плуг потянет. Сдружатся.

Мужики чуть подались от Митяя.

— Похороните меня на берегу речки, потому как любил я за девками подглядывать. Хороши они, че говорить. Хочу и с того света их прелестность видеть. Хошь и стрекали они меня крапивой, но я не в обиде. На Марфу я тоже не в обиде, но рад, что хоть на том свете отдохну в тиши и спокойствии. Марфа ить кобылища, замурыжила меня. Ночами маяла, днями покоя не было. Зверь, а не баба — по бабской части. Медведь супротив нее ангелочком покажется.

Первым бросился в бега Ефим, только лапти замелькали. За ними Иван: правда, перед тем как дать тягу, он спросил Митяя:

— А рази мертвые говорят?

— Говорят, потому как я, Митяй, вона вижу ангелов, архангелов, а дьявол манит своей лапищей меня в ад. Не хочу в ад, жарко там, поди. Так, Иване, ты уж сделай все честь по чести.

Но Иван уже не слышал Митяя. И верно, от Митяя всего можно ожидать. Остался при Митяе Феодосий. Наклонился и говорит:

— Как же понимать тебя, Митяй? Мертвый и говоришь?

— А как хошь, так и понимай.

— М-да! Ну и Митяй. Вставай-ка, да пошли домой, хватит тебе прикидываться-то. Ить мы рады, что ты жив. Жив ты, Митяй. Ну вставай же.

— Ежели просишь, могу и встать. Жалко мне что-то стало Марфу. Ить слезой изойдет. Любит она меня, страсть как!

Марфа любила Митяя. Но женился не он, а она его на себе женила. Поймала в переулке, сгребла в беремя и сказала:

— Завтра будем венчаться.

— Это для ча же? — удивился Митяй.

— Будешь моим мужем.

— Не хочу.

— Тогда я тебе все косточки переломаю и собакам брошу. Внял? Так что не шуми, руками не маши, завтра поведешь меня под венец.

Пришли в церковь, все как надо, на невесте фата. Поп обвел их вокруг аналоя и спрашивает: «По любви ли берешь в жены рабу божию Марфу?» — «А ты попробуй ее не взять, живо хребет-то сломает. Сказала — надо жениться, вот и женюсь. Венчай, батюшка, чего уж там, баба при силе, а я хлипок, все где заступится».

Над Митяем, еще ко всему, будто божье проклятие висело: если потравят кони овес, то обязательно у Митяя, если пооборвут в саду яблоки, то тоже у Митяя...

Митяй еще гордился очками немецкой работы, которые сидели на его куличьем носу. Марфа сама выписала из Германии. Но очки он носит не как все люди: один окуляр висит влево, второй вправо или на самом кончике носа.

Митяй с широкой улыбкой на тонких губах подошел к покосчикам.

— Митяй, как Марфа? — подмигнул Иван.

— Марфе че, заездила, едва ноги волоку. Все одно, грит, на урядницком покосе будешь робить, сила, мол, там не для ча, хоть разок меня ублажишь.

— Кормила-то чем? — жалостливо спросил Иван.

— Репой. Сокрушалась, что сала нету, а без сала кака сила. Вся мужицкая сила в сале.

— Оно так,— сдерживая смех, продолжил Иван.— С травы и сила травная. Сало есть сало. Сегодня била аль нет?

— Нет, жалела, дажить волосы расчесала. Ить она от любви меня бьет. Но только больнее ее кулакам, чем моему телу.

Хохот, как обвал с гор, сыпанул на восходе солнца, из-за заборов потянулись бабские головы: любопытно, с чего мужики ржут, как кони? А, Митяй! Все понятно, можно додаивать свою Буренку.

Смех смехом, а на душе тягостно, душу точат черви.

— М-да, смеемся, плакать бы не пришлось, голодуха висит над нами, как небо,— проворчал Феодосий. Его сегодня Митяево ребячество не развеселило.

— Дела плохи, последние штаны сымут, голяком будем ходить, фиговым листом грех свой прикроем. Только игде достать те листы? — посерьезнел и Иван.— Растут только в жарких странах, у нас нетути.

— Боже, помилуй и отпусти грехи Феодосию и Ивану! — закатил серые глаза Ефим.

— Хватит, не юродствуй, надоело! — Крутнул на плече косу Феодосий, еще сильнее насупил брови-лишайники. По лицу сполохи, кипень в сердце. Быть буре. Из рос собирается она, сколготится в тучи, не унять грозы.

Урядник ждал мужиков на покосе, хмуро бросил:

— Вона уже солнышко всходит, а вы все прохлаждаетесь! Ясно, не свой покос, потому тянетесь. Чтобы за день весь луг скосили! — Вскочил на коня, хотел уехать.

— Не понятственно, мы что, твои работники аль полюбовные косари? — вспыхнул Феодосий.— Рази мы обязаны тебе косить?

— Обязаны ли? Вот об этом спросите себя, — усмехнулся урядник.

— Ах так, тогда мы не обязаны тебе косить! А раз не обязаны, то и не будем! — загремел Феодосий.

— Терпящие — в рай, а нетерпящие — в ад, — закатил глаза Ефим.

— Цыц! Не будем! Хватит! Сел нам на шею и погоняешь!

Над заливными лугами туман, с голубинкой, не сочный, какой-то квелый. Но травы здесь сочные, так и просятся на косу. Ждут косарей. Но косари стоят у кромки луга и молчат. Эх, будь это свое, тогда бы зазвенели косы с радостью, места бы не хватило широкому размаху! Молчит Феодосий. А Митяй, он везде Митяй, бросил свой латаный-перелатаный армячишко, упал на него и тут же захрапел.

— Начинайте с богом косить! — тихо проговорил урядник.

— Чевой-то не хочется, ваше скабродие! Вон свои травы на корню сохнут, а ваши еще могут подождать,— в раздумье сказал Феодосий.

— Это, эт что? Бунт?

— Какой там бунт, просто надоело, господин хороший, задарма травы косить. Неделю тут провошкаемся, а у других можно заробить гривну серебром. Деньга, надо думать, немалая. Платите, тогда и почнем. Вы не по закону говорите!

У мужиков глаза навыкат, мечется в них страх. Такое сказать уряднику! Царю и богу на этой земле!

— Ты что сказал, сермяжья твоя душа? Повтори!

— Могу и повторить, ваше скабродие, что за спаси Христос косить не будем!

— Шутит он. Чего уж там, покосим,— снял с плеча косу Ефим.

— Знамо, покосим, а его благородие снова даст нам слабинку, — поддержали Ефима мужики, но не дружно.

— Каждый год косим, уже привыкшие.

— А нонче не будем! — гаркнул Феодосий.— Хватит задурняк горб ломить. Сломан и без того. Пошли по домам, свои покосы ждут.

Бóльшая половина мужиков встала на сторону Феодосия. Одни кричали:

— Покосим, чего уж там, ваше благородие!

— Не будем косить, а кто почнет, тому головы косами снесем!

Проснулся от крика Митяй, вскочил и закричал:

— Не будем! Пора и честь знать!

— Ну, ежли Митяй сказал, что не будем, тогда пошли, мужики! Все! Звиняйте, ваше скабродие!

— Ах так! Ну погодите, вы увидите у меня кузькину мать!— взъярился урядник, хлестнул плетью коня и ускакал в деревню.

— Ну, теперича держитесь, мужики, съест нас урядник.

— Пошли на свои покосы. От всех чертей не открестишься.

Слух, что осиновские мужики отказались работать на урядника, быстро расползся по деревням. Урядник, мужики звали его уважительно Фролыч, бросился в одну деревню, другую, но везде получал отказ. Не прямо в лоб, а с мужицкой хитринкой: «Оно бы и надо покосить, люди свои, да еще наши травы не тронуты. Ить тут такое дело-то, спина третьеводни разболелась и досе не отпускает. Да и денег на подать надо заробить. А намедни баба сказала, что рожать будет, не бросишь. Жду, кто будет — бычок аль телочка. Оно конечно, косить бы надо, перестоят травы, сено будет не так духовитое. Свои уже перестаивают. Может, чайку изопьете, ваше благородие. Не побрезгуйте. Божий у нас чай-то».

Это уже был молчаливый бунт. Урядник метался, кипел злобой, но ничего не мог поделать с мужиками. Пришлось нанимать работников со стороны. Грозил: «Ну, погоди, Силов. Не я буду, если не упеку тебя в Сибирь!..»

7

А солнце палило и палило иссушенную землю. В небе ни облачка. Жаром курились соломенные крыши, одна искра — и сгорит деревня. По улочкам бродили кудлатые собаки, похожие на осиновских мужиков: взлохмаченностью, независимостью, валкой походкой, собачьим достоинством, а уж злобой — это точно. А терпеливы были те собаки, дальше некуда: бей в три палки — не заскулит, только будет стараться броситься обидчи-

ку на грудь, чтобы хрип перехватить. Собак осиновских, как и мужиков, не тронь — все за одного и один за всех.

Не помнят экзекуторы, чтобы под розгами хоть один осиновец застонал или пощады запросил, только покряхтывает, бывало, будто в печи парится. Недаром говорили мужики соседних деревень, мол, один осиновец трех сосновцев стоит...

Но все же собакам жилось лучше и легче, чем мужикам: хоть они и голоднющие бродили по деревне, могли целый день валяться в пыли, ловить блох, в речке искупаться, когда от жары невмоготу. Мужик же и этого лишен. И не понять было, для чего держат мужики этих собак. На охоту они уже давно не ходят, сторожить нечего. Может быть, лишний раз облают урядника, помещика — и то радость. Самим-то мужикам «лаять» опасно, а собакам можно, на то они и собаки...

Силовы, Воровы, Ждановы с давних времен косили травы сообща. Митяй тоже с ними, не оставишь, а потом, отец, умирая, просил Феодосия не оставлять сына одного. Да и покос у них общий, не стали делиться. Чего уж там, у всех по лошаденке да коровенке. А у Силовых и лошади не осталось. Лишнее сено, когда были хорошие травы, продавали, а деньги делили честно.

Косари гребли сено и метали стога. Все бабы на греби, только Марфа-богатырша подает сено на стога. Навильник — и нет полкопны. Митяй в гребщиках. Хотя у Митяя силы тоже не занимать, несмотря на его худобу, но Марфа не пускала его на тяжелую работу, говорила: «Надорвется, тогда что мне делать без Митяя?» А два года назад, когда все село секли за недоимки, то вместо Митяя легла на лавку Марфа и сказала: «За Митяя, он у меня хлипкий». Экзекуторы старались во всю силу, ладно расписали широченный зад Марфы. Марфа поднялась с лавки, одернула сарафан, бросила: «За-ради любви терплю такие муки, Митяй. Слышишь?»

Митяй плакал, обнимал и целовал Марфу, так в обнимку и ушли домой.

Работа шла дружно, споро. Стога росли, как на опаре. Это вам не вятичи, когда семеро на возу, а один внизу и кричат еще — не заваливай!

Время к полудню. Травная сила на исходе, пора обедать.

— Бабы, кончай грести, заваривай хлебово! — крикнул Феодосий.

Воткнули бабы черенки граблей в землю и пошли к табору, девки пусть гребут. Их в этой ватаге за два десятка. Парни почти все ушли на заработки. Бабы на скорую руку заварили борщ из лебеды в огромном котле, опустили кусочек сала, все мясным будет пахнуть, нарезали черного, как земля, хлеба,

тоже больше чем наполовину с травой и корой сосновой, стали звать мужиков.

— Надо бы еще один стожок подметать, Феодосий, ить число-то у нас бесовское, тринадцать,— боязливо заговорил Ефим.

— Пустое, небо синь синью, дождя не жди, а чего еще нам бояться?

— Всякое могет быть.

— Не каркай! Пошли полдничать. Будя себя стращать.

Пермяки народ суеверный: кошка ли дорогу перебежит, собака ли завоет, курица ли петухом запоет — жди беды. А уж числа тринадцать боялись — чертова дюжина.

Вон и Андрей пересчитал стога, подошел к отцу и сказал:

— Тятя, а ить стогов-то тринадцать. Может, еще один распочать? Не надо беса дразнить.

— Ничего, сынок, тринадцать ли, двенадцать ли, какое дело. Пошли есть.

Андрей замолчал, спорить с отцом тоже грех немалый. Дометать бы к ночи стога и убежать к Варьке. Отец упреждал сына: мол, орешек не по зубам. Зубин не отдаст Варьку за тя.

Зубин наметил в зятья Лариона Мякинина. Однолетки они с Андреем. Но таких, как он, девки не любят: руки почти до колен, рыжий, сутулый, челюсть тяжелая, лоб покатый, глаза маленькие, как у кабана, нос по-утиному плоский. Но Зубин подбадривал Лариона: мол, мужику красота не надобна, были бы сила и деньги. Бабы таких любят. А деньги у Мякининых водились, кубышки с золотом далеко были спрятаны. На дворе три десятка коней, столько же коров, сотня десятин пахотной земли да покосов. Всего не пересчитаешь в чужом кармане, однако можно было прикинуть, как туго набита мошна у Фомы Мякинина.

Ларион чуждался Варьки. Возиться с девкой? На кой ляд. Бегал к приветливым лихоимицам Параське и Любке. Обе любили Лариона — сильного и жадного в любви. Но больше нравилось ему ходить к Любке, когда дома не было урядника. Любка красавица, первая красавица на деревне. Она говорила Лариону: «Чем страшней мужик, тем больше в нем силы, потому как не с кем ему ее истратить...»

Ларион чувствовал правоту Любкиных слов. Сам страшен — избегал чужой красоты. Андрея люто ненавидел. Но ненависть свою глубоко прятал. Понимал мужик, что женись он на Варьке, да при их достатке, не удержать Варьку в узде, заблудит, как Любка. И нашел в себе силы, чтобы сказать Варе: «Ты, девка, меня не боись. Не женюсь я на тебе, шибко красивущая. Не полюбишь, как жить будем?» Варя ответила: «Ежли поже-

нят силой нас, то утоплюсь, а с таким страхолюдом жить не буду. На улице с тобой не покажусь».— «Спасибо за правду, живи, милуйся с этим лапотником. Мне есть кого любить, и есть кто любит меня. Прощевай!»

Так и благословил Ларион Варьку на добрую, тихую любовь. Верить или не верить Лариону?

Об этом думали Варя и Андрей. Ведь согласись он жениться на Варьке — женится. Зубин прикажет Варе быть женой Лариона, и никто его не отговорит.

Стоит Андрей посредине покоса, а перед глазами Варя. Вот берет он ее на руки и несет в степь. Там он под вскрики ночи и шепот трав будет с ней до зари миловаться. От этого под сердцем тепло, на душе радостно.

Варя рослая, гибкая, как лозинка прибрежная, а глазищи будто у дикой оленухи, голубее неба, чище уральских озер. Молчаливый смех в тех глазах затаился. А засмеется, будто золото сыпанет по избе. Собирай, не ленись, всем хватит. Песню запоет — вся деревня слушает. А когда начнет миловаться и целовать — голова кругом, будто жбан медовухи выпил. Упадет на руки, пойманным стрепетом забьется. Губы — пьявки. Руки — змеи. Вся на виду, вся в горении. Но не смеет Андрей впасть в грех. Только после венца...

Бывает, что и поддастся порыву Вари — забыв бога, все на свете, зароется в ее душистые волосы, поцелуями защекочет шею. Трогает руками сильное тело, трепетное, податливое. Бесовское томление и духота степная. Но стоит ему вспомнить Софкину любовь, как он тут же приходит в себя. Опустит Варю в травы, притихнет, замкнется. Обидно Варе, что недоласкал, недомиловал. Бросит злое слово:

— Все знают, как ты соблазнил Софку. Меня тоже хочешь соблазнить.

Не права Варя, сама чуть до греха не довела.

— Иди к Софке, она ждет тебя, глазищами рыскает, как голодная волчица. Или сбегай к девкам Мякининым, тоже с тебя глаз не спускают.

Девки у Мякинина — перестарки. Не берут их парни, на Лариона похожи. Кто такую возьмет? Находились женихи, ради приданого готовы были взять, но Фома начал нос воротить, мол, рвань, лапотники, а потому не пара. Гнал в три шеи. Теперь бы рад выдать своих блудниц за любого, но уже никто не берет.

Пойдут, бывало, в церковь Мякинины, впереди Фома Сергеич кривоногий семенит, за ним дородная Василиса, следом девки; Ларион не ходил с семьей. Девки нарядные, нахально крутят ягодицами, совращают мужиков. Похохатывают мужики, крякают,

судят, какая из них норовиста в любви, которая — холодна. Эти девки не натружают работой свои руки, вяжут кружева, шьют, бездельничают, как сказали бы в деревне. А между делом одного за другим приносят в подолах младенцев. Все от прохожих молодцов. Рычит и смертным боем бьет Фома своих дочерей, но унять блуд не может.

Андрей пристыженно сожмется в травах, уставит большие глаза в даль ночи и надолго замолчит. Неправда его больно ранит. Варя протянет руку и начнет тихо наматывать его кудряшки на палец. Извиняется за сказанное. Примиренные, задремлют под скрип цикад, крик ночных птиц, с росой проснутся...

У пермяков такое допустимо, когда девка может вернуться на рассвете, лишь бы работала во всю силу, не дремала бы на покосе. А если приспит мальца от безвестного молодца, то все это богово, все от бога. Поэтому Варя могла свободно встречаться с Андреем, пока об этом Зубин не узнал.

Согласился с отцом Андрей, пусть будет по его слову, лишь бы не нудиться еще одну ночь без Вари. Готов работать и без обеда.

Все сошлись к табору. Встали на молитву, повернув лица на восход солнца.

— Богородица дева радуйся, благодатная Мария... — запричитал Ефим, остальные ему вторили.

Молились с усердием. Иван Воров назло Ефиму крестился лениво. После молитвы Ефим заворчал:

— Завтра же скажу попу, пусть снова наложит на тебя епитимью.

— Десятый раз пужаешь меня попом. Так знай, что сегодня поп пребывает в болести, ему Ларька хребет колом перебил. Параську не поделили. Кровями мочится, ноги отнялись. Отходил старый кобель по бабам. Видел я, как он блюдет тайну исповеди, сам шепчет молитву, рука же под подол лезет.

Хмурится Феодосий, грозился он выгнать Параську из деревни; хоть он не староста и не поп, но по его слову выгнали бы! Но куда? Ей тоже, вдовушке, хлеб есть надо, жить надо. Вот и принимает, кто побогаче. Любке и мякининским девкам обещал завязать подолы на головах и голяком пустить по деревне, но все недосуг. А жизнь шла своим чередом.

— Мы и без попа можем сделать тебе судилище, каленым железом грехи изгоним, очистим твою душу от скверны.

— Слушай, Ефим, ты грамотей средь нас, многажды читал скитское покаяние, там написано: «Отпусти мне, боже, беззакония моя: зависть, сребролюбие, славолюбие, гордость и непоко-

рение...» Скажи, что у меня есть: серебро, славолюбие? Неужли ты не поймешь, что это ладно для того, кто правит нами. Не быть гордым, быть покорным. А я мужик, я рожден быть гордым и непокорным. Ты хочешь исделать меня другим? Не выйдет, Ефим, потому нишкни и не пужай меня. Могу осерчать и выдрать бороденку.

— Тяжко спорить с тобой, зловредный ты мужик.

— Не зли, Иване, раба Ефима,— притворно запричитала Харитинья, повела глазами, а в них задор, смешинка.— Пропадем мы тогда, ить спать вместях не дадут, у попадьи в подполье будут держать,— дрогнули брови-дуги, потянулась гибким телом.

Крякнул Ефим от греховных мыслей, хохотнул Иван, усмехнулся Феодосий. Харитинья, когда надо, любого в соблазн введет, и потянется за ней мужик, как бычок на поводке. Зубин большие деньги предлагает за короткую любовь. На то же подбивает и Мякинин Но Харитинья горазда подразнить мужиков, а дальше не подпустит.

— Придется бегать к Зубину аль, на худой конец, к Фоме — рыжему. Не люблю рыжих, а что делать?

— Будя молоть языком,— оборвал Феодосий.— Нашли время чесать языки, нужда в дугу гнет, а они про блуд. Кормите.

Ели шумно, ели долго, набивали животы травой. Запили квасом. Жить можно. Не грех и подремать чуток, кто горазд, а кто хочет говорить о деле — пусть говорит.

— Есть у меня думка шальная, бродяга ту думку заронил, душу сволновал. Бежать нам надо в Сибирь и еще за Сибирь. Там где-то есть Беловодское царство, вольные земли, вольные люди. Земли пустошные, ничейные, знать наши, мужицкие. Ни царя там, ни разных живоглотов.

— Хэ, спятил, старик,— хохотнула Меланья,— в Сибирь за долги гонят, а он сам готов бежать по сказу бродяги.

— А че, пошли, Меланья, может, хошь раз наемся досыта,— подмигнула Харитинья.

— Я хошь завтра готов чапать,— потянулся Митяй.

— Сиди уж, по дороге свои мосталыги растеряешь,— цыкнула Марфа.

— И все ж подумать надо, мужики и бабы, здесь дожили уже до ручки.

Феодосий долго рассказывал о неведомом царстве, своего добавил, и выходило так, что хоть сейчас снимайся и убегай в ту страну.

— Антиресно,— крутнул лохматой головой Иван.

— Может, и антиресно, но рази можно оторваться от родной земли? Не было бы солоно? Как здесь ни тяжко, но свой дом, свои дороги. Не подходит! — взвился Ефим. Было с чего.

— А может быть, подходит? Подумать надо,— подала свой голос Марфа.— Рази здесь мы живем? Не живем, а сырой головешкой шаем.

— Пошли, Ефиме, изделаем мы тебя нашим святым,— захохотала Харитинья.

— Можно и здесь стать святым, молись и бога не гневи.

— Нет, Ефиме, здесь тебе не быть святым, здесь палку брось и в святого попадешь.

На сук села сорока. И ну трещать, свистеть, мешать душевному разговору.

— Киш! Затараторила! Шугните ее, парнишки! — крикнул Феодосий.

А парнишкам того и надо. Надоели им разговоры о нужде, о голоде, бросились гонять сороку. Митяй тоже не отстал. Сорока, разморенная жарой, метнулась в кусты, затем в лесок, на покос. Не отстает ватага. Загоняли сороку, упала в куст. Митяй выхватил ее из куста, шепнул мальцу:

— Сбегай принеси просмоленную веревку, мы ей счас комедь устроим.

Привязали к лапкам кусок веревки, подожгли и под свист, улюканье отпустили сороку. И понесла она за собой огонь, понесла пламя. До такого мог додуматься тоже только Митяй. Кругом сушь, одной спички хватит, чтобы сжечь всю округу.

— Ехать надо,— доказывал Феодосий.— Терять нам нече!

— Нищему пожар не страшен, подпоясался и пошел дальше.

— А наших сопляков с собой возьмем аль здесь оставим? — похохатывает Харитинья, не верит она в эти задумки. Осиновского мужика сковырнуть с места, от своей земли оторвать? Нет. Вперед Кама вспять потечет, чем пермяк свой угол оставит.

— Коров тоже с собой возьмем, привяжем к хвостам сено и пошли искать то царство,— улыбается Меланья.

— Нишкни! — насупился Феодосий.

— Да подите вы, пустомели. Затеяли пустое, людям мозга засоряете,— отмахнулась от мужа Меланья.

Харитинья знала мечту Ивана — разбогатеть. Но не получалось: ловил рыбу — прогорел, плавил лес — денег не прибавилось, а на углежогстве и вовсе нищим стал. Ведь копейка к копейке липнет, а рубль к рублю, а у Ивана все богатство, что полон дом детворы. Вот если бы Иван вышел на разбойную дорогу, как это сделал когда-то Фома, то можно было бы

и разбогатеть. Честный человек богачом не станет: либо разбой, либо обман. А у Ивана — душа чижика, не приемлет разбоя, а обмана с детства не терпел. Такому не разбогатеть.

— Меланья, ты не серди меня, я ить правда той землей живу в думах, и во снах.

— Ну и живи, без нас-то вы все равно не трекнетесь. Мелете языками, как псы хвостами,— бросила Харитинья и прилегла на сено.

— А как ты, Марфа, про то думаешь? Ты голова семьи, Митяй...— Феодосий не договорил, поперхнулся, глаза полезли из орбит, вскочил, закричал: — Караул! Горим!

Что ни говори, а веселущий человек Митяй. Даже когда сорока села на первый стог, с горящей веревкой за хвостом, он, вместе с мальчишками, хохотал, приседая на журавлиных ногах, бил себя по бедрам. Только дикий крик Феодосия оборвал его смех и хохот.

Сорока сорвалась с пылающего стога, полетела на другой стог. А стога выстроились рядком возле леска, знай поджигай. А их тринадцать.

И загудел огонь, заревели люди, заржали кони. Тугое пламя метнулось в небо, туда же искры, черный дым. К стогам на двадцать сажен не подступишься. Те, что уже горят,— не спасти. Надо спасать остальные стога. Но огонь полыхнул по засохшей траве, перекинулся на лес, охватил кольцом еще целые стога...

На помощь бежали соседи, ведь огонь мог перекинуться и на их покосы. Бьют, сбивают огонь ветками, но они горят, армяками, чем только можно. Но... Загорелась даже земля. Теперь уже горели все стога. Однако общими силами удалось укротить огонь, что ходко бежал по травам. Стога спасать и думать нечего.

Крики, стоны, бабий плач. Ефим подскочил к Ивану, схватил его за бороду, дико закричал:

— Вот где твое богохульство отрыгнулось! Антихрист! Бейте его! — и первым ударил в скулу.

Иван не остался в долгу, хрястнул Ефима в челюсть, тот откатился на горелые травы. На Ивана бросился сын Ефима Роман. Тоже был сбит. Но вскочил, а тут на Романа метнулся Степан Воров. Куча мала. Горшковы, Пятышины, Пырковы бросились разнимать драчунов, но, получив по удару, тоже влезли в драку. Дрались за прошлые обиды, дрались, что не могут вырваться из нужды. А стога догорали. Пятышины взяли сторону Воровых, Пырковы пошли за Ждановых. Втянули в эту драку и Андрея. Все смешалось. Дрались бабы, таскали друг

друга за волосы, дрались мальчишки, они тоже что-то не поделили. Гудел пожарище.

Марфа подозвала Митяя, сняла с него осторожно очки, в очках она его никогда не била, слишком дорогая вещь, можно и разбить, начала бить и приговаривать:

— Охлопень! Это ты мальчишек надоумил веревку поджечь! Ты сжег сена! Ты в разор нас пустил! — Била ритмично, наотмашь, будто вальком по белью. Голова Митяя моталась из стороны в сторону, не кричал, не сопротивлялся, а только мычал. Шибко била.

И вдруг крик:

— Митяй поджег сена! Пошли бить Митяя! Бить Митяя!

От крика драка распалась, хотя кое-кто напоследок дернул «недруга» за бороду, но все повернулись в сторону Митяя. Затем бросились к нему. Но Марфа загородила собой Митяя, раскинула руки, закричала:

— Не подходи! Зашибу! Не дам забижать Митяя! Всех в узел свяжу!

Крик не остановил, пришлось защищать Митяя силой: схватила за руку Ивана Ворова, полетел в сторону, будто пушинка, подвернулся Ефим, того поймала за ногу, на десять саженей отлетел. И пошла воевать. Кого хватит кулаком,— волчком завертится, а кого сведет лбами,— искры из глаз. Митяй за спиной, да еще подсказывает, кто откуда заходит...

Феодосий не дрался. Он стоял на угорье и смотрел куда-то за огонь, за дымы, еще более взлохмаченный, пламенел на солнце, на огне, щерил зубы, ноздри трепетали. Ветер надул его рубашку колоколом, сейчас улетит старик.

Драка, как и огонь, начала затухать. И вдруг над этим затишьем повис мощный голос Феодосия:

— Гроба мать! Смотрите, видение зрю! Вона на небеси показалось!

Люди вздрогнули и замерли, вскинули побитые лица в небо, зажимая расквашенные носы, смотрели туда, куда показывал Феодосий.

А в небе действительно плясал Иисус Христос и черт с рожками и хвостом, такие коленца выделывали, что любому плясуну на зависть.

Мираж был настолько четким, видимым, что казалось, завис над покосами. Ахнули люди, кто-то упал ниц, закрыл голову руками, другие бросились в деревню. Ефим Жданов часто-часто крестился, читал молитвы.

— Зрите, люди! — гремел Феодосий.— Христос с дьяволом «Барыню» отплясывают. Вот как наш бог радеет о людях! Вот

почему нет на земле радости и сытности! Отрекаюсь! Будь ты проклят! — грозил в небо волосатым кулачищем Феодосий, еще более могучий, страшный.

— Сатано! Сатано! Феодосий — сатано! Дьявольское наваждение ниспослал нам. Душу дьяволу продал, чтобыть он сомустил наши!

— Зрю рога на его лбу!— завизжал Ефим и в ужасе бросился бежать.

Мираж растаял. Феодосий устало сказал:

— Вставайте, люди. Не я сатано, а наш бог сатано. Вставайте, подружки наши. Теперь мы стали боле того нищи. Теперь нам одна дорога в Сибирь. Больше не на че надеяться: хлеба высохли, сена сгорели, денег нет. А там голод, розги, болесть душевная.

И встали люди, кудлатые, побитые, ошалевшие, в глазах боль, страх, тоска.

— Как же ты смог показать нам бесовское игрище? — закричала впервые в жизни на мужа Меланья.

— Не показал, а само показалось. Откель оно пришло — не знаю.

— Бога проклял! Отрекся от бога. Господи, прости ему согрешения вольные и невольные.

— Мне однова, простит аль нет, у нас нужда, а он с чертом пляску затеял.

Люди, осеняя себя крестом, расходились по своим покосам. Остались погорельцы, кто не убежал в деревню. Присели на кочки, головы опустили.

— Вот оно, явление Христа к народу! Все видели?

— ...

— Тогда не судите меня за отречение. Доходил я душой давно, что бог и дьявол — едины, счас глазами узрел. Все, отрекаюсь от бога, совсем отрекаюсь,— неуверенно говорил Феодосий.

— Не спеши, Феодосий, отрекаться, может быть, дьявол в лик божий превратился, чтобыть нас сомустить,— проговорил Иван, сморкаясь кровью.

— Я тожись отрекаюсь от бога! — с плачем бросил Митяй.— Марфа бьет, жрать нече, жисть дохлая. Отрекаюсь!

— Я те отрекусь, на одну ногу встану, за другую дерну и сделаю из тебя двух Митяев,— прохрипела Марфа, прикрыла толстые колени изодранным в драке сарафаном.

— Уходить надо. Это уж точно, жисти здесь не будет.

— Отрекаюсь! Отрекаюсь! — хныкал Митяй, поправляя очки.

На колокольне загудел набат.

— Неужли где еще горит? — завертел головой Феодосий. — Ну беда.

— Это Ефим полошит народ. Дурак старый! Пошли в деревню,— поднялся Иван.— А ить славно подрались. Мне так звезданул Горшков, что досе скула ноет.

— В Сибирь уходить надо, — тянул свое Феодосий.

— Нет, на месте и камень обрастает.

— Нашей нуждой.

— Бабы тожить ладно дрались, хоть чуток вшу из голов повыскребли. Пошли быстрее, может, и не Ефим полошит... А вы, бабы, приберите грабли, что не сгорело, несите домой,— наказал бабам Иван.

Ефим влетел в церковь грязный от сажи, в крови, в поту и тут же запнулся за дьяка, который валялся в блевотине. Бросился в клетушку звонаря, тот тоже лыка не вяжет. К попу, но его шугнула поленом попадья. Влетел на колокольню и начал бить в колокола. Очнулся дьяк, полез на колокольню. Ефим заорал:

— Силов бога проклял, отрекся от бога! Анафеме предать надобно.

— Неможно, на то надо разрешение епископа аль еще кого. Проклял бога? Эка невидаль, я давно его проклял и отрекся. Все мы от него отреклись, а батюшка еще раньше меня. Нет бога. Все то дым, туман,— пьяно говорил дьяк.— Зелье — это бог, дажить лучше, тьма, но не вечная. Бог — тьма вечная.

Ефим влепил дьяку затрещину, закричал:

— Ты что глаголешь? С ума спятил от зелья? В губернию пожалуюсь! Цыц, дьявол!

— Погодь, погодь... Гришь, отрекся от бога! Анафема! Гони звонаря сюда, я пороблю. Анафема!

Ефим облил звонаря холодной водой из колодца, тот очнулся, понял, что от него хотят, пополз на колокольню, сменил дьяка и ударил в колокола веселую «Барыню». Так и слышалось: «Барыня с перебором, ночевала под забором...»

Сбегался народ. А дьяк уже стоял на паперти и могучим басом орал:

— Анафема! Грешнику и богоотступнику рабу Феодосию — анафема!

— Анафема! — визжал Ефим Жданов.

— За что Силова предают анафеме?

— Не знаем.

— Анафема! — орал дьяк.

— Анафема! — прокричал звонарь с деревянной колокольни и свалился под колокола досыпать.

— Тиха, Ефим Тарасович говорить будет.

— Такие дела, братья во Христе, значитца, у нас был пожарище. Потом Феодосий показал нам сатанинское видение, будто Исус Христос с дьяволом «Барыню» плясали. А как отплясали, Феодосий тут же отрекся от бога. Сатано он, давно в его душе дьявол сидит. Он меня не однова подбивал отречься от бога, — забыв о старой дружбе, о том хлебе и соли, что съели вместе в мытарствах по земле, рассказывал Ефим.

— Анафема! Отлучить от церкви и сжечь на кострище колдуна.

— Анафема! В омут нечестивца! Зовите попа, пусть отлучит от церкви!

— Поп не могет, намедни он крался от Параськи, а Ларька его перестрел и колом хлобыстнул. Анафема!

— Пымать Феодосия и на судилище! Сюда его, сатано!

— В церковь нельзя, осквернит святыни! Анафема!

Анафема...

8

Косоротились мужики, изрыгая проклятия, а из синей дали накатывалась дробь барабана.

Трам-та-та-та-там! Трам! Трам! — барабан гремел, густела его дробь. Это Никита Силов шел со службы царской. Двадцать пять лет отбарабанил, за это получил ружье, амуницию и барабан. На груди Георгиевские кресты, медали.

Трам-та-та-там! Трам! Трам! Трам!..

Феодосий и Иван, не зная, что творится у церкви, подбежали к толпе. И их тут же вытолкнули на паперть. Не успели и слова сказать, как скрутили руки, прижали к стене. Больше всех старался Зубин, между делом дал Ивану под дых. Тут же крутился Фома Мякинин. Хотел было торскнуть по сопатке Феодосию, но сдержался.

Звенят на груди кресты и медали. Все это добыто в бою, через свои раны, кровь людскую. Может быть, впервые в свое удовольствие тянул носок Никита. Радовался, что еще в силе. Артикулы ружьем выкидывал. Что есть мочи бил тяжелыми ботинками по пыльной дороге. Все позади. Впереди жизнь, какой-то она будет?..

— Анафема! Несите дров на кострище! Колдуна сожгем, а Ивана плетьми выпорем!

— Сжечь и Ивана! Анафема! Он давно воротит нос от бога!

На паперть поднялся Митяй. Встал рядом со связанными друзьями, вскинул голову, крикнул:

— Коли их жечь, то и меня жгите!

— Не трогать Митяя! Гоните его прочь!

— Я тожить отрекся от бога! Анафема! — невпопад закричал Митяй. В толпе захохотали.— Не уйду, они мои побратимы, я до последнего издыхания с ними.

— Чего с дурака взять? Гоните его! Где Марфа, пусть бы она наклепала ему по загривку.

— Еще с покоса не вернулась, сейчас придет. Анафема!..

Шел Никита по ровной дороге, его всюду встречали доброй лаской, с той же грустью в глазах провожали. Дети махали ручонками вслед, а он им на потеху бил в барабан, будил сонных собак...

Анафема!..

Шел Никита и широко улыбался родной земле, солнцу палящему, небу, все это будто увидел впервые. Млел от песен жаворонков, хмелел от трелей соловья. Но и тревожился, видел, как горит земля, неурожай... Падал в нескошенные травы и тут же засыпал. Засыпал под говор пересохшего ручейка, с теплом в душе и радостью в сердце. Знал, что больше не закричит на него служака-фельдфебель: «Подымайсь! Стройсь! Мать вашу поперек!» Спит Никита где захочет, радуется тишине, к сердцу прислушивается. А оно трепещет, дом близко, дом чует...

— Анафема! Читай, Феофил, очистительную молитву, и с богом почнем. Да пусть примут покаяние, ить были христианами.

— Детей и жёнок в огонь!

— Анафема!..

Загрустил Никита при виде родных мест, прошлое темной тучкой накатилось, грустью наполнились глаза, на сердце камень. Отяжелели ноги, не спешит Никита в родную деревню. А зря. Зубин и Мякинин уже подбили народ, чтобы сжечь всех трех еретиков. Уже Митяя связали. Давно, конечно не считая Митяя, стоят эти двое у них рыбьей костью в горле. Урядник тоже спешит к церкви. Он не будет вмешиваться в дела церковные, но все же приятно посмотреть, как будут жечь врагов.

— Анафема!

— Сжечь еретиков и бунтовщиков, царя бунтуют, бога отвергают. Анафема! — визжит Мякинин.

Тяжко народу. Голод страшной тенью маячит впереди. Убить Феодосия, а случись бунт, ведь без Феодосия они стадо баранов. Он всегда даст совет, может встать в голову бунта. Ошалел Ефим — супротив друга пошел. Дурит старик. Рвет пу-

ты Феодосий, хочет что-то сказать, но рот кляпом забит. Уже слышны голоса:

— Наложить епитимью!

— Отлучить на чуток от церкви, а потом спросить сызнова, что и как.

— Пусть каются!

— Их бес попутал!

— Анафема! — глушат эти голоса сытые глотки богатеев.

Иезуитство, время жестокой веры, пусть все это не так сильно выпячивало на Руси, но сжечь в срубе могли. Тем более колдуна. Анафема! Хотя без разрешения верховной власти церкви — это уже самосуд.

А люди все бегут и бегут на крики. Бегут бабы, дети, всем интересно, как будут жечь колдунов.

Выли собаки. Быть беде.

— Анафема! — громче всех орет Зубин, гоношит костер, мужики копают ямы под столбы, сам же косит глаза на Харитинью, которая только что подбежала, в немом испуге прикрыла рот платком, часто дышит, еще не знает, что делать: броситься ли на выручку мужа или закричать истошно. Может быть, это шутка, может быть, новое представление дает Иван. — Анафема! — «Теперь не уйдешь ты от меня,— думает Зубин.— Моя будешь...»

Смолк барабан. Никиту захлестнули воспоминания. Вот мостик, совсем развалился, не чинят, а тогда был новым. Вон озеро, и оно уже заросло камышом. На этом озере Ефим и Никита ловили карасей. Тогда Никита был верткий, как щуренок. Все ушло, все мимо прокатилось. Стал сед, неповоротлив. Служба укоротила жизнь. Годы, годы, вернуть бы их назад! А вот здесь Никита спасал Ефима. Ефим врухался в болотину и начал тонуть. А через год Ефим Никиту.

— Поди, забыл, что я есть на свете,— выдохнул Никита.— Как они живут? Скоро увижу, должно быть, как все мужики расейские.

Еще один мостик, еще один ручеек. Скрипнули под ногами бревна, защемило сердце, туман застлал глаза.

— Ксина, любушка! Жива ли ты? Вот и я возвернулся. Отзовись!

Нет, не проскочить голосу из прошлого, через двадцать пять лет. Не сможет крикнуть из небытия Аксинья Стогова. Забил ее вожжами суровый и ревнивый муж Трефил Зубин, замурыжил. Двадцать пять лет! Ничего назад не возвращается, даже вчерашний сон...

— Анафема!..

Вся деревня провожала рекрутов, тех, кому выпал тяжкий жребий идти в солдатчину. Никто не виноват, сам Никита вытянул из шапки свою судьбу, трудную и горькую. Могла оказаться там бумажка, что быть ему дома, не оказалась... Плакала жалейка Петрована Пятышина. Умел старик выводить на ней дивную музыку, да такую, что за сердце брала. Ох, как брала, что и слез не удержать! Голосили матери, никли их головы, как травы под ветром, к пыльной дороге. Чуть потише плакали невесты. Уходили суженые, уходили, можно сказать, навсегда. Кто же будет ждать солдата двадцать пять лет?

— Ждать ли тебя, Никитушка? — спросила, рыдая, Аксинья. — Скажи слово, до седых волос буду ждать.

— Неможно ждать. Ежели не убьют на войне, то вернусь стариком. Ты тоже уже будешь не молодицей. Не томись. Вей гнездо. Всякая птаха вьет гнездо смолоду, птенцов выводит, чтобы земля не скудела. Прощай! Даст бог — свидимся. От судьбы не убежишь, от судьбы не спрячешься. Вернусь, хоть детьми твоими порадуюсь. Прощай!..

Люди, толпа, неразумность. Зубин спешил, в глазах нелюдской блеск, руки в тяске, тело в переплясе дикой радости, что наконец-то освободится от врагов своих. Толпа тоже напряжена. Толпа тоже готова бросить в огонь старых друзей...

Один из всех, кого взяли в рекрутчину, Никита возвращается домой. Несет плохие вести матерям и отцам. Только живы ли они? Братья должны быть живы. А что братья! Они за нуждой забыли, кто ушел, а кто остался дома, кого любить, а кого ненавидеть.

Здесь Аксинья целовала и миловала Никиту. Двадцать пять лет берег солдат на своих губах тот поцелуй. Здесь вот они присели. Помолчали, повздыхали... Все это уже стало вечностью. Аксинья вот у этого дубка, теперь уже дуба, целовала Никиту, обвивалась гибкой лозинкой, людей не стыдилась...

— Анафема! Смолья несите...

Зря она это делала, ведь ей здесь жить, ей быть чьей-то женой. Никита ушел под ружье солдатское, все за собой оставил. Ад войн выбелил его волосы, вынул душу. Любому прохожему отдал бы Никита свои кресты и медали, чтобы хоть день побыть в прошлом. Да что там кресты!..

Сейчас поведут Феодосия и Ивана к столбу, скрутят их одной цепью, так-то надежнее. Митяя не хотят сжигать.

— Люди! Кого вы слушаете? Эти кобели старые, псы вонючие давно зубы точат на наших! — наконец-то закричала Харитинья. Сбила с паперти Зубина, подскочила к Ивану, вырвала

кляп изо рта.— Зубин и его свора хотят сжечь самых праведных мужей. Люди!

Позади рев Марфы:

— Эт кто моего Митяя спеленал? Кто его забижает? А? Митенька, я счас. Разойдись!— Марфа взмахнула тяжелой дубиной над головами, и толпа подалась в сторону, расступилась.— Митяя мучить? Убью!

Едва увернулся от дубины Зубин, кубарем скатился с паперти Мякинин. Марфа поддала дьяка ногой, тот улетел к столбу. Она же схватила Ефима поперек и бросила на головы людей...

— Вот я и пришел,— грустно сказал Никита, тронул корявой рукой почерневший угол чьего-то дома, загрустил. Но тут же расправил плечи и ударил в барабан, да так, будто солдат вел в бой. Без его барабана — не бой... Бьет кленовыми палочками по тугой коже, гудит барабан, поет барабан. А впереди и верно бой, здоровенная баба разгоняет толпу, машет над головами дубиной. Но не бьет, только пугает. Заспешил Никита, борода на две стороны, заслужил бороду. Услышал барабан народ, затих. Опустила свою страшную дубину Марфа, остановилась. А то уже деревня разделилась на две стенки, быть бою.

— Вяжи стерву! — закричал Зубин, но сам не подходит близко, чужими руками хочет укротить Марфу.

Никто не решается вязать Марфу. Не по силе многим. К тому же она метнулась на паперть, порвала веревки, освободила пленников. Силы прибавилось. Эти будут драться насмерть. А за спиной Марфы дружки Феодосия уже начали хватать поленья, что приготовили на костер, Зубин своих дров не пожалел, готовы дать бой.

— Что вы творите? Сами вы колдуны, еретики, винище хлещете, скоромное в постные дни едите. А ты, Зубин, среди раскольников вьюном ходишь. Все знаем, свидетелев можем привести! — кричала Харитинья.

Трам-та-та-та-там! Трам! Трам! Трам! Трам-та-та-там!

— Анафема!— очнулся дьяк, поднимаясь из пыли.

Остановился Никита перед ошеломленной толпой, руку бросил к шапке, отдал рапорт:

— Бомбандир Измайловского полка, третьей роты, первого взвода Никита Силов прибыл после прохождения службы царской! — Сам же себе приказал: — Смирно!

Все стоят, и никто не может признать служивого,— может, и правда Силов, а может быть, из другой деревни, там тоже есть Силовы? Даже Феодосий нахмурил лоб, что-то силится вспомнить. Батюшки, так это же родной брат, Никита!

— Никита, годок! Вернулся! — бросился к Никите Ефим Жданов, облапил служивого, ткнулся грязной бородой в бороду дружка, прослезился. Но Никита и здесь солдат, он оттолкнул дружка, выбежал на паперть.

— Что происходит, миряне? — зычно крикнул.

— Колдунов собрались жечь. Твоего братца. Он видел видение на небеси,— ответили из толпы.

— Како тако видение?

— Бог с чертом на небеси «Барыню» отплясывали.

— Ну,— притворно удивился Никита,— знать, и здесь такое появилось?

— А че, рази еще где бывает?

— Бывает, мне не мене как сто раз видеть такое доводилось. Особливо в пустынях. Жара, а там, гля, озеро в небе висит. Другой раз будто и на песках, мы к нему, а оно все дальше и дальше. Перса мы воевали, так я видел в пустыне, как корабель плыл по небу, потом видели всем полком, как Христос шествовал по облакам, тожить чутка приплясывал. Это все от духоты. Потому зряшно вы забижаете людей.

— Феодосий от бога отрекся, как посмотрел, что Исус Христос с дьяволом заодно, тут же и отрекся.

— Хе, пустое, наш полковник тожить не однова отрекался от бога, а как глянет смертушка в глаза, так снова за бога. Это он не отрекся, а поругался с богом.

— А рази же можно ругаться с богом, ить он не баба?

— Знамо, лучше не ругаться, а ежли такое привиделось, то можно и ругнуться. Потом Феодосий не знал, что это бесовское видение, кое чаще бывает в жару, обманное видение. Миражой оно называется.

— Вот ядрит твою бабушку! Сразу видно, солдат, все знат, все ведат, — загудела толпа. — А не врешь, служивый?

— Вот вам крест, не вру! — перекрестился Никита.— Ефим, ты дружок, тебе и скажу еще че-то на ухо. Иди, не бойся, ружье мое не заряжено,— усмехался Никита.

Ефим влетел на паперть, Никита что-то зашептал на ухо. Ефим тут же отпрянул, закричал:

— Врешь! — Глаза его полезли из орбит.— Не могет того быть, чтобы царь не верил в бога!

— Да не ори ты! Ить я тебе только на ухо сказал. Слухай и не ори. Однова я стоял на часах в Зимнем дворце, был великий пост; гля, царь мимо прошмыгнул с княгиней Потемкиной, еще мне пальцем погрозил: мол, молчи, солдат, не то семь шкур спущу. В страстную неделю это было, потом ему пронесли курятину, вино и разные закуси. Я молчал. Снова такое же было, но

уже перед самой пасхой, я снова смолчал. Царь за верность мне тотчас же поломойку свою подсунул... Чистых кровей баба, ить там дажить полы моют чистые бабы, белые бабы. Потешились мы...

— В пост? — снова вырвалось у Ефима.

— Знамо, в пост, как царь, так и я.

— Врешь!

— Вру, то дорого не беру.

— Никита, сказывай всем, чего же одному-то! — кричали нетерпеливые.

— А еще похабнее наш патриарх,— шептал Ефиму Никита.— Я стоял у его покоев, так он понавел туда разного цыганья, заставил всех раздеться, а потом ходил средь голых баб и за сиськи дергал. Другое-то уже не могет, так хоть так поигрался.

— Врешь!

— Вру, тогда смотри, — Никита расстегнул мундир, выхватил нательный крест и смачно его поцеловал.

— Вот якри тя в нос, что деется.

— Везде одна шайка-лейка. А вы тут за миражу людей в костер.

— Не верю!

— Отсохни у меня язык, ежли что.

Ефим скатился с паперти, начал что-то шептать друзьям. И пошло. Мужики ругались, другие хохотали, бабы визжали. А когда сказанное Никитой дошло до последних, то выходило, что царь сам голяком по Питеру бегал, по иконам стрелял, баб черных к себе водил, даже срам с бабами в церкви творил. И те, кто стоял стенка на стенку, начали смешиваться, переговариваться.

— Анафема! — снова пьяно завопил дьяк.

— Цыц, паскуда, дай послухать доброго человека. И царица у солдат спала. Эко повезло Никите, саму царицу тискал. А ить сказывали, что после одной ночи с солдатом она приказывала убить солдата. Глянуть бы на нее одним глазом, там можно и помирать.

— Дурак, то Катька убивала солдат, а энта добрее.

— Цари тожить люди, а у цариц все такое же, как у наших баб. Однако приятно...

— Царица рази баба?

— А кто же? Такая же баба, однако своя привышнее.

В толпе смешки, нервное напряжение спадало. Пермяки народ отходчивый, долго зла не помнят. Даже после драки могут легко помириться.

Урядник понял, что дело повернулось не в его пользу, решил вмешаться, расталкивая людей, закричал:

— Анафема! Зубин, разводи костер! Колдуна в огонь!

А навстречу Никита. Остановились друг против друга, Никита усмехнулся и сказал:

— Ваше благородие, вы чего полошите народ? Это дело церковное, а не гражданское. И другое: как вы стоите перед георгиевским кавалером? Устав забыли? Молчать! Мне сам царь-государь первым честь отдавал, пошто же ты не делаешь того же? Во фрунт!

Урядник опешил, откачнулся назад. Неумело вскинул руку к козырьку фуражки, левую положил на саблю, расправил грудь, правда впалую, и пошел мимо Никиты строевым шагом, люди расступились.

— Ножку!! Ножку тяни! Брюхо подбери! Грудь держи колесом!

Сельчане и рты раскрыли, глаза навыкат. Отдать честь мужику, такого еще на их веку не было. Тишина, строевой шаг урядника — и враз хохот, улюлюканье, победные крики, свист мальчишек. Урядник сбился с ноги, затрусил домой. Оглянулся, погрозил кулаком толпе, юркнул в калитку.

Зубин и Мякинин не стали ждать развязки, мышатами сиганули за угол церкви, убежали. Буря пронеслась. Никита отвел бурю. Шагнул к брату, обнялись, по-мужицки расцеловались. Никита спросил:

— Скажи по чести, сожгли бы аль только попугали?

— Сожгли бы,— выдохнул Феодосий.— Сколько бы ни махались поленьями, а нас бы скрутили. А нет, то кто-то бы почил в бозе.

— Свиделись. Веди в дом, братуха. Соскучился по дому — спасу нет.

Обрел дар речи и Митяй, прокричал:

— Дурни, кого хотели спалить? Митяя? А вот вам,— показал кукиш толпе.

Сельчане облегченно захохотали. И верно, дурни — Митяя могли бы сжечь под запарку.

За Феодосием пошли друзья. Ефим хотел было увернуться, но Марфа схватила его, как котенка, за шиворот и повела на подворье Силовых. Вошли во двор. Марфа подвела Ефима к Феодосию, рыкнула:

— Пади в ноги! В ноги, пес бузой! Слезно проси прощения за облыжность и недоумие.

— Да уж каюсь, но ить Феодосий... Он отрекся от бога!

— Молчи! Веру у тебя в бога никто не отнял, но за-ради нее друга в огонь, можно и самому там очутиться! — гремела Марфа.— Сжег бы наших, то и тебе бы не жить.

— То так, от бога можно отречься, но вслух об этом говорить нельзя, знай это, брат. Почти каждый солдат ненавидит царя, но об этом тоже молчит. Даже близкому другу не говорит.

— Отпусти ты его, Марфа, оба мы с ним хороши,— устало проговорил Феодосий.— Садись, Ефим, прощен, чего же тебе еще надо! Садись же!

— Да уж сяду, но вы простите меня, бога ради! Все это от лукавого.

Сели на бревна. Никита заговорил:

— Прошел я много пешки, много видел, не сладка ваша жизнь, но и солдатская не лучше. Врал я Ефиму, что царю брат и сват. Дружками у нас были: мордобой, шпицрутены. Но знал, что таким наговором на царя можно остановить народ от драки. Но что бы ни было — солдат с солдатом редко дерется. До драк ли, когда день и ночь на взводе. А потом войны, а потом раны на теле, в душе. И вам не драться надо, а дружить, чтобы легче было беды от себя отводить. Где Аксинья? — вдруг спросил Никита.

— Умерла. Три сына и дочь после себя оставила. Трефила знал ли? Богач. Он-то и хотел нас сжечь, — ответил Феодосий.

— С чего же он разбогател?

— С разбоя, купцов с Фомой Мякининым грабили на Казанском тракте. Едва от каторги открутились. Деньги награбленные спасли. Потом, когда был картофельный бунт, они с башкирцами грабили шадринцев. Тоже прибавка к богатству. Солдаты тоже усмиряли.

— Был и я на усмирении. Жуткое дело. Когда воевал перса, турка, там все было ясно — это мой враг, он хочет убить меня. А мужик разве мне враг? В первые годы службы был на усмирении декабристов. Это офицеры. Хорошие люди. Хотели сковырнуть царя, дать послабление солдату и мужику, но не вышло. Один проморгал, носом прохлюпал, другой струсил. Нас не позвали. Мужиков не кликнули. А тут нас под присягу, и делу конец. Присяга не баба — ей не изменишь, а изменил, то голову на плаху аль прогонят через палки, все одно смерть. От палок нашего брата погинуло тыщи, кто выживал, тот умом трекался. Что говорить, в России сладко живется тем, кто правит.

— Как сам жить будешь?

— Дали пенсию. Женюсь. Земли прикуплю и буду жить тихонько, доживать век.

— Ну, други, по домам ходите, кормить будем служивого, хоть репой, да накормим,— отправил домой друзей Феодосий. Нехотя разошлись.

После ужина Феодосий рассказал о своей мечте. Никита пристально посмотрел на брата, пожал плечами, ответил:

— Не след о таком думать. Бывал ведь я и в Сибири. Каторжных провожал. Холоднючая страна, дикая страна. Но ежли честно, то воли там больше. Народ не так забит. Но как же свою землю-то бросить? Здесь могилы наших отцов, то да се.

— А ежли бы тебя убили на войне, то рази бы знали мы, где твоя могила?

— Нет, не знали бы. Но не верю я в то Беловодье. Нет его. Ежли бы было оно, то люд бы знал.

— Я тоже мало верю. Ежли его нет, то можно и свое поставить.

— Не поставить; чтобы было то Беловодье, должна быть армия, генералы, да мало ли еще что. Враг, он нигде не дремлет, чуть что, так и норовит чужой земли кусок прихватить.

— А рази вы не прихватывали чужие куски?

— Не без того. Всяк государь радеет о своих палестинах. Да и хватит об этом, пустой разговор, лучше кажи мне свое семейство.

— Управятся с делом, и покажу.

Дети Феодосия понравились солдату. Особенно по душе пришелся Андрей. А когда узнал, что он дружен с Варей, дочкой Аксиньи, то просиял, при случае просил Андрея показать ему.

Вечером снова повели разговор про Сибирь. Андрей о Сибири тоже не раз думал. Понимал, что Зубин не отдаст Варю за него. Только Сибирь может их соединить. Варю спрашивал, побежит ли она с ним в Сибирь.

— Побегу. Куда хошь побегу, только скажи когда. Гриша нам бежать поможет. Он один любит и жалеет меня. Боится, что отец просватает меня за Ларьку. Самого ведь отец женил на нелюбимой. Страховата. Зла. Признался мне, мол, не лежит душа к жене. Даже притронуться гадко, будто к жабе холоднючей! Брр! — зябко повела плечами Варя.

— Отец зовет своих в Сибирь.

— Дай-то бог, да побыстрее бы гоношились.

Шепот в ночи. Шепот в травах...

Ночи, ночи, плачете вы звездами, катитесь бесконечной чередой над землей, несете с собой волны темени. Зачем вы рождены? Сказывал Андрею один бродяга, что ночи рождены для продолжения рода человеческого, для роздыха земного. Ночами милуются, ночами любятся.

Ночи, ночи, кутаете вы травы туманами, умываете землю росами, звените луной, прячете под своим пологом тайны, а звезды что-то хотят сказать. А что?..

Травы, травы, ковер земной. Вы чуду подобны. Вы заменяете постель влюбленным, прячете их в своей густоте. Вы, как и все живущее на земле, спешите пустить буйные всходы, зацвесть, заполнив землю пьянящим дурманом, дать семя и увясть. Пролетело лето, а кто заметил? Пожухли травы, поседели, а кто приметил? Все скоротечно, все не вечно. Но вечна земля, вечна жизнь на земле, вечны люди.

Млеет ночь от шепота трав. Душно. Стонет ночь. Шепчут травы извечную сказку о радостях земных. Только полынь-трава горькая не любит радостей, радостных сказов. Так пусть простят ей люди, ведь она растет там, где прошло горе, умерла ли деревня, сгорел ли дом, бросил ли поле хозяин. Полынь горе людское в себя впитывает, оттого она и горькая, оттого она и молчаливая.

Есть у осиновцев, может быть еще у кого есть, свой дуб-патриарх, дуб-венчалец, дуб-клятвенец. Стоит он на околице. Никто трав под ним не косит, желуди не собирает. Священный дуб. Пусть это опасное язычество. Оно давно забыто, но под этим дубом будто бы пировал Ермак с разбойной ватагой. Здесь, а это уже точно, дал клятву мужицкий царь, что будет служить верой и правдой народу. Под этим дубом клялись в верности Ефим Жданов, Иван Воров, Феодосий Силов, клялись друг другу, клялись своим будущим женам. Кто порушит клятву — того ждут тысячи бед и несчастий, а их и без того с избытком... Хуже того: кто нарушит клятву, тот не умрет своей смертью. А Ефим Жданов уже предал Силова, Ворова. Не случилась бы вскорости с ним беда...

Бьется подраненной уточкой в ознобе Варя. Звенит сучьями дуб. Опала от засухи с него листва. Душат Варю слезы, не поймет, какие они, то ли от радости, то ли от печали родились. Вчера была непорочной, а сегодня... Дуб-клятвенец повенчал. Страшно подумать. А если оставит ее Андрей, как оставил Софку? Нет, не оставит. Теперь можно сказать отцу и Ларьке, что повенчалась под дубом с Андреем. Должны отступиться. И все же не венчанные. Жутковато. Кто в этом виноват? Оба чуть виноваты, ночь виновата, травы виноваты.

Стучит, стучит тревожное сердце. А в груди непонятная, совсем неизведанная нежность к Андрею. Не такая, какая была минутку назад, другая, материнская. Грустно и радостно — бабой стала. Теперь уж точно отвернется Ларион. Сам блудник,

сколько девок обманул, а жёнку хочет иметь непорочную. Дубвенчалец...

Несет Андрей на руках Варю, будто они вокруг аналоя идут, кружит под дубом, и спрашивает: «По любви ли венчалась?» — «По любви, Андрей, по любви, родной». — «Будешь ли любить вечно и без обмана?» — «Вечно и без обмана».

Небосвод — купол церковный, звезды — свечи. Несет Андрей Варю туда, где звезды дремлют, в травах путаются. Сила есть — донесет до края земли. До самого края. Молчит Варя, думает, что уже не запеть ей во весь голос, не засмеяться во всю силу. Теперь ей всегда будет казаться, что люди все знают о ней, об ее грехе, только в глаза не скажут. От всех надо будет таиться, но только не от ночи, не от луны-бродяги, не от звезд-плакальщиц.

Ночи, с вас началась жизнь, вами она и закончится.

Сомнения и страхи. Мятая трава под дубом. Стон застыл в его кроне. Там он и будет жить вечно, столько, сколько будут жить Варя и Андрей. Но рядом звенит в ушах и Софкин крик, долгий, зовущий. Как плохо!..

Ночи, ночи, осыпайте бисер звезд, заменяйте невенчанным то зерно, что сыплют на головы. У каждого своя судьба, свое начало жизни!..

Свои ночи и у Никиты Силова. Он, глуша боль в сердце, одиноким волком бродил по ограде, слушал голоса звезд, обонял запах полыни. В этой ночи он трогал тяжелыми руками мягкие волосы Вари, точно такие же, какие были у Аксиньи. Привел напоказ Андрей.

Днями не сидел без дела, брал в руки топор, рубил, тесал, правил: латал дыры в заборе, поправлял ворота, перестилал крышу. Работой тоску по утраченному гнал. Грустил. В то же время боялся за Андрея и Варю. Думал, как бы отвести от них беду?..

— Отдохнул бы после солдатчины-то, замаяли ить там, — жалела Никиту Меланья.

— На том свете хватит время для отдыха,— отмахивался Никита и снова работал.— Вот помогу вам, потом свое гнездо вить буду. Надо свить, должен свить.

9

Время, как стон, вырвалось из груди — и улетело. Давно ли горели стога, уже пришла пора убирать хлеба. Но какие? Колос от колоса на два лаптя. Да и колосья жидки, десять зерен не

наберется, тоже тощих. Не хлеба, а горе. Однако спешат жнецы в поле, молотят дорожную пыль лаптями, огрубевшими пятками. Лапти тоже денег стоят. Все на поля, ни одно зернышко не должно упасть на землю. Идут. А походка у всех безрадостная, не упругая. Разве так ходят люди при хорошем урожае, вприпрыжку бегут к хлебам. В глазах печаль. Она даже у детей. Они тоже не идут, а плетутся, тоже похожи на старичков. Им знакома цена хлеба, хлебной крошки. Им уже многое знакомо. Они и говорят приглушенно, будто уже в доме покойник. Серая пыль, земля, серая одежда, такие же думы. Смерть придет к детям, когда полетят первые снегири. Много будет смертей.

Не волнуются поля морем разливанным. Нет. Дрожат колосья жалкими былинками. Горе, горе неутешное. Тоска и страх неуемный. Будущее видит каждый, даже ребенок. Мужики уйдут в отход, бабы останутся дома. Им, бабам, придется возить на саночках сено. На этих же саночках отвозить гробики детей, а может быть, просто в рядне. Нет, здесь никто не поможет, никто не подаст куска хлеба. У каждого своя жизнь, свои беды. Потом, только потом узнает отец, сколько зерен выпало из его колоса. Сглотнет тугой ком, что застрянет в горле, смахнет сухие слезы, застынет серым кречетом над могильными крестами. А если дети и баба умрут, то бросит котомку за плечи и пойдет бродить по земле, толочь пыль дальних дорог разбитыми лаптями. Одним бродягой станет на земле больше. А уж с такого подати не возьмешь, можно только на каторгу упрятать. Но и там есть пути-дороги, которые снова вернут к жизни.

Первый и робкий хруст по ржаному колосу. Пока наберет жнец горсть хлеба, солнце уже сделает полшага по небу. Боже, помоги им! Ну, боже!..

Андрей не пошел на жатву, чего там делать, бабы с отцом управятся. Надо сруб в колодце заменить. Сгнил. Одному Никите несподручно. Меланья тоже хлопотала дома, готовила жнецам скудный обед. Потом надо было за Чернушкой присмотреть, похоже, на днях отелится. Будет молоко, будет махонькая радость.

Никита обтесывал бревна, Андрей рубил сруб. Пора все уметь, мужиком стал. А Никита отвык от топора, неладно у него получается. Сердится на свою неумелость.

— Ничего, дядь Никита, привыкнете.

— Знамо, привыкну. Ить привык только людей убивать. Счас сам себе противен. Но присяга, служба, куда денешься...

Над Камой полыхал закат. Большое красное солнце медленно закатывалось за угорья. Жнецы, усталые, потянулись домой. Неспешный гомон, приглушенный говор...

Во двор Силовых вошел урядник. Поманил пальцем Меланью, что бегала по двору, то за дровами, то в погреб за репой. Меланья, заискивающе улыбаясь, подошла к уряднику.

— Веди сюда корову, указ губернатора пришел, скот за недоимку забирать. На ярмарку сгоним.

Меланья не сразу поняла, о чем говорил урядник, глуповато улыбнулась, а когда урядник повторил, что забирает корову, она всплеснула руками, подалась назад, заголосила:

— Господи! Ваше благородие, дэк ить она у нас последняя, одна надея на Чернушку, скоро телиться будет. Повремените, сыны в отходе, вернутся, уплатим недоимку-то.

Голопузая малышня высыпала на крыльцо и тоже заголосила вместе с бабушкой.

— Посмотри на них, голы, голодны, ить за зиму все перемрут! Вона, синими стали от голодухи. Их пожалей.

— У вас дети, а у меня щенята? Нет, Силова, вам я не прощу. Выводи корову! Ну!

— Оставь Чернушку, буду денно и нощно молиться за ваше здравие,— раскинула руки, чтобы не пустить урядника к сараю.

— Прочь с дороги! — сильно толкнул бабу в грудь, она упала.

Заверещали дети, закричал Андрей, Никита, отбросив топор, метнулся к уряднику.

— Пошто бабу бьешь, пошто не внемлешь беде чужой?! — загремел Никита.

— Уйди с дороги! Не мешай службу справлять! Георгиевский кавалер, я те припомню ту встречу! Отойди!— толкнул Никиту в плечо.

Потемнело в глазах у бывшего солдата, и оттого, что его толкнули, и оттого, что люди давятся нуждой, отвел руку и со всего плеча грохнул урядника под скулу. При этом выдохнул, выкрикнул: «Иэх!» — будто дрова колол. Удар испытанный, удар смертельный. Но не думал в тот миг Никита, что будет и как будет.

Урядник грохнулся на спину, брыкнул ногами и тут же испустил дух. Никита пожал плечами, будто чему-то удивился, сказал:

— А ить он совсем хлипок. Слабее турка будет. Из них не каждого за один раз убивал. Ужли преставился?

А за оградой заполошный крик:

— Силовы убили урядника, Фролыча порешили!

— Никита, убегай! Пропали мы! Убегай, Никита! — закричала Меланья.

— Дядь Никита, беги! — вторил ей Андрей.

— Пошто бежать-то? Сумел согрешить — сумей и покаяться.

— Хватай колья,— слышался голос Зубина,— бей супротивников! Спытаем, так ли уж силен георгиевский кавалер, так ли смел!

На сторону Зубина встали его дружки и те, кто был у него в долгах, как барин в шелках, кто подпевал богатею, заглядывал ему в рот. Сбегались жнецы. Рев, а издали гул, будто надвигалась штормовая волна.

— Убегай, дядя Никита,— теребил рукав полюбившегося дяди Андрей.— Убегай! Зубины убьют тебя!

Никита поднял с земли кол, примерился, сказал:

— Турки не убили, персы не убили, а уж эти не убьют. Жидки. А потом, где ты видел, чтобы русский солдат убегал? А? Племяш? — Покрутил кол, отбросил в сторону, легок, не по руке. Вывернул сырой сосновый кол, пошел к воротам. А там уже трещали заборы, люди Зубина вооружались.— Тиха, братцы! — прокричал Никита.— Урядника убил я ненароком. Чуток тронул, а он тут же скапустился. Не затевайте драки. Ты, Зубин, не подбивай людей, бед и без того хватает. Я убил, я и буду один в ответе.

— А, струсил! Трусит георгиевский кавалер! — заорал Зубин. Двинулся на Никиту, замахнулся колом, но Никита легко отбил удар. Вышиб кол из рук Зубина. Солдат, дело знакомое.

Загудел тревожно колокол, полыхнул по сердцам людей. Зубинцы начали наседать на Никиту, он спокойно отбивался. Сбоку крик Феодосия:

— Наших бьют! Навались, мужики, бей гужеедов! Бей шкурников!

И началась коловерть. Трещали колья, хрустели кости, смачно прилипали кулаки к окровавленным носам. Драка раскручивалась.

Над Камой догорал закат. Чуть посвежело. Далеко, за угорьями, за латками леса, может быть у Уральского хребта, погрохатывал гром, гроза тянулась за солнцем. На Каме прогудел пароход. Жизнь, обычная жизнь перед засыпающей землей.

А здесь шел бой, не просто драка, а бой, уже стонали раненые, хрипели умирающие. Бой не кулачный, бой смертельный. Мякинина взяли в кольцо бедняки, сейчас раскрошат кольями голову. Закричал:

— Ларион, убивают, выручай!

Мякинины дрались на стороне Зубина. Дружки, за кого же больше драться? Ларион, обладая звериной силой, пробивался

к отцу. И покажись ему, что Трефил Зубин замахнулся на отца, убьет. Опередил, со всей силы опустил кол на шею Зубина, хрустнули кости, мотнулась голова, Зубин откатился к забору. Дернулся и затих.

— Трефила убили!

Хрипы. Стоны. Крики.

— Трефил отошел! Тикайте, братцы! Бегите!

И жуткий ком распался. Зубинцы дружно бежали. Остались среди победителей Фома и Ларион Мякинины. Остались, сами не ведая почему. Кровь убитого не отпускала, как позже скажет Фома.

— Бей и этих! — закричали бедняки.

— Не трожь, они Зубина ухайдакали. Молодцы! Одним разбойником стало меньше. Ну, Фома Сергеич, на чьей ты будешь стороне?

Молчал Фома. Окровавленный, и в своей и чужой крови, стоял над Зубиным.

— Запутались, дружки, смешали левую руку с правой рукой. Каторги кое-кому не миновать. За урядника мы в ответе, за Зубина вы, Фома Сергеич, а за убитых бедняков отвечать некому,— тихо говорил Феодосий.

Закат потух, начали наползать сумерки. Тихие и осторожные.

И эту тишину разорвал звонкий голос Харитиньи:

— Бабы! Пошли рушить дом урядника! Там все наши долговые записи. За мной, бабы! Мужики повоевали, а чем мы хуже их!

Бабам тоже захотелось отвести душу, на ком-то сорвать зло.

И двинулась бабья рать в сторону волостной управы. Побежала. Подолы широких сарафанов в руках, в глазах решимость. Бежали бабы, несла их невылитая ревность к Любке-урядницe. Редкий мужик не побывал в ее постели, мягкой, чистой. Любка всех привечала, даже Митяй побывал там,— правда, Марфа об этом не узнала. Узнай, то давно бы не жить Любке. С Марфой не шути.

Бегут бабы, стонут и ревут от ревности и злобы. Страшись, Любка! Падай на коня и убегай в уезд, под штыки инвалидной команды. В ревности баба — зверь!

Мужики смотрят вслед бабам, еще не отошли от драки, сняв картузы, застыли над мертвыми, не останавливают баб.

— Вперед, бабы! Бей! Круши! Пожгем долговые бумаги, Любку за космы оттаскаем!

Бабы дикой оравой ворвались во двор урядника. Все здесь чисто, дорожки песком посыпаны. Живут, как баре.

Любка уже знала о смерти супруга, стояла на крыльце с ружьем в руках. Даже в сумерках видно, как она красива: коса висит толстой змеей до пояса, не носит, блудница, шамшуры, не прячет волос от мужских глаз, белеет чистое лицо, кажется, что глаза ее горят, в них полощется гнев, дрожат ноздри тонкого носа, трепещут, а сочные чувственные губы изрыгнули страшную брань:

— Назад, паскудины! Стойте, ополоски! Стрелять буду! Пошли вон отсюда, вонь мужицкая! — Вскинула двустволку и выстрелила дробью, из обоих стволов, в лица озверевших баб.

— Убила-а-а-а-а-а! Мама-а-а-а-а!

Кто-то из баб упал. Бабы бросились к Любке, сдернули ее с высокого крыльца, заревели:

— Бей суку! Бей бешеную кобылищу! Она мово Степана не раз привечала.

— Мово парня совсем заездила! Отбила жениха! Бей!

Любку мяли, топтали, таскали за косы. Любка кусалась, визжала, брыкалась. Любка хотела жить! Но бабы не хотят этого понять. Где им понять, усталым и забитым. Любка всегда в неге, в сытности. Но, видно, отжила свое Любка. Отлюбила. Баба в гневе — злее дьявола.

— В людей стрелять! Бейте гадину!

Но уже бить некого было: Любка, разбросав руки, лежала на песке. С нее сорвали сарафан. Красивое у Любки тело, холеное, сбитое тело. Не урядницкой бы ей бабой быть, а барской. Хотя Любка деревенская девка. Прибрал за долги у соседа урядник. Скоро забыла горечь полыни.

— Несите кипяток, шпарить будем!

— Грешно изгаляться над усопшей,— остановила баб Меланья.

— Грешно, а тебе приходилось всю ночь кусать угол подушки аль от злости жевать гнилую солому? Нет. Потому как твой Феодосий святой человек, а наши все кобели. И не смей перечить, жена да убоится мужа своего. Шпарить, пусть покорчится.

— Не дам. Уже отходит, без молитвы и покаяния,— сняла с себя передник и закрыла умирающую Любку.— А вот бумаги ищите, в них наше горе,— приказала Меланья.

— Чего их искать, жги дом, все сгорит.

Кто-то вбежал в дом, выгреб из загнетки угли, другие вытолкали детей, и скоро вспыхнул дом, светло стало. Длинные языки пламени взметнулись в небо, может быть дошли и до звезд.

Мужики сносили убитых к церкви, разносили раненых по домам. Пять человек убили.

— Теперь жди казаков, солдат. Ну, убил я урядника по оплошке, так зачем же было драку-то затевать? — сокрушался солдат.

— Не мы зачали, Зубин зачал.

— Пороть будут вас, а не Зубина. Правда всегда останется на их стороне...

Любка умерла. Кто-то из баб даже пожалел:

— Красивуща, язви ее. Зазря убили.

— А Параньке дробью глаз выбила, тоже зазря. Зуб за зуб, око за око. Праведно убили, еще надыть Параську потрясти, тогда нашим кобелям некуда будет бегать, ежли еще Дуську уханькаем...

— Вдовиц не трогать. Это божьи жёнки! Не трогать, говорю! — повысила голос Меланья.

— Верно, красивуща, но скоро бы завяла на нашей работе,— согласилась и Харитинья. Теперь у нее соперницы по красоте не будет.

— Детей разведите по домам,— командовала Меланья.

— На кой черт нужны нам эти выблядки. Вырастут, на наши шеи сядут.

— Стешка, веди детей к нам. Наша вина, нам ее и переносить,— распоряжалась Меланья.

— Бросайте Любку в огонь, чтобыть от нее и косточек не осталось! Взяли!

— Не надо, крещеная ведь, по-христиански и схороним. Несите в сад, до утра там полежит, пока придет власть наша.

— Айда на сход! Там что-то гомонятся мужики.

Гулкое пламя освещало сходное место. Сход тоже ревел. Феодосий, весь в пламени, весь в кипении, орал:

— На Оханск! Поднимем бунт! Деревни пойдут с нами! Все сметем! Был бы огонек, а пламя будет.

Из соседних деревень, колотя лаптями по крутым бокам своих клячонок, скакали на помощь мужики, думали, случился пожар. А здесь? Здесь уже случился бунт, маленький, но уже бунт.

— Будя, не надо подымать бунта!

— Поднимем, однова помирать.

— Перебьют нас!

— Больше хлеба другим достанется!

— В Оханске ивалидная команда, арестантская охрана, а там казаки приспеют и поколотят почем зря.

— И тех свалим, нас много, с нами вся Расея! — орал Феодосий.— Гореть так гореть! Фома, гони сюда своих коней, сядем все на конь, и сам черт не страшен будет.

— Никиту в голову, он солдат, герой, знает все артикулы, команды.

— Никиту в голову! Феодосия подручным! — орали со всех сторон.

Зазвенели бунтарские колокола во всех деревнях, заколготились мужики, скачут на подмогу осиновцам.

— Веди нас, Никита Тимофеевич, припомним кое-кому Пугачева. Веди!

— Спасибо за честь,— поклонился сходу Никита.— Но дозвольте слово молвить. Значит, так, охолоньте! Затеваете вы не дело! Подрались ладно, и хватит. Мне че, я один как перст указующий. Возьму свое ружье и в Сибирь. А у вас семьи, подумайте, допрежь затевать бунт. Я сам усмирял бунты, не устоять вам супротив солдат аль казаков. Они обучены убивать, а вы землю пахать.

— Кончай глаголить, веди, веди, Никита!

— Ну что ж, перечить народу не буду, поведу.

— Дядя Никита, не надо! Воевать против царя — одно что воевать против бога!— закричал Андрей.

— Молчи, племяш, с меня началось, мне и кончать.

— Но ведь вас побьют?

— Побьют — это точно. Но пусть мужик перекипит, перебродит.

С конюшен Мякининых гнали коней, одни под седлами, другие без седел. Сам же Фома отказался ехать с бунтарями, живот схватило.

— Взять сына в заложники! — приказал Никита.— Ларька, иди ко мне! От меня ни на шаг! Понял ли?

— Понял. Мне и самому охота подраться,— усмехнулся Ларион.

— Веди, Никита, не медли, могут упредить оханцев.

— Тогда вооружайтесь, у кого есть ружье — несите ружье, нет — его топор заменит. Лавиной пойдем. Лавиной, только так можно смять врага.

«Эх, мужики, мужики! — грустно думал Никита.— Ну куда вас несет? И где вы остановитесь?..— Не помнит Никита, чтобы солдат отказался стрелять в мужика-бунтаря. Присяга. — Всех расколотят, скольких еще детей осиротят». Никита тронул рукой золотой нательный крест, подарок бунтаря-офицера, которого Никита с друзьями провожали в Сибирь, за душевность солдатскую и подарил. Никого не винил, что гонят в Сибирь. Только иногда говорил: «Дурни мы, позвать бы за собой мужика — не устоял бы Николай Романов...»

Никита был облит огнем пожарища. Дом урядника стоял на отшибе, пожар не мог переметнуться на другие дома, хмурил брови, будто пытался найти брод в этой сумятице, но его не было.

— Други, расходись и вооружайсь! У кого есть кони, все на конь! Расходись! — Наклонился к Феодосию, тихо сказал: — Братуха, будем биты; может, смогем остановить народ?

— Нет, пустое, и этот бунт, даже будем биты, все лишний вершок к воле — капля на голову неразумного царя, — ответил Феодосий, ушел выбирать коней для себя и командира-атамана.

Прискакала Марфа на пузатой кобылице. На плече дубина, как бревно. Митяй тоже хотел идти бунтовать, но Марфа его осадила:

— Сиди дома! За детьми досматривай, хозяйство блюди — може, не скоро вернусь, а може, совсем не вернусь. А потом, тебе могут на войне очки разбить, где другие возьмешь?

— Я их тесемками подвяжу — не спадут.

— Молчи! В лоскуты испорю!

Митяй остался дома.

— Дядь Никита, не ходите с ними. Они бунтуют от голода и нужды, а у вас пенсия, кресты. Все ведь сымут, пропадете,— говорил Андрей.

— Плохой ты советчик, Андрей. Мне в кустах сидеть не след, народ на росстанях бросить не дело. А потом, за урядника с меня так и так кресты и пенсию снимут. А ты пойдешь с нами или нет?

— Нет, бунт не божье дело.

— А Ефим-то Жданов идет. Он дрался на нашей стороне — знать, припекло?

— Это его дело.

— Ты, Андрюха, вставай-ка в голову парней, да проследите за деревней, чтобы зубинцы нас не подожгли, — тронул Ефим Андрея за плечо.— Собирай погодков, вас пока втравливать в бунт не будем.

— Но ить... дядя Ефим, дело-то не божье?

— Все, что от люда да от души, то божье,— посуровел Ефим Жданов.

Иван Воров, который уже держал мякининского жеребца под уздцы, потеребил свою бороду-лохматень, усмехнулся.

— Благословляю, ежли что, и на бой, держитесь!— перекрестил Жданов Андрея.

Ослушаться своего наставника Андрей не посмел, собрал парней и по совету Никиты расставил их по всей деревне. Часовым запретил спать.

Бунтари ушли на Оханск. Андрей и Степан Воров проверяли посты. Андрей думал: «Убит Варин отец, в смерти его виноваты Силовы, через Никиту началась драка. Отвернется теперь от меня Варя. А потом как ей в глаза смотреть?» В голове звон, дышалось тяжело, будто перед грозой или в подземелье демидовских штолен. Убежать бы в степь, на угорья, упасть бы на травы и все продумать. Но нет, Ефим приказал, его он не ослушается, учителя не ослушается, как не ослушается и солдата.

10

Никита со стороны смотрел на свою армию, отъехав чуть с дороги. Нет, это не отряд солдат, даже не отряд разбойников, а истинная мужицкая толпа, с ревом, гамом идет на Оханск. И рев этот слышен за десятки верст, а потом гудят бунтарские колокола, а кое-где горят и помещичьи усадьбы. Нет, этой толпой управлять невозможно. Никто не слушает и не исполняет приказов атамана, все рвутся вперед, чтобы душу отвести, на ком-то сорвать зло, обиды, пролить кровь врага. Валит валом, на конях и пешком, пермяцкая вольница. От каждой деревни свой атаман, а каждый атаман сам себе голова.

Никита пытался создать хотя бы головной отряд, который бы первым влетел на конях в Оханск, перебил бы солдат, а днем, может быть, удалось бы создать подобие воинской дисциплины. Разбить бунтарей на отряды, поставить деловых командиров. Но где там. Втянутый в неистовый водоворот, скакал с этой толпой на Оханск. Рты набок, изо ртов злые матюжины, рубашки надулись колоколами, души настежь. В бой!..

Рядом скачет, тоже на добром жеребце, Ларион. За поясом у него два пистолета, сбоку шестопер. Чисто разбойник. Ларион знает, что их ждет где-то перед Оханском засада. Отец тайком послал туда нарочного. Поэтому нехотя втягивается в эту пучину. Уже не отмежеваться. Позади скачет Феодосий, тоже на мякининском коне, с боков Иван Воров, Ефим Жданов и Марфа. Страх сжимает сердце. Вот-вот рявкнут ружья из засады, скосят первые ряды, как коса траву. А если еще есть у оханцев пушки, то и вовсе беда...

Небо чуть посерело. На глазах ширился окоем рассвета. Бунтари вылетели на утяжистое угорье, здесь решили подождать пеших, потому что уже виден Оханск, уездный город. Он широко стекал с угорья к берегу Камы. Брать город всей оравой.

А навстречу залп, другой, визг пуль, стон людей, ржание испуганных коней. Но не побежали бунтари, как думал Никита. Пешие уже подтянулись и вперед.

— Рааааaa! — першит в горле от заполошного крика. Качаются притушенные рассветом звезды, еще сильнее качается на небесных волнах луна.

Из засады вылетели казаки, башкирцы, эти рубить умеют, но и бунтари тоже кое-что умеют, этому даже подивился Никита. Вон Марфа мечется на своей кобылице среди казаков, бросает на их головы свою страшенную дубину, падают кони, люди. Марфа рвется вперед. Рядом Феодосий, тоже с дубиной, так сподручнее, она дальше достанет, чем сабелька. Иван Воров, тот с кузнечным молотом на длинном черенке, тоже крушит и людей и коней. И другие бунтари тоже дерутся насмерть.

Однако не устоять мужикам перед обученными к бою солдатами, казаками. Солдаты со штыками наперевес, под барабанный бой, идут молча в наступление, отжимают к лесу Никитову «пехоту». Теснят казаки и башкирцы «конницу». Башкирцы ловко накидывают петли на шеи бунтарей, сдергивают их с лошадей. Рубят бунтарские головы казаки. Толпа дрогнула, подалась назад, затем круто повернула и лавиной бросилась к спасительному лесу. Разгром, полный разгром.

Бунт, будто камень-валун, скатился с крутизны и разбился на мелкое крошево. Нет больше бунта, а остались перепуганные и разбитые на мелкие отрядики бунтари. На один бой запала не хватило. Хотя бунтарей в десять раз было больше, чем солдат и конников. Пермский губернатор оказался дальновидным, послал по уездам отряды казаков, башкирцев. В деревнях гудят еще колокола, горят усадьбы. Но уже большого бунта не будет, главное ядро бунтовщиков разбито.

Никита с друзьями отбиваются от наседающих казаков. Тоже отходят к лесу. Да и казаки не очень рьяно наседают на них. Зачем напрасно подставлять головы под дубину этой бабы-богатырши, под молот этого косматого мужика. Все равно не уйдут дальше своей деревни. Всех сыщут, всех словят. Лариона среди отступающих нет. Он в числе первых бежал с поля боя. Он уже дома, спрятал свое оружие, забрался на печь и дрожит от страха, зубы почакивают. Лес вобрал в себя крохотный отрядик, казаки не преследовали. А зря! Знай бы они, что это уходили заглавные бунтари,— не отпустили бы.

Казаки устремились за пешей толпой, чтобы руки поразмять, чтобы кровью людской насытиться.

Мужики ручейками растекались по лесам и болотам, прятались в чахлых травах, в безлистых лесах. А потом, крадучись,

бросая коней и дубины, пробирались домой. Кони придут, дубины теперь без надобности.

В деревнях грабеж. В деревнях небывалое насилие.

Прямо от солнца шли черные тучи. Оно, солнце, только что взошло и тут же скрылось за тучами. Наверное, чтобы не видеть на полях, дорогах изуродованные трупы людей.

Отряд башкирцев ворвался в Осиновку. Они, распаленные боем, врывались в дома, хватали что под руку попало, волокли за собой девушек, намотав косы на руку. Но на них бабы с ухватами, вилами, с топорами и косами мужики, кто успел вернуться первым, отбивают своих чад, не отдают их на поругание инородцам. Гудит и стонет колокол. Мякининские девки уже под башкирцами. А, черт, еще не хватало Фоме иметь внука узкоглазого! Но он не бросается на защиту своих дочерей. Ляд с ними, давно спорченные... Мается животом, штаны не успевает снимать.

Туча, погрохатывая, накатывалась, наползала. Солнца не видно.

Уральские казаки тоже не отстают от башкирцев, тоже грабят русских людей-бунтарей. И грабить вроде нечего. Но и не только бунтарей, они ладно пощипали братьев Зубиных, Фому Мякинина. Но скоро подъехало уездное начальство, подошли арестантская и инвалидная роты, и грабеж прекратился, насилие пресекли. Деревня окружена. Идут повальные аресты...

Феодосий Силов успел проскочить окружение, ждали прихода солдат. Андрей спросил:

— Где бросили Никиту?

— Порешили оставить в лесу, ему нельзя показываться на глаза. Сразу петля. Он просил нас, чтобы мы всю вину — и за бунт, и за убийство урядника, Зубина, наших бедняков — валили на него. Мы согласились. А он потом уйдет в Сибирь, а Сибирь велика, ищи-свищи.

Затем все началось по закону, уже без грабежей и насилий, по царскому закону: следователи, прокуроры, адвокаты, от которых отказались бунтари, лишние деньги платить, судебная коллегия, выездная, конечно. И все в один голос: «Никита затеял драку, Никита убил урядника, Никита подбил народ на бунт, Никита повел их на Оханск, чтобы все сжечь и разграбить, царскую власть порушить...»

— Но где ваш Никита?

— Никита в бегах. Никитин след уж простыл.

— Так почему же вы его сразу не арестовали, когда он убил урядника, повел вас на драку, потом бунт?

— Арестуй, ить у него ружо, да и герой он. Неможно Никиту заарестовать было. Грозился сжечь нас, ежли мы пойдем супротив него. О, Никита страшный человек, мы досе его боимся.

То ли тупоголов русский мужик, то ли настолько хитрый, что сто прокураторов не разберутся — кто же главный виновник бунта?

Хотели Зубины поставить во главе бунта Феодосия, всю вину на него свалить, отомстить за смерть отца, но сельчане сказали: «Ежли покажете на Феодосия — спалим вас вместе с домом. Показывайте на Никиту!» Братья Зубины струсили и тоже оговаривали Никиту как главного виновника бунта.

11

— «Именем его Императорского Величества, государя Всероссийского, короля Польского, великого князя Финляндского, Курляндского и прочая, прочая, прочая,— нараспев читал приговор судья,— Силова Феодосия, сына Тимофеева, сослать на вечное поселение в Сибирь, на правом плече поставить клеймо «СП», кое означает, что сей муж ссыльнопоселенец, ежели убежит, дабы опознан был. Также наказать Силова Феодосия, сына Тимофеева, розгами в приличествующих размерах — сто штук...»

Ложился сын Тимофеев на широкую лавку, крепкими ремнями вязали его, и началась порка. Со свистом впивались в тело просоленные розги, темные полосы вздувались на спине, а скоро брызнула кровь, сочная мужицкая кровь, неоплатная кровь. Феодосий тихо покряхтывал Нет, он не закричит, не уронит своей чести перед народом и палачами. Да и пусть народ видит, пусть слышит, что не так просто выбить из Феодосия Силова бунтарский дух. А раз пощады он не запросит, значит, не покорился врагам.

В глазах темно, в памяти провалы. Но спокойно поднялся с лавки Феодосий, застегнул штаны, надел рубашку, поклонился народу, мол, прости, ежели что было не так. Чуть покачиваясь, пошел домой, чтобы отлежаться на печи, полечить спину лопухами. Заживут раны, но не зажить ране в душе.

Подошла к лавке Марфа Плетенева, поклонилась народу и сказала:

— Не стыдитесь наготы моей, бабоньки и мужики, сей срам падет на головы тех, кто изгаляется над нами. Не по своему

желанию ложусь на лавку, а по приговору царскому, ему ведомо, сколько Марфе дать розог. Приму, чего уж там,— подбадривающе усмехнулась.

И засвистели розги, во всю силу старались экзекуторы-казаки. Они помнят эту бабу с дубиной, выкладывались. Уставал один, его тут заменял другой. Расписывали широкий зад и спину затейливыми узорами. Спина стала похожа на кусок окровавленного мяса. Но не закричала Марфа, даже не застонала, стиснув зубы, кусая губы до крови, ни звука не проронила. Упала сотая розга, можно вставать. Прощена, очищена от духа бунтарского. Ха-ха! Не очищена, а еще больше он укрепился в ней. Случись еще бой, то потяжелее возьмет дубину Марфа.

Секут осиновцев. Ждут их крика, стона. Пустое. Говорят же в народе, что дюжливей осиновцев нет. Только Фома Мякинин визжал и кричал. Может быть, не столько от боли, сколько оттого, что отсудили все его добро Зубиным: кони, коровы, пашни, покосы и даже дом — все зубинское. Теперь Фома оказался беднее Феодосия Силова. Но не верят мужики в бедность Фомы, есть у него золото, что не нашли жандармы. Есть. Не таков Фома, чтобы все отдать! Можно бы все стерпеть, но ведь и Фому в Сибирь!..

Присудили порку и Андрею Силову. Он наивно спросил:

— А меня-то за ча? Ить я не бунтовал?

— Не бунтовал, так еще забунтуешь. Пороть, чтобы другим не было повадно. Одного семя. Начинайте!

Андрея вызвался пороть Гурьян Зубин. Теперь он в доме Зубиных за старшего. Здоровенный пермячина, космат, глаза рачьи, руки, как лапы медведя, широкие, волосатые. Весь в отца. Сек Андрея и приговаривал:

— У меня ты заорешь! Запросишь пощады! За отца! За Варьку! Лапотник ты проклятый Иах! Иах! Иах!

Варю бил мелкий озноб, она кусала губы, закрывала глаза, чтобы не видеть кровавых полос на спине Андрея. Рванулась, но Григорий удержал ее за плечо, обмякла. Пусть секут, пусть! Он тоже виноват в убийстве отца! Хотя отец полез в драку первым и убил его Ларион. Все, все виноваты!

Варя оцепенела, перед глазами темные круги. Истошный крик заставил ее вздрогнуть: неужели Андрей закричал? Но нет, это кричала Софка. Она нырнула под руки казаков, бросилась к Андрею. Прикрыла его собой. Но Гурьян, распалясь, хлестал Софку, от его ударов рвался сарафан. Софка визжала, орала, но не оставила Андрея.

— Убрать бабу! — гаркнул пристав. — Порку продолжить! Нажимай!

— Гришка, иди сюда! И ты побей злодея! Посеки супротивника, чтобы неповадно было ему за Варькой бегать! Ну!

Но Григорий Зубин взял Варю за плечи и повел ее через толпу. Расступилась, благодарно смотрела вслед Григорию. Не согласился творить грязное дело. Знать, и Зубины не все сволочи и брандахлысты.

— А Софка хороша! Молодец Софка! За дружка под розги? Ну и ну!

— Знать, люб, а за лю́бого и под топор пойдешь. А он тожить хорош, сменял беднячку на богатейку. За деньгой погнался.

— А може, не за деньгой, може, любит? Это жить не все, ежли Софка любит Андрея, надыть, чтобыть ее Андрей любил. Путаное дело любовь-то,— переговаривались те, кто еще не был сечен, кто вообще ушел от порки и Сибири. Нельзя же всю деревню гнать в Сибирь, всю деревню считать бунтарями.

Секли и Ефима. Тоже не кричал, а творил молитвы. Телом слаб, зато душой силен.

Никите присудили смертную казнь через повешение. Нарушил присягу, поднял мужиков на бунт. Осталось поймать бунтовщика и привести приговор в исполнение. Но как поймать? Где ловить? Никиту прячет земля и небо. Никиту прячет народ. За поимку преступника назначили премию, 500 рублей ассигнациями.

Ивана Ворова, Ефима Жданова, Фому Мякинина, Марфу Плетеневу, как и Феодосия,— на вечное поселение с клеймами. Тридцать пять семей тоже на поселение, но без клейма.

Зубины не прочь бы изловить Никиту и получить большие деньги. Они даже знали, где он прячется. Но мужики их снова предупредили:

— За розги мы вам простили, все одно кому-то надо было сечь, но за Никиту!.. Скажите начальству, что он убег в Сибирь, пусть там ищут.

Конечно, струсили Зубины и пошли на попятную.

В деревне стоял взвод солдат. И ушел он только через две недели. Солдаты объели и разорили мужиков.

Ссыльнопереселенцы написали прошение губернатору, чтобы он разрешил им выехать в Сибирь с семьями, скотом и скарбом на «вольные хлеба», без надзора полиции. Губернатор согласился. Пусть себе едут, так казне легче, а уж коль сорвутся со своей земли да с семьями, то назад не возвратятся. Чем меньше будет в губернии сорвиголов, тем легче и спокойнее губернатору.

Однако не было единодушия среди мужиков. Больше всех стонал и плакался Фома Мякинин, сторонился товарищей, на Феодосия ворчал:

— Через Никиту все пошло. Ну увел бы коровенку урядник, че это, для нас впервой?

— Ну, ежели через Никиту, то ведь он тебя не звал драться,— усмехнулся Феодосий.— Никто не звал. Сам пошел.

— Бунтарить ты приказал. Куда денешься. И закрутили, втянули.

— А ты посыльного в Оханск направил, вот и побили нас. Скажи спасибо, что мы отходчивы, а то давно бы голову свернули. Да и всяк знал заранее, что будем биты, потому и не трогаем тебя. Внял ли? Тогда не гуни, былинка ты полевая. Ежли хочешь заробить на Никите, то шуруй в лес. Ты знаешь, где мы медведя брали, он там хоронится в нашей закопушке. Ну, иди же!

— Нет. Дважды не изменяют. Можно и голову потерять. Вчерась видел сон, будто сам хожу со своей головой под мышкой и прошу сельчан, чтобы бросили в ту голову деньгу. Нет.

— Тогда ладно. Мы тут порешили сбиваться в общину. Скот, лопотину, едому, тягло — в един котел. Будем гоношить для детей теплые возки, мастерить печурки, шить палатки — ежли не смогем встать на постой в деревне, будем спать в палатках. Печи обогреют. Решай. От смерти, как и от судьбы, не отмахнешься. Даже холсты, что уготовили на смертный час, тоже пустим в дело. Богу, поди, все одно, кто в какой лопотине предстанет перед его очьми. Ну, как ты? Присоединяешься?

— Похожу. Подумаю. Может, один пойду.

— Не неволим. Один так один.

Одна ночь сменяла другую. Спать бы надо, силы копить для дальнего перехода, но не спится. А зря. Кто осилит эту дорогу, что идет навстречу восходам, тому жить века.

В одну из темных ночей провожали Никиту. Пришли родные и друзья. Присели чинно на валежину, долго молчали. Огонь полошил тьму. С озер и стариц слышалось кряканье уток, гоготание гусей. Они тоже собрались в дальнюю дорогу, как и Никита. Эти пойдут к теплу, а Никита в холод и неизвестность. Пойдет по бесконечному Сибирскому тракту. Все общинами, а он в одиночку. Чуть горестно и сумно на душе. Но и он когда-то вольется в свою стаю. Все верят, что не будет Никита одиноким.

Одет Никита под нищего. Сума за плечами, в руках посох. Борода всклочена, волосы спутались под рваной шапкой — не узнать Никиту. И пойдет он топтать в ночи усталые звезды. Мерять землю ногами.

— Иди, братуха, с обережкой. Тянись до Даурии, есть такая страна, потом беги в Беловодское царство.

— Пустое. Далеко я не побегу. Соберу ватагу и буду подсыпать жару царю на хвост. Вспомнит он Никиту Силова. Вспомнит.

— В разбой пойдешь? Смотри, дело то неправедное, греховное,— пропел Ефим.— Бунт — дело праведное, ежли весь народ. Знать, от бога.

— То так. Сегодня ихняя взяла, когда-нибудь должна и наша взять. Бунт не кобыла — не повернешь, куда хочешь.

— Потому и не везет мужикам, что нет у них головы умной, увесистой, чтобы всех в един кулак собрать. Вспыхнули порохом, покипели смолой и в бега. Еще нет у вас за спиной верных друзей. Прежде чем нам было выступать, надо бы месяц-другой людей подготовить. А так не войско, а куча горлопанов. Царь всех нас, солдат, собрал в кулак и тычет тем кулаком куда надо и где надо. Добивает строптивых. А вы растопыренными пальцами тычете, потому вас и колотят. Голова, умная голова нужна впереди народа. А я неподходящ. Не та у меня голова. Артикулы знать — этого мало, чтобы командовать народом. Конечно, артикулы тоже нужны, для боя и обороны. Но...

Андрей привалился плечом к дяде, слушая его ровный голос.

— Вы тут уж все сделайте, чтобы Варька ушла с Андреем. Ну, прощай, племяш! Что бы ни случилось — не стой в стороне от народа. А твою хлипкость душевную жисть излечит. Розги помогут,— усмехнулся Никита.— Голова у тебя светлая, скоро понимаешь слово. Погоди вот...— Никита расстегнул зипун, снял золотой крест и повесил на шею Андрею.— Носи и помни, что это крест бунтаря. Пришел к вам служивым, ухожу бунтовщиком. Сам усмирял, теперича меня усмирили. Смертник.

Потянулись мозолистые руки, чтобы обнять залетного вожака, пожать крепкую руку. Не отказался ведь, повел, хотя знал конец этой песни.

— Уходи с богом, от чиста сердца ты все делал. Прощай! Хотели сделать большую бучу, а вышел махонький огонек. Прав ты — пастуха бы нам хорошего, а то тычемся мордами, как неразумные кутята.

Шагнул Никита в ночь и растаял, будто его и не было. Будто он привиделся, как сон. Но болят спины от розог, гноятся до сих пор. Значит, был Никита. Но укатился приблудной звездой невесть куда.

Мужики долго смотрели во тьму. Молчали. Да и о чем говорить, без того уже все сказано, а что еще не сказано, Сибирь подскажет. Холодная и безлюдная Сибирь...

Часть вторая. ССЫЛЬНЫЕ

1

Осень...

Случается еще теплая погода, но чаще бушует холодный ветер. Ветер сильный, рукастый, давит силушкой неуемной на грудь. Отдохнул лето за голубыми горами, отстоялся. Треплет мужицкие бороды, рвет армяки, холодными иглами пронизывает тело, летит, летит из Сибири, далекой и загадочной. Ветру что? Он крылатый, сегодня перекатил через Урал, завтра вернется назад. А вот пермяки уходят навеки, навсегда. Не видать им больше своей земли. Дорога назад заказана. Просторами Сибири закрыта. Разве когда-нибудь внуки или правнуки принесут поясной поклон родной деревне. Все может быть...

— М-дааа! Уходим вот,— протянул Феодосий.— Прощай, земля-матушка.— Обнял старика ветер гулевой, окатило солнце чистыми лучами. Не шелохнется старик, долгим взглядом смотрит на осеннюю безрадостность, будто хочет увидеть свое негаданное Беловодье, что родилось в мечте.

Печаль и радость рядом. Душа разбита надвое. Одна половинка успела уже прирасти в мечтах к неизвестному краю, вторая продолжает репейником цепляться за землю и старый дом. Землю-мачеху, землю-обидчицу, обильно ее смочили мужики пóтом и кровью. И болит душа, мечется, и нет ей покоя. Боится, что в том краю тигровом нет того мужицкого царства и не было, не найдется места для счастья. Не полюбит мужик ту землю, холодную и чужую. Не научится ласкать ее вот таким же теплым взглядом, как ласкает сейчас. Лелеять грубыми руками, как леет ее сейчас. Без любви к земле — нет мужика. Без мужика — нет земли. От этого снятся сны клопастые и нудливые. Примеряется пермяк во снах к новым землям, как цыган к косой кобыле, чтобы купить ее за полтину, а продать за пять рублей. Но все будет не так, много дороже придется платить мужику за ту кобылу. А вот за сколько продаст, то бабушка надвое гадала. И каждому хочется думать, что все будет хорошо, приветит их неведомая земля. Полюбится. Но здесь прошла их молодость, первая любовь, пора зрелости, и в ней, трудной, нашлись минуты для теплых воспоминаний.

А тут еще Митяй ворчит сбоку:

— На своей земле и вода была скуснее. Что будет там?

— Что будет, увидим, молчи!..

У Андрея все проще, молодость; хотя и у него тяжесть на душе, но он улыбается. Вчера видел Гришу и Варю. Варя дала зарок бежать с ним. Так просто не убежишь, договорились ехать к тетке в Кунгур, там она и будет ждать Андрея с обозом. Оттуда и побегут. Тетка, родная сестра Зубина, ненавидела своего брата. Обещала во всем помогать Варе. Гриша тоже на их стороне, пусть хоть Варька поживет счастливо. Сам-то он выгнал свою жёнку, теперь ему никто не указчик. Безродна, пять лет живут, а детей нет. Хотел бежать со всеми вместе, но раздумал: скоро делиться будут, не хочется своего надела упускать.

Улыбается Андрей. Лицо опушила первая бородка. Молодость — сестра дальних дорог. Совет переселенцев тоже решил во всем помогать Варе, портки, мол, сымем, но девку вырвем из рук Зубиных. Старики знают, что такое любовь, когда-то сами ее выстонали, недолюбив, разошлись в разные стороны, кому бедность помешала, кому солдатчина, а кому и богатство. У каждого своя причина.

Вчера Гриша отвез Варю к тетке. Хорошо Андрею. С ним Варя. Они разломят на две половинки черный хлеб, разделят пополам дорожную соль, судьбу дальних скитаний на свои плечи взвалят и пойдут в неведомое...

По одному, по двое сходились мужики, будто случайно завернули на пашни. Но ясно Феодосию, что это не простая прогулка, а прощание с землей. На лицах темень, брови сурово насуплены, дыхание неровное. То ли хотелось людям надышаться родным воздухом, то ли от волнения так тяжко дышат. Дома не сидится, тоска, метание. К отъезду все готово: ждали снега, санной дороги. Понимает Феодосий, что тяжко мужикам, ему тоже тяжко, но он — голова обоза, должен взбодрить людей, встряхнуть, чтобы у каждого хватило силы идти в дальнюю дорогу.

— Ну что сникли, мужики? Радоваться надо. Подать сняли, в рекрутчину не будут брать наших детей, дают чуток на пропитание, так что куда ни кинь, там и радость. А что было здесь? Изгал и розги. Оплевали нас и нашу землю, там будем сами себе хозяева. А ежли доберемся до Беловодья, то и вовсе заживем. Там тожить нашенская земля. Расейская. Солнце везде одно, подсветит нашей нужде. Это хорошо, что нас гонят, пермяк ленив умом, все ждет, когда его турнут под зад, а нет, так будет держаться за свой рваный треух до смерти. Теперича мы сами себе цари и бояре.

Лица потеплели. Правду говорит старик, чего уж держаться за свои гнилые дома, за землю чахлую и неурожайную. В Сибири земли свежие, молодые, родят будто бы по двести пудов с десятины, здесь же едва наскребалось тридцать.

Шаркают мужики лаптями по примороженной земле, пламенеют их бороды на шалом ветру.

— Вот только ради вольности и идем, так ни за что не пошел бы, — тянет Иван.

— Кто тебя просит, молчи уж, клейменый.

Притих Иван, уже не показывает свои представления; когда просят, вяло отмахивается рукой и отворачивается.

— Есть слух, будто царь готовит вольную мужикам.

— Чудак, пусть хоть сто вольных будет, но царь и помещики себя не обидят. Так и так их карман будет полон, а наш — пуст.

— Пока дадут вольную, мы уже сами будем вольными,— проговорил Ефим.— Царь ить не милостив к своим мужикам.

— Вот это да, Ефим. Ить ты за всю жисть первый раз сказал разумное слово. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Дали добрую порку — и заговорил, а ить порот был сто раз!

— Энта оказалась особой, — засмеялся Ефим. Повеселели мужики. Заживает спина, чешется.

— Сходят коросты, зарастет все, вша их заешь!

— Не ждите, мужики, послабления, равными мы можем быть с царем и помещиками только на погосте. А там, в том краю, мы можем зажить весьма хорошо.

— Не дадут нам пожить, найдут нас жандармы.

— Дотянется царская лапа и туда.

— Не дотянется, ежли бы я знал, что дотянется, рази бы я пошел туда. Там мы будем жить как у бога за пазухой. Сибирь велика, найдем место, где спрятаться.

— Детей растеряем по Сибири,— вздыхали мужики.

— Это да, жалко, а может, обойдется?

— Марфа боится, что Митяя потеряет.

— Митяю надо давно быть хозяином, а он под Марфой ходит.

— Хозяин я, вот сегодня же поколочу Марфу.

— Слабо!

— Поколочу.

— Ладно, посмотрим.

— И как я влип в это дело? — сокрушался Фома.

— Судьба, Фома, судьба! Нам хотел бока намять, а намяли тебе. От судьбы, как от комара, не отмахнуться.

— Чтобы тому Зубину в гробу перевернуться, чтоб его черти в аду смолой горячей обливали!

— Вместе грабили, а теперича враги. Чудно жисть устроена!

— Житуха штука крученая, как береза на ветру, не поймешь, куда и завернет. На дрова не расколешь, на сто рядов все перевилось. Ничего, не печалься, вместях будем стынуть на ветру, знобиться в снегах. Денег-то хоть чутка оставил про запас?

— Оставил, не все же мне валить в общий котел.

— Не силуем. Дал ты, ладно, больше не требуем. Хорошо, что согласился идти общиной. Один бы не дошел.

С пашен размеренным шагом шел кузнец Пятышин.

— Чего головы повесили? — спросил он мужиков.

— Да так, нудновато что-то,— ответил за всех Ефим.

— Зря нудитесь, все будет ладно.

— У тебя всегда все ладно, живешь в достатке, ни разу не порот...

— Дак ить я с вами иду. Чудилищи. Вот сходил на свою землю, промерял ее шагами, вроде не убавилось. Продаю Зубиным. Хочу посмотреть Сибирь. Беловодское царство.

Ахнули мужики:

— Не гонят ить. Ошалел! Умом трекнулся!

— Когда погонят, то радостев будет мало.

— Детей пожалей.

— А у вас рази не дети? Пожалею. Может, они вольную жисть увидят. Этим и пожалею. А кто умрет, то, значит, судьба.

— Одумайся, Сергей Аполлоныч. Кузнец, свои земли...

— Все продумал, благо ночи стали длинны. Кошевенку сварганил, в ней дети и перезимуют. А потом, куда вы без кузнеца? Тяжко будет, все хоть коня подкую, полозья новые под сани подведу. Берете ли?

Молчат мужики. Жаль им Пятышина. Хороший человек, отличный кузнец. А уж мудрости не занимать. Если Феодосий огонь, то Пятышин — вода. Один другого будут дополнять. Два таких вожака приведут в любое царство.

— Ну, чего молчите? Аль не рады, что с вами иду?

— Спаси тя бог, кланяемся в ноги, Сергей Аполлоныч. Примам, ходи с нами! — обнял Пятышина Феодосий.

— Ну, ну ладно, ить я не баба. Знатчица, иду. Мало ли что, кузнец под рукой — заглавное дело. Будем пытать счастье на одной дорожке.

Приободрились мужики. Вернулись в деревню.

А тут еще Митяй дал представление, подскочил к Марфе, свистнул ее в ухо, та улыбнулась и непонимающе посмотрела на Митяя.

— Тю, шатоломный! Чего это драться вздумал? Вот возьму и завяжу узлом, всей деревней не развязать.

— А то и затеял. Кто хозяин в доме, я или ты? — Ударил Марфу по щеке, Марфа усмехнулась и бросила:

— Мужиком стал. Хорошо. Думала, так дитем и останешься. Побил, иди к мужикам, вона стоят, хохочут над тобой. Иди, не мешкай, делом занята.

Митяй, гордый от сознания, что побил Марфу, вернулся к мужикам. Приняли без улыбки, хотя Иван корчился от внутреннего смеха. Пошли в кабак Знобина, чтобы выпить по чарочке водки, души встряхнуть. Тяжело им — душам-то...

2

Упали снега, встали реки, даль прикамская подрумянилась. Тишь и мороз, но зябко телу, не греют зипуны и даже шубы, дрожь в душе, под сердцем неуют. Над обозом, который растянулся по улице, повис густой пар от дыханья людей, коней, коровенок. Был день чудотворной богородицы Казанской. Не зря выбрали этот день пермяки, авось чудотворная будет охранять их в дальнем пути. Пойдет обоз ссыльнопоселенцев по Казанскому тракту, затем за Пермью выйдут на Сибирский.

А там... Там путь не изведан, путь долог. Плакали люди, ржали кони, мычали коровы, выли собаки. Все говорили быстро, взахлеб, спешили досказать невысказанное. У всех страх перед дальней дорогой.

Больше ста коней были впряжены в сани; там дети, скарб, хлеб, сено. Хотя брали с собой главное — ничего лишнего. Не забыли и про плуги, бороны. Сгодится в Сибири. Пермяки, продав дома, смогли купить лишних коней.

Пар, крики, плач и стон... Прятали отъезжающие глаза от докучливых глаз провожающих. Прятали, чтобы скрыть боль. Но разве ее скроешь? Горечь расставания всегда тяжка. Все видно, как переспелое яблоко на ладони. Не скроешь.

Щурит смешливые глаза Иван, а из них нет-нет да и упадет слеза, радужно блеснет на солнце и закатится в бороду-лохмань. Зло теребит свою бороденку Ефим, будто хочет ее оторвать и бросить людям под ноги, пусть топчут. Ругается:

— Ножа те в горло, с чего это нонче слеза катится? Вроде ветра нету...

С трудом отрываются пермяки от родной пуповины. Заливают бабы родные очаги слезами. Кто теперь будет загребать жар в загнетки? Кто будет сажать хлеба в печи? Кто мыться и париться будет?

Словно потерянные бродят бабы по дворам, где каждый вершок земли утоптан их ногами, скорыми, босыми. Здесь было все — радость, горе, веселье и плач надрывный. Роняют головы в беззвучном плаче на косяки окон, слезы уж все выплакали, гладят скрюченными пальцами лавки, все, к чему притрагивались. Горе бабье, горе неутешное.

Сбились в снегириную стаю парни и девушки, там смех, там песня. Говорили все враз, никто никого не слушал, никто ни у кого ничего не просил. Всем понятно, что эти уходят навсегда, кто недомиловался, теперь уже недомилуются, оборвется все и позабудется.

Феодосий Силов еще и еще раз втянул в себя горечь родного дыма, обжег морозным паром широкие ноздри, поднялся на сани и крикнул:

— Тиха, други! Присядем перед дальней дорогой!

Враз смолкли стоны и крики. Даже собаки выть перестали. Притихли коровы и кони, подняли головы и насторожились. Люди сели кто на что. Феодосий присел на завалинку, прислонился затылком к окну и затих, застыл без дум. Но тут же вздрогнул, круто обернулся: об стекло с тихим жужжанием билась муха. Последняя муха, уцелевшая в тепле, будто хотела

вылететь, чтобы проводить хозяина. Родная муха. Волосатый ком застрял в горле, потекли слезы, не удержался.

— Муха! Мушенька! — с трудом выговорил старик.— Прощай! Дурочка, не стучись в окно, сдохнешь на морозе. Вона наша детва, тожить как мухи начнут умирать от холода и голода. А что делать? Акромя зимы, нам другого времечка нету.

А муха жужжала и звенела по стеклу, нагоняла страх. Руки мелко дрожали. Уняв дрожь, Феодосий стылыми глазами посмотрел на детишек, которые жались к коленям своих матерей, радовались дороге. Жёнка Максима держала на руках Гаврилку, Иванова — Семку, Васькина кутает в одеяло Еремку. Эти едва ли дотянут до первых деревень Сибири. Умрут от простуды. На морозе не подашь грудь ребенку, что поделаешь, бог дал — бог взял.

Вскочил Феодосий и сорвался в заполошном реве:

— Чего вздыхаете, как коровы? Радуйтесь, новую Расею идем ставить! Ну!!!

— Дэк ить, Федосушка, родной, хуже, чем на погост, отправляем, на погосте-то хоша могилушка ба поправила, крест прямее поставила, ить больше не свидимси. Не отыскать нам в Сибири ваши кресты. Разве в думках помянем. Не будем знать, молиться за упокой или за здравие. Одна надея, что сойдутся наши тропинки на том свете...

Феодосий хмуро смотрит на свою сестру. Усмехается. Она увидела этот смех в глазах, смолкла.

— На том свете, гришь? Хоша и сойдутся, то все одно не захочу признать твою поганую душу. Ить плачешь-то не от души. Комедь ломаешь, стерва ты старая. Рада.

— Посекет вас стужа лютая, растаскают ваши косточки волки, а тебя, черта косматого, сожрут в первый заход. Сгинь ты с моих глаз, хоша и брат, а ненавижу тебя от чиста сердца.

— Вот теперича ты мне ндравишься, правду глаголешь. Молодчина! Утри свои змеючьи слезы и катись от меня, пока не дал по шее. На вот пучок соломы и заткни свою лживую глотку! Поганый рот закрой, сова вылетит!

— Закрою, но буду молить бога денно и нощно, чтобыть тя черти в ад сволокли, там бы на тебе дрова возили, смолой поливали заместо воды студеной, бугай ты распроклятый.

— Спаси тя бог, сестричка. Брысь! Поехали!

— Тронули!

— Но, милаи!

Скрипнули полозья, всхрапнули кони, тронулась лапотная Расеюшка за землей и свободой.

— Простите, Христа ради, ежли что не так! Зло забудьте.

— Не поминайте лихом!

— Прощайте, милаи!

— Мамааааа! Боюсь!

А бабы бились в надрывном плаче, голосов не жалели. Рты в диком оскале, губы наперекос, душа наизнанку. Молчало небо, молчала земля. И враз заиграли дудошники, затренькали балалаечники, растянул свою гармонь Степка. Скрип саней, скрип шагов в неизвестность, в вечность... Прячет от своей суженой глаза парнище. Остается его любовь, остается.

— Уходишь, покидаешь меня, сиротиночку! — плачет Устя.— Не уходи! Или возьми с собой!

— Но ить, ить мы не венчаны, да и это самое... Другого полюбишь.

— Точно, не плачьте о нас, других полюбите! — орет Ларион. Сам же жмется сильным плечом к Софке Пятышиной. Грудастая, задастая Софка принимает ласку Лариона. А че, он парень что надо. На губах Лариона злая усмешка, у Софки довольная улыбка девки-победительницы. Ори, ори, соперница, а Ларька, ежли захочу, будет мой.

Андрей чужой. Даже за розги не поклонился, а ведь делала от чиста сердца. Ну и пусть его.

Все меняется: вчера тосковала и убивалась по Андрею, сегодня назло ему будет целоваться с Ларькой. И Софка готова раскрыть объятья хоть сейчас. У Софки губы сочные, змеистые и отравные губы. Да и глаза у обоих горят, что-то ищут. Похоже, споются, приглянутся друг другу. И ничуть не стыдно пытливых глаз провожающих. Наплевать. Ларька не Андрей-слюнтяй, не убежит.

Жизнь продолжается...

Вот и Стешка Силова тож ведет своим монгольским глазом на Романа Жданова, а следом плетется ее вчерашний дружок. Звала — не пошел, чего же теперь! Ловит Ромка жаркий взгляд Стешки, но отводит глаза. Ромка еще не созрел для любви. Созреет, главное — сразу застолбить дружка, а там свое сделает время. Жизнь не терпит промедлений, потому зря отводит глаза Ромка, надо делать все сразу, все вдруг, не то прыгнет зайцем в сторону и новый поворот в судьбе сделает.

Жарит на тулке Степка Воров, между делом чмокает в щеку Секлетинью, остается она, тут же ловит на себе искрометный взгляд Любки Плетеневой. Взгляд как крученая вода. Все, и Степка застолблен. Любка тоже своего не упустит. Девка что надо, ко всему смышленая, задиристая и певунья. Губы ее налиты страстью, обжечься можно, глаза огромные, как плошки. Тонет в тех глазах Степан. Скоро забудет свою Секлетинью.

Молодости свойственно многое забывать. Лишь старость все помнит.

Провожали до околицы. До того места, где рос дуб-клятвенец. Дуб языческий. Под этим дубом все мысленно или вслух, перед дальней дорогой, дадут клятву нерушимую, клятву верную.

Дуб, раздетый ветрами, закуржевленный морозом, тихо плыл среди облаков, чуть покачиваясь в небесной голубени, просил небо помочь пермякам.

Помнит Андрей каждое слово, что говорила под этим дубом Варя: «Пусть покарает меня небо, посекут молнии, оглушат громы, ежли я изменю своему слову. Ты, дуб-правдивец, все видел, все слышал, накажи, ежли что...»

Помнит и Варины слова: «Пусть покарает меня дух земли и неба, пусть вечно я буду бесплодной, пусть загрызут меня звери, закусают гады ползучие, ежли я изменю Андрею...»

Под этим дубом не упоминают бога. Не нужен здесь бог. Гудит дуб, будто кто тронул его морозные сучья-струны, напоминает пермякам о клятвах, которые слышали, которые ему доверили люди. Качнул перевитой кудрявостью и затих, будто сделал глубокий вздох. Слушаю, мол, говорите. И люди упали на колени, стали просить дуб, чтобы он был их заступником.

— Клянись и ты, что верен будешь до гроба, — толкнула Софка Лариона локтем.

— Рано, поди, требовать с меня клятву. Суженым не назвался.

— Назовешься, клянись. Вижу, куда клонишь.

— Ладно, буду верным до гроба.

— Смотри, могу и убить, мы, Пятышины, тожить бываем круты.

— Отчего же не была крутой к Андрею?

— Не твоего ума дело.

— Прости, господи, им согрешения, вольные или невольные. Веруют они в отца и сына и святого духа. Страшатся они дальней дороги, вот и впали в язычество, — тихо говорил Ефим поодаль от ссыльных.

А над обозом уже кружилась стая ворон. Феодосий кивнул на ворон, бросил с горькой усмешкой:

— Этим будет пожива.

Кричали вороны. Одно их беспокоило и смущало, что не слышно было бряцания оружия, ружейных выстрелов. Они-то помнят походы Пугачева. Грохот боев и запах крови — все помнят. Здесь не то, но знали, что и тут будет пожива. Быть пиру!

Они долго будут лететь вслед обозу, криком своим напоминать о смерти и превратностях судьбы, страх нагонять. Быть пиру!..

Этот обоз не из тех, который везет хлеб, соль и всякую всячину. Этот обоз плачущий, а там, где плачут люди, быть смерти. Быть пиру!

Судьба бежит впереди, а за ней идут люди.

3

Обоз вышел на Сибирский тракт. Над обозом тугой пар. Заиндевели бороды, задубели лица. Начали дубеть и души. А люди шли и шли, переставляли ноги, а куда шли, сколько им идти — никто не знал. Сибирь земля широкая, десять лаптей на карту не уложится, если кто видел ту карту, прикидывает. Монотонно скрипят полозья саней, подошвы лаптей, шаги, шаги и шаги в бесконечность.

Вот одного уже нашла смерть. Затем второго, третьего. Мрут дети-мухи. А поход только начался. Первого похоронили с молитвой и крестом, второго и третьего так же. А двадцатого?..

Все бы ничего, но когда дело доходило до ночлега, то хоть плачь. Не пускали на ночлег мужики таких же, как и они, мужиков. Обрыдло нескончаемое ночлежство. А если и пускали, то драли с людей три шкуры: за тепло, за охапку соломы на полу. Но главное — детей пристроить, а взрослые и молодежь — для них хватит звездного неба, ущербного месяца и ветра шалого. Сдюжат и такое бабы и мужики. Россияне во всем терпеливы. Разбивали палатки за околицей, у леска, растапливали печурки. Курились дымы. Цыганщина. В палатках молодежь не унывает, там звучит смех, перелив гармоники, песня. Эти еще не научились скорбеть и печалиться над усопшими. А что печалиться, когда сами матери молили бога, чтобы он прибрал мучеников.

Занимался рассвет, трескучий, туманный от морозища; лагерь шумно сворачивался. После него оставались дотлевать головешки, солома, мусор, следы от лаптей и копыт.

Лучше всех приспособился в походе Митяй. Как только обоз трогался, он цеплялся рукой за воз, засыпал на ходу и так шел и шел десятки километров. Однажды парни подшутили над Митяем, оторвали его руку от бастрыка, а вместо него дали палку и повели в лес. Митяй шел следом, тонул в глубоком снегу, но так и не проснулся. Его завели в лес, притулили к дереву, спит Митяй.

Проснулся Митяй и не может понять, где он. Заговорил вслух:

— Экое диво, это игде же я? Гля, сосны, березы, чьи-то следы... Неужели на тот свет попал, черт затащил? Может, не довел, бросил посередке? Вот холодище-то, ить пропасть можно! Эй, кто тут есть, пошто завели меня сюда? Выводите. Пошто же я торчать посередке-то должен!

Марфа хватилась своего любимого. Крик подняла: «Митяй пропал!» Парни признались, жалко им стало Митяя, стыдно за свою глупую проделку, вернулись, приволокли полузамерзшего мужика. С тех пор Марфа привязывала Митяя к своему возку: с веревки не уведут. Парням пригрозила, что уши оборвет, ежли еще так сделают. Митяю дорога не в тягость, хватило бы лаптей.

Обоз подходил к Кунгуру. На душе у Андрея неспокойно: скоро к их обозу должна пристать Варя. Заволновались и другие: пойдет ли девка с ними или изменит своему слову?

День отдыхали в Кунгуре. Не обманула Варя. Гриша все ей приготовил: крытый возок, обитый кожей, в ноги медвежью полость, два тулупа, пару гнедых рысаков.

— Это все ваше, Андрей. Денег на дорогу вам должно хватить. За зиму добежите до Иркутска, ежли все будет ладно. Бумаги выправлены. Теперь ты крестьянин Шагитаров, едешь на вольное поселение в Сибирь. Запомни, что по своей воле едешь. Обоз бросайте. Гурьян хватится — пошлет погоню. Остерегись.

— А ежли с обозом? Одним страховато. Разбойниками Сибирь полна,— отшатнулся Андрей.— Могут ограбить, убить. На обоз же напасть не посмеют.

— Гурьян будет пострашнее тех разбойников. Соберет казаков, переворошит обоз, и вас схватят. Варю в монастырь, чтобы приданое ей не давать, а тебя, как вора, на каторгу. Одним придется бежать! Вот тебе два пистоля, ружье, запас пороху и пуль и скачите! Шибко скачите! Да не по Сибирскому тракту, а сворачивайте на Челябу. Я там бывал, тракт добрый, есть дворы постоялые. Добежите до Кустаная, там воротите на Омск, тоже есть дорога. Дотель руки Гурьяна не дотянутся.

Андрей не послушал Григория Зубина, остался с обозом, а через день на обоз напал Гурьян. Ватага его дружков открыла пальбу из пистолей, ружей, приказали остановиться.

— Вертайте нам Варьку, всем худо будет! — хмуро проговорил Гурьян. — Она у вас.

— А, Гурьян Трефилович пожаловал! Рады вас видеть. Поклоны нам от своих привезли? Спасибочко!

— Хватит языком молоть, кажи, где Варька?

А бабы и мужики уже выхватили вилы из возов, из-за поясов топоры, окружили ватагу.

— Ежли что, то всех переколотим!

— С тебя станет, отец был разбойник, ты тоже... Один Гришка оказался человеком. Не замучил ты его ишо?

— За такие дела надо бы в прорубь головой. Но мы это еще успеем сделать!— пригрозил Гурьян.

— Варьки у нас нетути, зря шумишь.

— Силой брать будем!

— Не обмишулиться бы. Нас вона сколечко, а вас горстка. Денег пожалел — нанять казаков-разбойников? Дуйте отселева! Мы вона промерзли, как раз пора бы и разогреться. А ну, мужики, а ну, бабы, парни, навались, погреемся! — рыкнул Феодосий.

Гурьян сдернул с плеча ружье, но Марфа метнула в него дубину и сбила с ног коня. Скатился Гурьян. Шарит ружье под снегом. А тут навстречу вилы, рев, стон.

Гурьяновы дружки вздыбили своих коней, пошли наутек. Вскочил и Гурьян на коня, забыл ружье искать, тоже бросился следом.

Отбились.

— Ну что будем делать, мужики? — спросил Фома. — Один раз отбилось, отобьемся ли другорядь?

— Гурьян своего не упустит, родова настырная,— подал голос Иван Воров.

— Значит, надо Андрею с Варей бежать. Я даю им в пристяжку еще одного коня, будет тройка, раз вольный мужик — должен быть и вид,— ровно говорил Фома.

— Хватит им двух коней! — зашумел Ефим.

— Заткни хайло! — оборвал Феодосий.

— Молчи, Фома знает, что делать. Отвернитесь, бабы, надо портки спустить, золотишко добыть. Дай им чуток в долг, слышите, в долг!

Фома распорол ошкур штанов, начал вытаскивать золотые монеты.

— Не надо нам денег, у нас есть,— засмущалась Варя.

— Не помешают. Десять рублей золотишком — и чапай. Коней береги, Андрей.

— Андрюха, ищи нас на Усть-Стрелке. Туда причапаем.

Лихая тройка запряжена. Рванули кони с места в галоп. Долго смотрели вслед утеклецам переселенцы, утирая слезы.

— Должно все обойтись. Главное, чтобыть промеж них разладу не было, в остальном переможутся,— проговорил Феодосий.

— Не должно. Любовь — не молоко матери, не скоро перегорает. Дружбой и миром отведут беды,— вздохнул Пятышин.

— Дай бог им счастья,— шептала Меланья, крестила след беглецов.

Фома оказался прав: на второй день Гурьян с казаками догнали обоз. Обоз перерыли, но Андрея и Варю не нашли. Вернулись ни с чем.

Гурьян напал в Кунгуре на тетку, потребовал рассказать правду.

— Венчаны они, бумага на то есть. Коней им купила я, потому не мурыжь Гришу. Андрей и Варя едут под другими именами, так что не словить вам их. Подашь на сыск! Дурак! Сходи спроси полицию, как и что.

И Гурьян спросил. Ему ответил словоохотливый полицейский:

— Ловить твою сестру — все одно что искать иголку в стоге сена. По Сибирскому тракту бегут тысячи, особливо летом, и пообочь бегут: каторжные там, ссыльные, бродяги, не помнящие родства. Но вся энта орава бегит сюда, а кто бегит отсюда, так и ловить их никто не будет. Бегут, ну и пусть себе бегут. Почитай, на каторгу бегут. А сыск тебе дорого обойдется, и сестру не найдут. Охолонь и забудь. На кой она тебе нужна?

«И верно,— подумал Гурьян,— баба с возу — кобыле легче», Махнул рукой и пошел пить в кабак.

4

Еще в кои веки была учреждена сибирская ссылка, затем чтобы не держать под боком неугодных людей. Пусть обживают сибирскую глухомань, обихаживают студеную землю, строят города и дороги. А непокорных на Руси не счесть. Прошли столетия — они же построили Сибирский тракт. Построили на костях людских, построили со стоном и хрипом.

Тракт, тракт — дорога смерти.

Не молчит тракт, живет тракт.

Дзинь-трак-трак! Дзинь-трак-трак! — звенят цепи кандальников. Далеко слышен их мелодичный перезвон в морозной тишине. Сжимается сердце от этих звуков, как от печальной песни. Дзинь-трак-трак! Тесен Сибирский тракт. Тесна дорога слез и горя.

Дзинь-трак-трак! — маячит у обочины четырехконечный крест. Под ним лежит никонианец. Кособочась, на взгорье приютился восьмиконечный крест: там покоится раскольник. Кресты, кресты, кресты, а сколько спит в сырой земле без крестов! Кто по ним справлял панихиду? Да и нужна ли она? Все всуе, все суета сует... Все так или иначе канут в безвестность, породнятся, сольются с землей Сибирской. Тракт. Сколько верст он тянется? Пройдешь — узнаешь. Только ногами можно измерить его истинную длину, ноги за все в ответе, они же все и запомнят.

Обоз набрал шаг и идет, и идет уже второй месяц. Реже слышится детский плач, стон матерей. Смерть угомонила многих. Рукам легче. А сердце и душа переболели день-другой и угомонились.

Дзинь-трак-трак!

Заглушая звон цепей, завопила старуха Жданова. Умер младшенький сын. Двенадцать годков было. Смерть начала подбираться и к таким. Ефим денно и нощно молил бога, чтобы бог не прибирал его Васятку. Не внял молитвам. Но люди молчат, люди не плачут. Они привыкли к смертям, как к этой стуже и ветру. Выветрилась из их сердец жалость, выдул ее ветер Ишимских степей. Одно тяжко, что снова надо долбить в каленой земле могилу. Для Ефима надо порадеть. Но Ефим машет рукой, пустое, мол, не надо глубоко рыть. Суть в душе, а не в теле. Надломился старик. Пошатнулась вера в бога...

Настя Пятышина умерла! Стойте, люди-и-и-и!

Ревет Пятышиха. На то она и мать, чтобы реветь, сердцу станет легче. Нехотя тянут со своих парных и всклоченных голов шапки мужики. Холодно. Утопая в снегу, бредут к возку Пятышина, шумно сморкаются в три пальца. Берут Настеньку и несут в лес, без гроба и креста, там разрывают снег под выскорью, кладут трупик и засыпают снегом. Ефим торопливо крестит отроковицу, идет к обозу. Ежли богу угодно такое — примет, а нет, то ляд его забери!

А уже через полмесяца, то и вовсе просто хоронили усопших: сунут трупик в снег — и поехали дальше. Молчит Ефим, молчат вожаки.

Дзинь-трак-трак! — поют цепи. Напряжены и заветрены лица каторжников, злой хрип из глоток, гремят цепями, престол царя клянут, царя богдыханом обзывают. Это бунтари, хорошие люди.

— Не реви, тетка! Ха-ха-ха! Радуйся, что одним сопляком стало меньше. Твой муж коль постарается, то красивее изделает. Го-го-го! Ежли он не могет, то забегай к нам на каторгу,

вместях богатыря сварганим. Мало одного, могем и десяток настрогать...

Это уже разбойные люди, этим все нипочем.

— Уходи с моих глаз, видеть тебя не могу! — кричала Пятышиха. Добрая и тихая в прошлом Парасковья.

— Не кляни, это перст судьбы,— прятал глаза от супруги кузнец: виноват, чего уж там. Не гнали, а пошел.

Тракт, тракт, земля задубелая, промороженная. Чего же плакать-то? Смерть уберет все хилое, слабое, оставит сильное и жилистое племя. Род обновится.

— Вона глубокий сугроб, суй туда!

— Слышь-ко, волки воют за лесом и эту сожрут.

— Знамо, сожрут, всех сожрали, и эта не святая. Загребай, и побежали. Нас бы не слопали!

Волки давно пристали к обозу, заменив ворон; так и идут следом, идут на расстоянии, ждут добычи. Могилы... Могилы в волчьих животах. Безвестие и забытье. Все трын-трава.

Воют волки, стонут ветры, трещат морозы, умирают люди.

А тут робкий голос Романа Жданова:

— Тятя, благослови, Стешка от меня забрюхатела! Жениться надыть. Срамотно будет ей перед людьми.

— Сдурел, парнище! Тута люд мрет, все устали, едва на ногах держатся, а он прелюбодействует! Вона у Фомы кобыла загуляла, женился бы на ней.

— Не дури, Ефим! Благословляй, чего уж там!— вмешался Феодосий.— Моя дочь, твой сын, пусть их повенчает сибирский мороз. Так крепче, так навсегда.

— Вот те тихоня, — во все горло ржал Иван Воров. — Устроил дело Ромка, ну и ну! И верно говорят, что в тихом озере все черти водятся. И где только приспособились? Благословляй, Ефим!

— Пропасть бы вам! Я за дорогу свою бабу не тронул, а они? Когда успели?

— Не тронул, потому староваты мы стали. Свою-то я тоже хотел было благословить вожжами, но потом пожалел. Мы их сорвали, они несут через нас эти муки.

— Мать вашу! — выругался Ефим, может быть за всю жизнь впервые.— Этих хоронить не успеваем, а уже новые на свет божий спешат.

— Не ярись, Ефим, волки следом идут, приберут и этого,— махнул рукой Феодосий в сторону волчьего воя.

— Благословляю и катись от меня! — прошипел Ефим. Отвернулся. Господи, что деется на земле? Уж Ефим ли не воспи-

тывал Романа в духе божьем, а он что отмочил? — Бог им судья,— высморкался Ефим и ушел вперед обоза.

Все просто: парни и девушки живут в своих палатках. Гудит печурка. И под этот гул, среди этих смертей — все спешат жить. Умирать неохота. А раз смерть рядом, чего же любви бояться. Может быть, она завтра кого-то из них выхватит? День, да мой!

Греет свои руки Степка Воров в коленях Любки Плетеневой. Жарко рукам. Хорошо и сладостно. Смотришь, и еще одна пара «повенчана», под звездами у костра, под волчий вой и треск мороза.

А Ларька Мякинин давно живет с Софкой как муж. Они в пятую ночь страшного похода «повенчались». Одного боялась Софка, как бы это венчание на нос не полезло. Но все сходило.

Зло кусает пунцовые губы Лушка Ворова, тоже спешит жить. Но нет для нее путящего парня. Хорошие все заняты, а сопляков и на дух не надо.

Маются мякининские девки. Дорога прибрала их малышей. Остались одинокими. Для них и вовсе нет парней, да что парней, мужики-то настоящие вывелись. Разве когда-никогда нескладный Митяй занырнет в палатку, чуть порадует. Но за ним следит Марфа. Иван было начал поглядывать на них, но Харитинья быстро поставила ему голову прямо...

Так и проходят ночи, так и бредут ссыльные за мечтой и надеждой... Была бы вера — пройдут, свое найдут.

Забредали ватагой в деревни, вставали на ночлег у ссыльнопоселенцев, таких же бедолаг, как и сами, слушали безрадостные рассказы.

— Наша житуха не лучше, чем была дома. Ить живем-то без прав гражданского состояния, вроде никто и ничто. Раскрепили нас по сибирякам-старожилам, а те рады рвать с нас до костей. Жандармы им в помощь. Дали нам самые худые земли, хоша здесь хорошей земли край непочат. Денег дали в залог, хлеба в долг, вот и стали мы кабальными. Батрачим, ажно спина трещит. Из нужды не можем вырваться. Вам наш совет: сами пашни закладывайте, не берите в долг, свою деревеньку стройте. Ежли нет, то погибель. До седьмого колена не расплатитесь. Как получается: земская подать здесь плевая, взял ты деньги в долг, зерно в долг, пришло время пахоты, надо свою пашню подымать, а тут тебя кличет твой мироед. Пока пропашешь справщику, весну ему отдашь, а свои пашни уже пересохли, трава в рост пошла, майся. А там неурожай, и снова в долги лезешь. Так и мыкаемся. Бежать хотели в другие места, нас жандармы не отпустили. Так что бойтесь этих добреньких сибиряков. Околпачат — и не моргнете.

Чешутся мужики. Слушают. Верят. Без веры здесь нельзя. Чего врать-то. А ежли кто и врет, так сами видят, что и почем.

Холодная и неприветливая Сибирь страна. Знобкими звездами смотрит она на переселенцев, засыпает их снегами, жжет ветрами.

Плывет по небесной реке луна, ей одной ведом путь, не собьется. А вот переселенцы своего не знают. Льет она холоднючий свет на тайгу, на степи неоглядные, морщит в горестной ухмылке свое оспенное лицо, будто что-то хочет сказать людям. Ведь ей сверху виднее. Но что?

Идут ссыльные, слушают тягучие песни кандальников, звон цепей. Идут, хоронят, венчаются, любят и ненавидят. Все обычно, как на всей земле, во всем мире...

5

Бежали кони, бежали через дни и ночи, через снега и бури, мчали беглецов через города и села, деревеньки и аулы. Разные люди встречались на их пути: русские, башкиры, казахи, киргизы. Одни добры и приветливы, другие подозрительны и злы. Но светлые улыбки Андрея и Вари многих обезоруживали. Отвечали улыбками и хмурые люди. Желали ровной дороги и счастья, за которым они бегут на край света.

Андрей пристально смотрел на Сибирь и народ сибирский. Пытался познать людей и землю эту. Если приходилось встречаться с купцами на постоялых дворах, заводил с ними разговоры. Шумные это люди, хваткие мужики. Было чему у них поучиться. Купцы говорили:

— Сибирь для умного человека — это золотое дно. И земли здесь не паханы, и горы здесь не тронуты. Ум есть — ищи золото, скупай соболей, паши земли. Вези сюда железо, ружья, мануфактуру и жить будешь не хуже царя.

Орали, пили стаканами водку, распаривали себя чаем. И сколько видел Андрей купцов, никто из них и лба не перекрестил. Спросил и об этом. Ответил могучий купчина:

— Здесь на бога надейся, но и сам не плошай. Этим заняты раскольники, нам недосуг. Мы должны ставить Сибирь на ноги, а не набивать на лбу синяки. Бог нам надобен, как занавеска при торге, а боле он не нужен. С богом мы торгуем, с богом и обманываем. А ты мне нравишься,— обнял Андрея купец.— Пошли со мной, и сделаю из тебя человека!

Скоро понял Андрей, что в Сибири и бог и царь — не в почете. Молятся больше по привычке, а вот клянут царя во всякое время: в молитве и после молитвы.

Перед Кокчетавом Андрея предупредили купцы, что, мол, на дороге шалит большая разбойная шайка. Даже осмеливается нападать на царские обозы. Правда, простой люд не трогают, а купцам от них житья нет.

И гнал, и гнал коней на восход солнца Андрей, гнал через леса и перелески, через степи. Коней кормил досыта. Никто у них бумаг не спросил. А чего спрашивать: едет человек в добровольную ссылку. Пусть едет, здесь всякие люди нужны. А Сибирь широка, места всем хватит. Летят кони-птицы. Морозный пар на мордах, иней на крупах.

А вот и разбойники, которых так боятся купцы. Позади пальба. Пули плюхаются в снег, чавкают.

— Разбойники! — сжалась Варя.

— Вижу, авось убежим, до Кокчетава недалеко.

Андрей достал пистолеты, ружье, но тут же снова спрятал. Жаль гнать коней, могут запалиться. Натянул вожжи и пустил их трусцой.

Окружили кибитку разбойники.

— Выходите, господа купцы, приехали! — ржала рваная ноздря.

— Вижу,— степенно ответил Андрей.— Но только вы во звании ошиблись чуток, мы просто крестьяне, едем на вольное поселение в Сибирь.

— Крестьяне и на тройке. Ха-ха-ха! Ну что, борода, к атаману поволокем аль здесь прикончим?

— Знамо, к атаману, его приказ — каждого волочь для опознания, знать, и этих туда же.

— Дался ему тот купчишка. Раньше куда было проще: уторскали, деньги по карманам и в лес.

— А баба у тебя хорошая, купец! Ха-ха! Може, хлопнем молодца-то, а бабу атаману. У меня так и зудит рука.

— Я те хлопну. Сказано — каждого доставлять к атаману, он ищет того предателя-купца, может, энтот и есть.

— Какого купца? — спросил Андрей.

— Не твоего ума дело.

— Атаман стал много мудрствовать лукаво. Разбойники, чего уж там, надо и жить по-разбойному. Чего удумали, народ спасать. Ха-ха-ха! — заржал рваная ноздря.— Значит, по-вашему, я должен головы под пули подставлять, а потом награбленное у купцов — беднякам? Не выйдет. Этого хочет чудило атаман, да еще ты, грамотей.

— Мы ведь тебя и других не держим. Раз задумали, то свою задумку исполним.

Ехали по целику, ехали долго, кони вязли в снегу, а бородач лениво переругивался с рваной ноздрей. Но вот послышались голоса. Кони встали.

— Примай гостей, атаман! Да смотри шибче, может быть, это и есть тот предатель, коего ты ищешь?

— Веди сюда!

Голос Андрею показался знакомым. Он вышел из возка, помог выйти Варе, она вздрагивала и от мороза, и от страха. Атаман повернулся. Это был Никита Силов. На плечи наброшена дорогая соболья шуба, высокие унты плотно облегли ноги, в красных шароварах, голубой куртке. За широким поясом натыканы пистолеты, сбоку шестопер. Настоящий атаман, каких видел на картинках Андрей.

Никита шагнул к гостям, незваным конечно, крикнул:

— Господи! Андрей!.. Варя!.. Каким ветром вас сюда занесло? Ну, спужались? — обнял ошеломленных Андрея и Варю.

Ехали умирать, а тут дядя атаман. Надежды на спасение не было, и вдруг свой человек. Варя заплакала.

— Пошли в мои хоромы. Ну, будя! Ладно, что на нас нарвались. Под Иркутском шурует другая шайка, та никого не милует. А мы не такие.

— Не такие? Разбойники вы, а не люди,— наконец смог заговорить Андрей, когда они вошли в землянку, где полы, стены были застланы и завешаны коврами.— Это ведь тоже не от работы, а с разбоя нажито.

— Значит, осуждаешь. Об этом после поговорим. Грейтесь и к столу. Варя, не бойся, ты у своих, отходи и будь нашей хозяйкой. Я на племянника посмотрю. И года не прошло, а уже не узнать. Глаза стали строже, лицом суше. Пока не спрашиваю, как вы здесь и пошто. Спрошу потом.

Поужинали. Андрей коротко рассказал о себе и Варе, о своем побеге, о помощи со стороны сельчан и Вариной тетки. После чего спросил:

— Поначалу скажите, какого вы купца ищете?

— Одного прощелыгу. Хоть мы и разбойники, а торг-то ведем. То хлебного надо, то водки, да мало ли что. Вот я и держал связь с таким дружком. Хорошо платил. А потом он хапнул наши деньги и бежал. А тут прошел слых, что он появился на этих дорогах. Вот и дал наказ каждого купца сюда волочь.

— А если бы не этот наказ, то нас бы убили?

— Да, ради таких коней убили бы, тем более там был рваная ноздря. Зверь, а не человек.

— А разбойник не может быть человеком,— вырвалось у Андрея.

— Это так. Тут ты прав. Но куда податься нам? За мою голову после бунта давали пятьсот рублев, сейчас дают двадцать тыщ. Чуток дальше будут давать еще больше. Я ведь шел в Сибирь не для того, чтобыть стать разбойником. Думал землю пахать. Не дали. Бумаги нет, схватили и на каторгу, беглый, не помнящий родства человек. Бежал. Собрал ватажку, начал баловаться на дорогах. Чуть оклемались. Летось еще приняли двадцать человек, сейчас за две сотни, с того и пошло. Грабежом и живем.

— Бородач и рваная ноздря ругались, мол, ты хотишь сделать шайку спасительницей народа. Бородач за тебя, рваная ноздря супротив. Можно ли такое сделать?

— Думаю я над энтим, но, кажется, нам такого не сделать. Так и останемся разбойниками. Еремей и я — хоть завтра, но остальные против.

— Страшным ты стал человеком, дядя Никита. Видно, правда, что солдату человека убить — это раз плюнуть.

— Не говори такое, солдат никого не хочет убивать, его заставляют. Я тоже не хочу, но и мне жить надо.

— Пошли с нами, дядь Никита. Наши через год-другой остановятся на Усть-Стрелке, оттуда мы побежим в Беловодье.

— Не зови, меня тут же схватят и вас со мной. Меня на виселицу, а вас на каторгу. Вот денег я тебе могу дать, много дать. А может быть, ты останешься у нас с Варей? — усмехнулся Никита.

— Никогда! Людей убивать! Нет! Нет, дядя Никита!

— А разве царь и его ярыги не убивают людей? Еще как убивают. Не убьем мы, то нас убьют. Нонись мы грабанули царский обоз, нагребли полные сумы казенных денег, наших сорок человек полегло, но и за то ихних всех мы перекрошили.

— Но ежли бы ты не нападал, разве бы они в вас стреляли?

— Пустой этот разговор, кончим его. Мне быть, мне жить, мне умирать разбойником. Но что делать с вами? Боюсь я за вас. С кем вас отпустить?

— Вы просто отпустите нас отсюда, а там мы уж сами доберемся до Усть-Стрелки, будем ждать наших.

— Ладно, утро вечера мудренее. Будем спать.

Но Никита не спал, как не спал и Андрей. Тягуче выл за дверью ветер, морозно скрипели сосны. У Никиты большое прошлое, у Андрея совсем короткое, но каждый в отдельности был в прошлом.

Утром начали заходить помощники атамана, что-то спрашивали, уходили, получая наказ. Никита хмуро посмотрел на Андрея и Варю. Сказал:

— Растравили вы мне душу. М-да! Урядник, бунт... Не будь всего этого, то жил бы я в родной Осиновке, копался бы в земле, доживал бы мирно. Возьмешь ли денег, Андрей? Нет. Разбойные, отказываешься? А зря. Это ваши деньги, которые отобрал царь. Ваши, понимаешь, ваша подать, ваш оброк, все тут.

— У нас есть деньги, а больше нам не надо.

— Честен. Таким и я был когда-то. Не мыслил быть разбойником, а вот стал им. Будь по-твоему, силком не наваливаю. Уезжайте. Может быть, недельку погостите?

— Нет, ни дня. Зачем же нам надрывать друг другу души? Ты нам, мы тебе... Простимся и в путь.

— Может быть, сменишь коней? Замотаны кони-то. Отдохнуть бы им надо. Подберу самых сильных. Ну? И коней не хочешь. Ну что же, собирайтесь, сам провожу до тракта.

Тройка выскочила на тракт. Кони ходко понесли Андрея и Варю по накатанной дороге. Никита долго смотрел им вслед сквозь слезы, застлавшие глаза.

К вечеру показался Кокчетав. Здесь Андрей решил дать большой отдых коням, себе, чтобы с новыми силами ехать дальше, порасспросить дорогу и пробиваться на Барнаул, Томск, а там выйти на Сибирский тракт.

Неделя отдыха, и снова в путь. А тут завыла метель, закрутила беглецов в непроглядную тьму, перемела дорогу. Кони встали. Снег тут же начал заметать возок. Но Андрей, уже наслышанный о здешних метелях, быстро распряг коней, спрятал их за возок, оглобли поднял вверх: если заметет, то, может быть, кто-то найдет их по оглоблям. Завернулись в тулупы и задремали сладким сном. И видят они, что бредут по пашням, трогают руками налитые колосья пшеницы. Наконец-то добрались до Беловодского царства. Свои пашни, свои табуны коней. Бредут не спеша по сказочной земле, свободной и благодатной...

6

Метель, что перемела дорогу Андрею и Варе, другим крылом накрыла обоз пермяков. Враз свалилась на них снежная коловерть, ни зги. Буря и минуты не оставила пермякам на раздумье, заметалась дикой кошкой среди людей, коней, дьявольским смехом резанула по ушам, валила с ног. Пермяки растерялись.

Но Феодосий Силов и Сергей Пятышин не упали духом. Они видели перед бурей темную гряду леса, теперь приказали

привязать коней к саням, коров, людям обвязаться веревками и двигаться за ними, к спасительному лесу.

Были уже на пути пермяков метели и бураны, но такого еще не было. Храпели кони, кричали люди, но все тонуло в реве ветра.

Феодосий и Сергей шли первыми, падали, проваливались в снегу, но тянули за собой обоз.

Впереди мелькнул огонек. Обоз уперся в стену леса. Среди деревьев было светлее, здесь буря теряла силу, и скоро обоз втянулся в сосняк вперемежку с березами. А тут и костер пылает, вжикают пилы, звенят кандалы.

— Люди, пустите к огню! Погибаем! — орал Феодосий.

— Прочь! Не подходить! Здесь каторга! Стрелять будем!

— Пошто же стрелять-то? Мы ить тоже почти каторга! Эй, давайте детей к огню, потом свой сгоношим! — кричал Сергей, борода его превратилась, как и у всех, в ком снега.

— Подходите, его благородие зря грозится, всю Россию не перестреляет. Эх, бедолаги! — звал к огню кто-то из кандальников.

— Не подходить!— Прозвучал выстрел, похожий на хлопок в ладони.— Именем его императорского величества, не подходить!

— А мы хрен положили на его императорское величество. Он ножки сидит греет у камина, а мы туточки замерзаем! К огню, люди-ии! К огню! — ревел Феодосий.

Дети потянули ручонки к огню. Спасены. Не все еще вымерли. Не все... Этим уже не страшен ветер и сибирский мороз.

— Мама, я боюсь каторжника! — метнулся от костра мальчонка.

— Дурачок! Мы больше каторга, чем они, только без кандалов. У них есть няни, а у нас нет. Их не съедят волки, а нас могут. Ты каторгу не бойся, а бойся вон тех дядей с ружьями. Они страшнее всяких разбойников.

— А почему они не в цепях?

— Придет время — и их посадят на цепи. Кроме них, вся Расея в цепях. Грейся, дурашка.

Молодой жандармский поручик продолжал кричать:

— Ружья к бою! Стрелять!

— Как можно, вашество! Нас с гулькин нос, а их за сотню. Сомнут, и не пикнем.

— Кулагин, выполнять предписание о конвоировании политических каторжан.

— Можно и выполнить, только дело-то необычное. Метель! К любому предписанию надыть иметь голову, ваше благородие.

Нас перебьют и каторгу распустят. А ить это опасные враги царя и отечества. Доволочь бы нам до Томска, а там сдать — и в баньку. И чего их гнать в зиму, пусть кормили бы вошату в Расее!— ворчал усатый жандарм, спасая офицера от опрометчивого шага.

— Прочь от костров! — по-петушиному горячился офицер.

— Не гоните, ваше благородие, счас сами уйдем,— увещал его Пятышин.— Люди, кто согрелся, пошли валить дерева, свои костры разведем.

— А для ча? Тут погреемся! Грейтесь, люди! — ревел свое Феодосий, сам же косил глаза на малую охрану. Чешутся руки! Схватить бы этого сосунка за глотку, но сдерживает себя старик. Опасная мыслишка засела в голове. Феодосий подозвал к себе Фому Мякинина, громко сказал на ухо:

— Фома, давай каторгу ослобоним. Оружье заберем у жандармов... А? Как смотришь?

— Надо бы, но дай согреться. Ослобоним. Ради коней и ружей можно. Наши клячонки уже повыдохлись, а эти ниче.

— Нельзя, Феодосий, то дело разбойное! — вмешался Пятышин.— Наживем беды, не дай бог.

Люди отогрелись и заговорили.

— Куда вас гонят? — спросил каторжный с русой бородой.

— Знамо куда, на ссылку. Не гонят, а сами идем, но разницы в том нет, гонят ли, сами ли. Губернатор дал добро самим идтить, вот и топаем. Идем подальше вот от таких псов,— кивнул Феодосий на охрану. — Сказывают, там есть такая земля, где мужик сам себе голова. Там и найдем свое счастье и волю.

— Прекратить разговоры! — орал офицеришка.

— Не замай, паренек! Сибирь велика, тут легко потеряться,— хохотал Иван. Его бородища стала похожа на снежную кочку на болоте.— Дай с хорошими людьми перемолвиться словом. За ча вас на каторгу-то?

— А вы за ча в Сибирь? Пошто детей-то знобите?

— Да за бунт.

— За то и мы. За вас, сирых, хотели порадеть. Теперь на каторгу.

— Молчать! Расходись, стрелять буду!

— Э, чего орет, ить суну в рыло кулаком — и окочурится. Знать, нам хотели помочь. Похоже, ты из бар?

— Из бар, но теперь каторжник.

— Расходись! Разводи свои костры, стрелять будем!

— А ить дурак, могет и пальнуть,— повернулся Пятышин к офицеру.

— Пальнет на свою голову, враз свернем,— рыкнул Феодосий.

— Подымайсь, каторга! Трогаем дальше! Садись на сани!

— Нет, нам здесь тепло. Стихнет буря, сами тронемся.

— Эй, мужики, ставь палатки, пили дрова. Пусть и каторга с нами передохнет.

— Бунтовать?! Всех в карцер загоню!

— Сидите, ребята, пошумит и сам сядет на пенек... Откель в лесу карцер?

— Слушайте, братцы, дэк это же Ермила Пронин, наш, заводской! Ермила, аль не признаешь?

— Давно признал, но молчу. Здоров ли, старик? Это, друзья, племянник пугачевского полковника. Значит, гонят в Сибирь?

— И тебя тожить словили? — спросил Феодосий.

— Словили. Хотел я поднять бунт, но вышел бунтишко. Вечную дали,— ответил Ермила.

— А нас посекли крепко, и все потому, что не дружны мы, от двух выстрелов как зайцы сигаем по кустам. А что делать, не знаем,— рассказывал о бунте Феодосий.

— Подымайсь! Стрелять будем!

Пермяки дружно ставили палатки.

— Бабы, заваривай кашу, накормим сердешных! Не ори, ваше благородие, пусть с нами поживут чуток. Оголодали, поди?

— Харч у нас плохой, жандармы жрут мясо, а мы на одном хлебе. Они-то не замерзнут, а мы с голодухи можем,— сказал тощий студент. На нем висела ветхая форменная шинелишка, на голове фуражка, повязанная сверху платком.

Бабы споро заварили кашу. Жандармы осмотрительно отошли от костров. Ссыльные и каторжане не обращали на них внимания.

— Давайте ваши котелки, поделимся. А може, ослобонить вас?

— Не надо, Феодосий Тимофеевич,— остановил старика Ермила.— Всех не освободишь. Потом словят, тогда уж смерть. Будь это летом, слова бы не сказали. А сейчас куда подашься?

Зазвенели кандалы, потянулись к мискам натертые цепями руки. Бабы кормили каторжан.

— Надо бить царя кулаком, а не тыкать пальцем в него,— говорил Ермила.

— Нет, надо убить этого царя, а на его место посадить другого, чтобы он нас боялся, слушался! — тонко кричал студент.

— Значитца, убить этого, поставить другого? Доброго? — усмехнулся Феодосий. — Може, и так, но игде найти доброго-то царя?

— Можно найти, можно. Только нашенского, мужицкого,— прогудел Иван Воров.— И пошто тебе дали вечную каторгу? Вот Ермила — тот да, тот бунтарь. А ты просто пичуга, даже не знаешь, где искать доброго царя,— отмахнулся он от студента.— Ермиле бы грамотешку, и дело пошло бы. Так я говорю. Ермила?

— Так альбо не так, а царя надыть менять,— ответил Ермила.— Живем пока малыми бунтишками, а в них проку на грош. Но и из грошей получается рупь.

Феодосий рассказывал, как его брат Никита убил кулаком урядника, посетовав при этом, что тот хлипче турка оказался.

Все захохотали. Ермила ржал громче других, задрав бороду.

— Значит, трах его по башке — и нету? Хлипче турка!— выкрикивал он сквозь смех. — А? Да? Брыкнул ногами — и нету. Так бы царя — одним махом, трах — и нету! Ха-ха-ха! Потом и его ярыжек.

— Э, брось, Ермило, царская власть от бога, ей несть конца. Другой не могет быть, а ежли будет, то уже от антихриста,— заговорил Ефим.

— Молчи, дурак. Отогрелся, снова за свое. Мало тебе бог шлет испытаний. Погоди, пошлет такое, что волком завоешь. Так вечно не будет, выпрягется народ, как уросливый бычишко из ярма, и понесет, тогда держись Расея! — оборвал Феодосий.

— Умного и доброго царя поставим,— тянул шею студент.— Своего царя!

— Своего. Это верно! Мужицкого царя, доброго, умного, нашенского,— согласился Пятышин.

— Цари, цари! Все они одного поля ягода, сядет тот мужицкий царь на шею народа и ноги свесит. Забудет, что жил в нужде, голоде и холоде. Плохое быстро забывается. Сытый голодному не товарищ. Вона Фома, пока был богатеем, так нам шеи крутил, смяла житуха — притих. Но коль снова вырвется в люди, то не будет нам поблажки от него. Затопчет и сомнет. Не царя надобно, а власть всенародную, как есть в Беловодье! — гремел Феодосий.

— Ивана-дурачка поставим в голову. Они в сказках завсегда вначале дурачки, а потом умными и красивыми делаются.

— Бороду ему вначале надыть расчесать, угоить самого, может, и выйдет из него царь,— начали похохатывать мужики после сытной каши.— Но игде сыскать такой гребень, чтобыть его бородищу воровскую расчесать?

— Будет царем — найдется гребень.

— Убить надо этого царя! — тянул свое студент, отрешенно смотрел на людей.

— Студентов ставить надо в голову, они башковитые, книги шпарят, будто на коне несутся,— хохотал Иван.

— Нельзя студентов, они в бога не верят,— гудел Ефим.

— Можно и без бога, была бы божеская житуха, — гремел Феодосий.

— Подымайсь, каторга, стрелять будем! Прекратить крамолу.

— А мы Пушкина в голову поставим, он знат мужика, читал я его сказку про Балду и попа. Ладная сказака. Знат тот Пушкин нашу беду.

— Пушкина нет уже на свете, Пушкин погиб от руки убийцы! — выкрикнул студент.

— Не трогайте его, снова нашла блажь. В голове что-то перевернулось,— бросил Ермила.— Забили его жандармы.

— Богохульник он, такое писать про попов. Ить тому Пушкину мало бы каторги! Богохульство и крамола! — шипел Ефим.

— Убит, значит, Пушкин... Жаль, хороший человек был. Головатый, душевно писал,— пожалел Феодосий.— Хорошо написал про жадность поповскую.

— Царь убил Пушкина. Царь — злодей! Его слуги — сволочи!

Буря чуть приутихла. Бабы с детьми заползли в палатки, из труб над палатками вылетали снопы искр. Теперь никто не замерзнет. Спасли пермяков костры каторжан.

Из-за костров вразнобой охнули ружья, залп, будто простонал навстречу буре, принес смерть. Студент вскочил, зажимая рукой грудь, закачался, еле слышно промычал:

— Убивают...— и сунулся головой в костер. Но Феодосий выхватил из огня студента, выпрямился, подержал умирающего на руках, пристально посмотрел на жандармов которые спешно заряжали ружья. Вскочили каторжане, сбились в кучу мужики. Феодосий положил умирающего на истоптанный и почерченный цепями снег, схватил топор и спокойно, но громко сказал:

— Боже, боже! Ну, сколько можно изгаляться над людьми? А? Бей татей! В бога мать!..

За метелью послышался звон колокольчиков. Лихая тройка подкатила к костру. Из кибитки выскочил морской офицер, на ходу сбросил тулуп и упругим шагом подошел к замершей толпе.

— Ваше благородие, бунт каторжные чинят, мужики им потворствуют,— подскочил к офицеру безусый убийца.— Прошу вас оповестить тюремные власти в Томске о беспорядках. Пусть шлют подмогу!

— Господи, что творится на Руси? — простонал моряк.— Лучшие люди гибнут! Произвол! Каторга! Когда этому будет конец?

— Не слушают приказа, вольничают. Что делать? — стонал жандармский офицер.

— Быть человеком!.. Разве они напали на вас?

— За неподчинение приказано стрелять!

— Мальчишка! Подлец! — Моряк резко отвел руку и влепил жандарму звонкую пощечину.— Вот так-то. Моя фамилия Невельской, можешь пожаловаться. Поехали. Хотели передохнуть, но...

Усталые кони взяли с места, и скоро затих перезвон колокольчиков за метелью.

— Бей супостатов! — снова заревел Феодосий. Но его остановил Сергей Пятышин:

— Кончай, Феодосий, не время и не место. Не каждый бунт к ладу. Кто знает, что то был за офицер, доложит тобольским властям — и с ходу в петлю. У нас веревки вить умеют.

— Пошли, каторга, новые костры распалим! Этот дурак может еще что выкинуть,— сказал Ермила Пронин.— Сдюжим, пошли.

Звякнули кандалы, послышалось привычное: дзинь-трак-трак! Потянулись санки в белую мглу, на последних лежал убитый студент.

К утру буря стихла. Пермяки снялись, как стая припоздалых гусей, потянулись косяком к уже недалекому Тобольску.

Обоз полз, выпадали из серого кома люди, часто срывались с облаков февральские метели, но это уже был последний стон зимы, последний вскрик. Скоро весна. Надо успеть проскочить Омск и подыскать место под деревеньку где-нибудь на берегу реки.

7

Сладкий сон досматривал Андрей. Хотел открыть глаза, но веки слиплись от усталости, тяжелые, не поднять. Услышал голоса, незнакомую речь. Это Абугалий что-то говорил женщине.

А он говорил:

— Жить будут. Джигит крепче женщины, той будет плохо, долго болеть будет, кумысом надо поить будет, долго поить, а то пропадет. Совсем молодые. Куда бегут? Зачем бегут?

Наконец Андрей открыл глаза. Повел глазами по жилью. Они были в кибитке казахов-кочевников. Абугалий склонился над ним с кружкой в руке, улыбнулся, сказал:

— Жить будешь, джигит, сильный джигит, кумыс пить надо, много барашка есть надо, горький травы пить надо. Жить будешь. Бабушка Мариам вылечит вас.

— Как Варя? — резко поднялся Андрей.

— Женщина шибко больной. Мороз, жар, тебя зовет, еще многих зовет, совсем красное лицо. Жить будет, джигит не потеряет свою красавицу. Пойдет с ней, куда задумал идти. Кумыс излечит. Он все излечит.

— Где мы? Кто ты?

— Зачем спрашиваешь, у людей, я нашел вас в степи. Долго отрывал. Коней нет, пропали кони. Долго вез. Вы крепко спал. Большой была метель, шибко большой.

— Спасибо! Мне уже совсем хорошо, ноги и руки чуть болят.

— Ты сильный, ты джигит, а он женщина. Но жить будет. Мариам хорошо лечит, много лечит.

Андрей нахмурился, силясь что-то вспомнить... ах, он сказал, что пропали кони.

— А где кони?

— Пропали кони, плохой человек украл, след видел, людей забыл.

— Сгинем мы без коней! — вскричал Андрей. — Господи, кони пропали.

— Зачем кричишь, зачем зовешь бога, не поможет, казах поможет, бог не поможет. Пей кумыс. Много пей, снова спать будешь, здоровый будешь.

Андрей через неделю был здоров. Но Варя после сильной простуды еще не вставала с постели, хотя уже могла говорить. Была бледна, сильно осунулась. Тоже жалела коней. Абугалий сердился, говорил:

— Казах бедный, казах работает на бая, казах тоже мужик, тоже сердце болит, когда один много есть, другой мало. Русский, казах, киргиз, узбек — все дети одной земли. Как казах не поможет русскому, русский бежит в хорошую землю, поможет казах русскому.

— Но боги разные,— отвечал Андрей.

— Богов мы сами себе взяли. Ваш бог не помогает вам, наш аллах тоже не помогает. Но казахи дадут вам коней, бежите в хорошую землю. Ты русский мужик, я байский работник, бай один, нас много, найдем денег, купим хороших коней.

— У нас тоже деньги есть,— вяло отвечала Варя.

— Когда казах помогает гостю, он не спрашивает у него деньги. Это ваши деньги, мы найдем свои, вы будете помнить казах. Тоже люди и вы и мы.

Варя медленно поправлялась. Наконец она начала ходить, придерживаясь за войлочную стенку. А через две недели вышла на улицу. Ахнула. С юга уже накатывалась весна. Снег порыжел, сползая в овраги. Тонко звенели ручейки, наполнялись водой сухие русла. А скоро послышался в небе стон журавлиный, гоготание гусей, гомон уток. Снег сошел. Столбиками стояли на холмах суслики. Запахла земля полынной горечью, весенними травами. Варя здорова, можно было трогать дальше.

Абугалий привел коней. Это были сильные, чуть диковатые казахские кони. Сказал:

— Казах дарит вам коней, мы дарим, — показал он на своих друзей.— Провожу вас до дороги, а вы убегайте в свою страну. Ружье есть, конь есть, проедет любую дорогу джигит. Хорошие кони, быстрые кони, от разбойника спасут, от русского казака спасут, он тоже разбойник.

Андрей и Варя земно поклонились казахам. И в этом было все: и любовь, и благодарность, и вера, что все люди — человеки. Мир не без добрых людей.

Абугалий вывел друзей на дорогу, рассказал, как пройти до Барнаула, оттуда в Томск. Андрей обнял нагаданного судьбой друга, по-русски трижды поцеловал. Расстались, чтобы больше никогда не встретиться. Андрей еще подумал: «А ведь мог бы Абугалий плюнуть на нас, выбросить нас из саней, забрать сани, продать нашу лопотину, деньги выручить. Лишнее продал, деньги вернул, друзья подарили коней. Чудно́. Кто я ему: ни сват ни брат».

Сказал о своей думке Варе. Она ответила на его вопрос:

— Человек наш Абугалий. Сколько буду жить, столько и помнить его. Ты ведь тоже сделал бы как он?

— А кто ее знает? Может быть, и сделал бы? — пожал плечами Андрей.

Нет, это не в кошевке ехать, а ехать верхами, с непривычки тяжело, но ехали, ехали неделю, вторую, третью. Полые воды часто преграждали путь, где либо надо было ждать спада воды, либо искать брода.

А вот и росстань, здесь две дороги, одна шла круто на Омск, вторая на Барнаул. Свернули на Омск. Скоро Сибирский тракт. Людный,— значит, более спокойный и безопасный, так думали беглецы. А там, может быть, своих встретят. Они тоже далеко не могли уйти...

Сбоку выстрел, пуля обожгла щеку Андрею и с воем ушла в перелесок. Из леска вылетели всадники. Кто они? Разбойники или казаки? Раз стреляли в человека, то, наверное, плохие люди. Что говорить, Сибирь — страна разбойная, особенно летом.

Кони рванули и понесли: Варин меринок, Чалый, мчался в распластанном беге, стлался над землей, легко уносил хозяйку от преследователей. Спасибо Абугалию! Не отставал и Серко, тоже нес Андрея в широком намете. Андрей выстрелил в преследователей,— кажется, убил коня, он вместе со всадником покатился по земле.

Еще сильнее заорали, заулюлюкали преследователи, хлестали коней нагайками, стреляли вслед.

Копыта простучали по твердой дороге, может быть по Сибирскому тракту, Андрей не приметил в пылу скачки. Кони уносили всадников по проселочной дороге. Но проселочной ли? Дорога становилась все у́же, глуше. Лес, который сначала был светлым, начал темнеть, густеть. Дорога превратилась в тропу. Уже нельзя было гнать коней. Да и разбойники отстали. Пустили шагом, в надежде, что эта тропа приведет к тракту. Где-то он должен быть рядом.

Тропа оборвалась. И повернуть бы Андрею коней назад, но он побоялся разбойников. Пришла ночь. Беглецы остановились, развели костер. Задали коням овса. В тайге еще трав не было.

С рассветом Андрей попытался определиться, где они. Пошел на восход, чуть забирая на север. Местами тайга была чистой, но чаще приходилось прорубаться через нее. Теперь Андрей и рад бы повернуть назад, но они заблудились. Даже несколько раз выходили на свои следы. Кружили. А небо было хмурое, определиться было трудно. Но показалось солнце, и Андрей пошел ему навстречу, забирая чуть севернее.

Шли дни, складывались в недели. Тайга стала непроходимой. Кони вязли в болотинах: утонул в реке Чалый, а скоро и Серко — засосала трясина. А с ними утонули ружье, снедь, осталось у Андрея два пистолета и нож. А скоро он и пистолеты выбросил, порох отсырел. Чего же железины таскать с собой?

Все чаще и чаще попадались ельники, где трудно было даже плечо протиснуть. Наступала ночь, падали на мховую подстилку и тут же забывались в тревожном сне, без огня, без оружия. Кого бояться? Сколько идут — ни зверя не встретили, ни голосов птиц не услышали. Пустая тайга, не любит такую тайгу зверь. Но комарья и мошки было много. Опухли лица, в расчесах руки. Заблудившиеся посерели и осунулись.

Первым начал сдавать Андрей, духовно сдавать, сел на пень и сказал:

— Пропали мы, Варюша, теперь я дохожу умом, что мы проскочили Сибирский тракт, идем к Студеному морю. А стоит ли идти?

— Стоит! И не пропали мы,— твердо заговорила Варя.— Бог спасет. Пошли, чего раскис? Молиться будем, и спасет.

— Молюсь, ежечасно молюсь, а он ведет и ведет нас по тайге, тропу не укажет. Так же я молился в подземелье, но спас меня не бог, а убивец-горбун, да еще Ермила с заводскими, они будто бунт ради нас хотели устроить.

— Пошли! — приказала Варя, пошла первой.

Андрей вяло плелся за ней, голодный, разбитый. Рубашка в клочья, от штанов одни ремки остались. Варя была еще более ободрана, будто ее медведь драл и превратил сарафан в полосы. Ноги в царапинах, опухли.

«А может быть, и верно, есть бог»,— подумал Андрей, когда к вечеру они вышли на тропу, широкую, торную. Горько усмехнулся. Тропа эта может увести за сотни верст. И куда идти? Налево, направо? Присмотрелся к следам на тропе. Конский след шел налево. Он был совсем свежим.

Молча сели у тропы. Устали. Развести бы костер, воды горячей напиться, отогнать бы этот гнус, полегчало бы. Прижались друг к другу, набросав на себя еловых веток, чтобы не так точил гнус, да и теплее, задремали. Чуть свет на ногах, заспешили по свежему конскому следу. Должен он куда-то привести. На берегу речушки нашли черемшу. Поели, тронулись дальше...

И вот тайга расступилась, стало светло. Перед путниками лежала широкая долина. А на ней пашни, за пашнями дымы, которые шли из-за потемневшей крепостной стены.

Андрей посмотрел на Варю. Она была почти голой. Она была страшной. Вместо глаз — щелочки. На теле десятки ран, одни кровоточили, другие гноились. Но Варя смеялась, смеялась опухшими губами, показывая белые ровные зубы.

Теплый ветерок гулял над тайгой, раскачивал ее, гнал по небу сиротливые тучи. Тучки тянулись на север. Цвела по пойме широкой реки черемуха, ее терпкий запах приносил ветер. Здесь цокали облезлые белки, свистели рябчики, заливались на все голоса пташки.

Добежали до пашни и замерли. Пришли. Улыбаются. Да, это была крепость. Деревянные стены из бревен в два обхвата, башни, а на них пушки. По стенам ходили дозорные с ружьями. Чудно! В такой глухомани и крепость. Уж не попали ли беглецы в другое царство-государство? Донесся крик петуха. Залаяла собака. Наплыл людской говор.

— Может, все это блазнит, как поблазнило на покосе? А?

— Нет, там все было немо, а здесь мы слышим голоса. Мы пришли к людям. Передохнем чуток, я сарафан полатаю, хоть свяжу ремки в узлы.

По берегу шел старик: лыс, горбат, борода замочалена, на плечах едва держалась изопревшая рубаха, штаны тоже рваны, руки и ноги закованы в цепи.

— Это верижник, блаженный, такие водятся у раскольников, — прошептал Андрей. — Дураковаты, как один.

Верижник увидел людей, остановился, долго, каким-то отсутствующим взглядом, смотрел на пришельцев, вдруг истошно закричал:

— Зрю Адама и Еву! Голешенькими снизошли с облацев! Сошла блудница, чтобыть сомущать люд, коий погряз в грехах неотмолимых. Бей блудницу, бей совратительницу святого Адама! Бей!

— Очумел старик, — подалась за спину Андрея Варя.

Из землянок, что были вырыты отшельниками в откосом берегу Иртыша, начали выползать верижники. У одного цепь прикована к ноге, тяжелая, пудовая цепь, другой носил чурку на шее, как ярмо, третий тянул такую же чурку за собой. Все косматые, страшные. Оскалили гнилые зубы и начали вторить старику:

— Зрим! зрим, святой Исайя, зрим Адама и Еву! Выходи, предадим блудницу огню!

Всходило солнце, над пашнями курился туман. Пахло землей, всходами. Туман наплывал на пришельцев, кутая разбитые ноги.

— Бежим в крепость, Андрей, должны же быть там умные люди! — крикнула Варя. Побежали в крепость. Но им навстречу выскочили верижники и преградили дорогу.

— Бей блудницу, лихоимицу! Бей змею-искусительницу!

— Стойте, аль разум у вас помутился, ить это же приблудные люди, аль не видите, что через тайгу они продрались! — нашелся верижник, который хотел заступиться за пришельцев.— Разум у тя помутился, Исайя, рваны, заедены гнусом. И не могет сойти Адам и Ева с небес, такое можно только Исусу Христу. Стойте!

— Перечить! Исайе не верить!.. Бейте супротивника, он давно здеся воду мутит! — приказал Исайя.

На старика набросились верижники. Он был худой, высокий. Его били цепями, чурками, но он не сопротивлялся, скрестив руки, брезгливо смотрел на беснующихся отшельников. Но вот кто-то сильно ударил его цепью по голове, старик упал. Его тут

же затоптали, он, дважды икнув, забился в агонии, испустил дух.

— Бей блудницу! — повернулись верижники к пришельцам.

Вонючие, гниющие, они тянули свои костлявые руки к Варе.

В крепости загудел колокол, тревожно и часто. Распахнулись ворота, из них выплеснулась толпа, с нарастающим гулом приближалась. Андрея и Варю не пускали в крепость несколько верижников.

Андрей выхватил нож. Но верижников и это не остановило, они шли, ползли, надвигались, источая смрад.

— Бей, вся наша маета пошла через Еву! Бей! — орал Исайя, но на нож не шел, трусил.

Толпа все ближе, толпа нарядная, — значит, сегодня воскресенье, мужики в красных, зеленых, синих рубахах, бабы в разноцветных сарафанах, в глазах рябь.

— Это раскольничий скит, пропали мы, Андрюша! Из огня да в полымя!

— Может быть, обойдется? Может, те не будут нас убивать? Эти вот обалдели,— отступая перед верижниками, говорил Андрей.

Варя и Андрей прижаты к реке. Либо надо заходить в воду, либо защищаться до последнего вздоха.

Исайя поднял обеими руками камень и бросил его в Варю. Камень угодил в живот. Варя упала.

Андрей едва ли помнил, что творит: он прыгнул вперед, коротко взмахнул ножом, всадил его по самую рукоятку в тщедушную грудь Исайи. Тот охнул и завалился набок...

Подвалила толпа. Вперед выскочил высокий старик, могуче закричал:

— Остановитесь, братья! Стойте, святые отцы!

— Бей Адама, он убил Исайю! Бей!..

— Остановитесь! — теперь уж грозно рявкнул старик. Длиннущая его борода развевалась по ветру. Голубые, еще не вылинявшие глаза зло вспыхнули.— Сказывайте, че случилось?

— Святой Амвросий, Исайя узрел Адама и Еву, как они спущались с небеси, восхотел побить блудницу камнями, Адаме же убил Исайю.

— Поделом сукину сыну, он уже второй год вносит смуту средь нас и пришлых людей. Ошалел старик! А вы все шасть по норам и чтобы у меня не гудели. Ведите приблудных в скит, там все решим! — говорил Амвросий, четко, будто дрова рубил.

— Мы заблудились, третью неделю бредем по тайге. Коней потеряли. Сами не знаем, куда и забрели,— говорил Андрей.

— Да уж вижу, что не с неба свалились. Такое только Исайе может поблазнить. В прошлом году по вине Исайи был убит наш посланец, нонче снова. Похоронить Исайю без отпевания. Айда в скит.

Варю взяли под руки и повели. Она стонала от боли в животе. К остальным болям уже привыкла.

Вошли в крепость. Варю увела с собой лекарка. Амвросий кивнул на Андрея, приказал:

— Хоть и грешно в воскресный день мыться, но помыть надо. Шумни Ипата, его баня долго жар держит, пусть помоет. Лопотину подберите, эко, одни ремки. Ипат, да смажь тело-то травным отваром.

Пошли на совет. Совет был краток, Амвросий предложил изгнать верижников, пожили, мол, у нас, пусть ищут себе другую пустынь.

Михаил Падифорович, один из старейших учителей, сказал:

— Мудрые старцы не истязают тело, не гноят его заживо, а мудрость детям свою передают, душу свою очищают от скверны. Эти же — блевотники и псы алкающие. Изгнать надо из скита.

Пришла лекарка и сказала:

— Баба была в зачатии, скинула плод. Убил его Исайя. Святой Амвросий, надыть гнать верижников, бо от них всякий срам и болести. Средь них есть прокаженные.

— Решено гнать. Лечи бабу, хватили горя под завязку.

Андрея даже в бане трясло. Ипат спросил:

— Чего тебя лихоманка бьет?

— Дэк ить человека убил, унять себя не могу. Страшно видеть его ошалевшие глаза.

— А ты на них не смотри. Потом, какой там человей Исайя? Гниль, гнида, рыба снулая. Доведись мне такое сделать, тут же бы забыл. Ежли б ты убил деда Михайлу, нашего учителя, то не жить бы тебе. Нашим нужна была еще одна зацепка, чтобы изгнать эту вонь отселева. Теперь уж изгонют. Точно.

Слова Ипата чуть успокоили Андрея, но перед глазами долго еще стояли вылезшие из орбит глаза, разверстый рот в немом крике и эти тощие руки, которые и после смерти продолжали тянуться к Андрею.

Андрей пришел из бани посвежевшим, Ипат ладно похлестал его березовым веником, а потом долго и осторожно растирал тело.

Андрея провели в келью Амвросия. В открытое окно врывался прохладный ветерок. По стенам кельи были расставлены

книги, тяжелые, в кожаных переплетах. Амвросий листал книгу, поднял на Андрея глаза, спросил:

— Чей будешь? Ответствуй!

Андрей без утайки рассказал о себе, о бунте, ссылке, побеге с Варей, разбойниках... Амвросий выслушал, проговорил:

— Полюбовное дело и богом не воспрещено. Все мы бунтари, все мы беглые. Добре, будем снедать, а уж потом говорить. Эй, люди, гоношите застолье! Медовушки можно подать,— крикнул из кельи Амвросий.

Встали на молитву. Андрей растерялся: как ему молиться — двуперстием или щепотью. Амвросий заметил это, бросил:

— Ты не криви душой, вижу ить, что из никонианцев. Не сужу. Не крестись, а просто постой, сотвори с нами молитву, и будет.

Ели долго, ели молча, запивали едому медовухой, крякали, шумно обсасывая усы.

Снова молитва. Затем долгий разговор, где Андрей рассказал, что один из каторжан-раскольников поведал им о Беловодье, которое будто бы лежит где-то у моря.

— Наши туда идут.

— Праведно делают; может быть, и нам будет туда дорога. Теснят нас ярыги царские, наушников засылают, грозятся сжечь нашу крепость,— в раздумье говорил Амвросий.— А теперича пошли в молельню, тебя судить будем, ить человека убил,— коли что, то грех этот снять надо. Уж там как народ скажет.

В молельне шепотки, шорохливая тишина. А когда вошли Амвросий, Андрей, еще тише стало. Встал у иконостаса, поднял руку с крестным знамением, заговорил:

— Сей муж убил Исайю, вам ведомо. Но Исайя убил в утробе матери дитя...— тихо начал Амвросий.

И Андрей подался назад, он об этом еще не знал.

— Несть больше греха, чем убить утробного ребенка! Несть и не будет! — сильным голосом продолжал Амвросий.— Исайя провонял и загнил, ако недобитый волк,— уже гремел Амвросий.

В молельне были даже слышны вздохи, когда Амвросий замолкал.

— Исайя муж ста десяти согрешений! А болезные люди возвели его в святого. Не святой он, а грешник и убивец. Только полоумец может сказать такое, что узрил сошедших с небес Адама и Еву. Вот он, Адам. Смотрите. Человек, наш, земной, а его порешили убить, жёнку удушить руками, как это сделал Исайя три года назад, удавил бабу, увидев в ней дьяволицу.

Надо Исайю осудить, а мужа молодого, гонимого и мучимого,— оправдать. Михайло, тебе слово.

— Оправдать!

— Оправдать!

— Оправдать!— отвечали раскольники один за другим.

— Еще одно слово мы должны сказать — изгнать верижников из нашей крепости, дабы они не разносили заразу среди людей наших.

— Изгнать, ибо наши люди уже болеют проказой, от них перешла.

— Изгнать!

— Изгнать!

Андрей было рванулся вперед, чтобы сказать слово в защиту верижников, мол, они старцы, они по зову Исайи напали на них. Но дед Михайло остановил:

— Не за-ради того изгоняем, что они напали на вас, а заради спасения людей своих. Потому молчи и в чужой монастырь со своим уставом не суйся.

— Отпустим сего мужа в палестины своя? — задал еще один вопрос Амвросий.

— Отпустим, бумагами снабдим, дабы их не признали за бродяг, не помнящих родства. Коней бы надо дать, лопотину, денег, и пусть идут в свою землю обетованную,— предложил дед Михайло.

— Ну тогда добре, можете гулять. Степка, иди сюда... Это мой внук,— повернулся Амвросий к Андрею,— бери сего мужа и отдыхайте.

Андрей попросил Степана сводить его к Варе, поговорить еще с лекаркой.

Лекарка встретила Андрея на пороге, пропустила, тихо сказала:

— Водила ее в баню, не шумите, спит. Оклемается. Молодая. Дитя жаль. Первенца скинуть — можно и без детей остаться. Но будем молить бога... Погуляйте, чуток позже заходите.

— Как вы в этой глуши живете? — спросил Степана Андрей.

— Как все, ежли не лучше. Пушнину, хлеба, мясо возим на ярманку. Правда, все тайком, через других людей. Но не жалуемся. Воевать, то сила не та. Сдаваться на милость царю — тожить душа не лежит. Так и крутимся.

Зашли к Варе. Она всплакнула, но Андрей ее остановил:

— Не плачь, живы, и ладно, остальное приложится. Поправляйся, и пойдем дальше.

— Боюсь я дороги, Андрей! — выдохнула Варя.

— Пройдем, должны пройти,— не совсем уверенно ответил Андрей.

Две недели провели Андрей и Варя у раскольников.

Живут не в пример другим чисто и богато. В крепости до полсотни домов, каждый дом — это тоже крепость: толстые стены, узкие окна. В домах чистота и прохлада. Полы застланы половиками, на окнах вышитые занавески, и конечно же у всех иконы старого письма. Есть и новые, но их писали ученики Михайлы Падифоровича. Да и люди ходили прямо, не горбились, как пермяки на своей земле. Сытые, уверенные в себе.

— Живете ладно,— уронил Андрей.

— Как бог пошлет, пошлет мира, еще будем жить лучше.

Андрей между тем думал: «Ежли и не будет Беловодья, то можно поставить свое, по образу и подобию раскольников. Но при этом надо жить общиной, как живут раскольники. Тогда можно и подняться на ноги».

Гостей провожали Амвросий, дед Михайло, напутствуя быть осторожными и мудрыми. До тракта их проводят Степан и Евстигней. Они уже ждут в отдалении.

— Прощайте, даст бог, увидимся, коли что! — поклонился Амвросий.

— Трогайте, да с молитвой, да со светлой улыбкой на устах. Ежли человек улыбается, то и стрелу грешно пустить. Прощайте!

Ехали молча, таежный народ не любит разговаривать в тайге. Ехали долго, почти пять дней, да все по тропе, которая забегала в такую глухомань, что и солнца не было видно. Все вооружены. Даже у Вари пистолет. Не зверя боялись путники, а человека лихого, жандармов.

У деревни ждали, когда припадет к тайге солнце и закатится за нее. Стемнело. Степан постучал в высокие ворота кнутовищем. Из-за ворот спросили:

— Кто шествует?

— Дух святой,— ответил Степан.

— Въезжайте,— распахнул старец ворота.

— Евстигней, а ты чего же отстаешь?— повернулся Степан к провожатому.

— Забегу к своим, счас вернусь.

Расседлали коней, задали корм, дед провел гостей в дом, быстро сгоношил застолье, и не успели сесть гости к столу, как по ступенькам застучали сапоги, звякнула сабля.

— Урядника бог несет. Прячьтесь в клеть! — крикнул старик, но уже было поздно.

— Этот вот убил Исайю! — показал Евстигней на Андрея. — Он и жёнка его беглые с каторги.

— Евстигней, ты с ума сошел! Замолчи! Не лги! — закричал Степан. — Как ты посмел пойти супротив братии? Ведь ты тоже говорил, что Исайя убит праведно?

— Исай мой дед родной. Говорить говорил, но простить не простил. И не прощу! — орал Евстигней.

Урядник усмехнулся и сказал:

— Исайю я знаю, человек с придурью, но ежли вы признаетесь, что убили, должен арестовать. Закон, а его нельзя переступить. Руки! — надел наручники на руки Андрея.

— Погоди, Поликарп Романович, не дело творишь. Ты ить приставлен здеся нашими, чтобыть при случае знак подать, тебе за то деньгу платят,— быстро заговорил старик.

— А ваших я не трогаю, пусть себе шествуют своей дорогой. Эко дело. А этих, уж не обессудьте, должен передать по начальству. Евстигней-то грозил мне, что, мол, смолчу, то он меня на чистую воду выведет, а мне мундир и должность терять не с руки. Не с руки. Потом, я за каждого беглого получу по пятерке. Деньга, и немалая. Пошли, господа. А ты, Евстигней, дурак. Себя под нож подвел. Дед дедом, но о своей голове подумал бы. Попала птичка ноготком, пропасть всей птичке. Ха-ха-ха! Подай-ка сюда руки. Вот так и ты закован.

— Но ить я хотел тебе помочь, ить ты тожить мой дядя? Рази же так можно?

— Как тебе было можно, так и мне. Супротив кого пошел? Супротив Амвросия? Да наш Исай давно мозгами и телом сгнил. Висеть тебе на суку. Вот так в кандалах и передам Амвросию. Ха-ха-ха! Племянничек!

— Боже, не успели одну напасть отвести, вторая сваливается,— простонала Варя, упала на колени перед иконами, но урядник ее поднял.

— Пошли, пошли, не мешкайте. А ты, Степан, передай Амвросию, что я службу веду справно, за Евстигнея, коий посидит у меня в каталажке, пусть шлет десять рублей золотом. Тогда отпущу на все четыре стороны. Племяш ить, дешево отдавать не собираюсь.

— А мы дешево брать и не будем,— посуровел Степан. — Вот тебе пятнадцать рублей золотом — и Евстигней наш! Согласен?

— Как не согласиться? Согласен.

— И вот за наших гостей тебе по десятке золотом, и тут же отпускай на все четыре стороны.

— Тут и по десять не продам. Давно я беглых не ловил, начальство косится на меня. Этих не продам! — загородил собой Варю и Андрея урядник. Он почувствовал силу этого паренька. Пожалуй, будет похлеще Амвросия наставник. Его на место Амвросия метят.— Пошли, пошли, Евстигней ваш, а эти мои. Прощай, Евстигней! Познаешь крест предателя! Ха-ха-ха!

8

На берегу Иртыша полоскались густые дымы. Покатые крыши землянок, что прилепились к горушке, мирно дремали под солнцем. Бурно катила свои воды река. Мало пути прошли переселенцы. Пришлось рано встать на постой, строить временную деревню. Построили и лишь тогда рассмотрели, как широка долина Иртыша, как далеко голубеют горы. А в долине буйно растут травы, пахотной земли непочатый край. Паши, не ленись. Под боком тайга...

И невдомек Меланье Силовой, что перед их носом проскочили на конях Андрей и Варя. Она стоит вечерами на крутом берегу, где свили свои гнезда стрижи, и из-под ладони смотрит вдаль, не покажутся ли ее дети. Сердце-вещун не раз подсказывало, что с ними случилась беда, а вот какая, не говорило. И так каждый вечер. Однажды она сказала Феодосию:

— Сгинули наши дети! Видит бог, сгинули!

— Дура! С чего это ты взяла? Живы они. До Даурии, может быть, и не добежали, но где-то рядом. Там и встретимся.

— Нет, не встретимся... Болит и нудится сердце, вещает, что в беде они. Ночами плохие сны вижу, будто они в кандалах.

— Ты говоришь такое, как будто сама с ними идешь.

— Ежли бы шла сама, то ведала, что с ними. Может быть, и беду бы отвела. Молоды ведь. Здесь целые обозы пропадают, казачьи отряды исчезают, а эти двое, пра, сгинули. Знать бы все о Сибири, то так далеко бы не отпустила. Шутка сказать — встретимся в Даурии, будто в деревне соседской.

Переселенцы не волновались, как волновалась мать. Раз есть уговор встретиться на Усть-Стрелке, там и встретятся. Если нет, то и верно сгинули. Конечно, здесь пропасть — раз плюнуть. Но все в руце божьей.

А мимо шли этап за этапом, только и было слышно это сосущее сердце: дзинь-трак-трак! Дзинь-трак-трак!..

Права была Меланья, мимо их деревеньки в ночь прошел этап, где был закован в кандалы Андрей, а на жандармской телеге ехала Варя...

Первое время забегали к пермякам мужички-сибирячки, они рады были дать в долг пшенички, картошки, овса и сена, но Феодосий и слышать не хотел о долгах. Отвечал за всех:

— Обождем в кабалу лезть. Мы ить дальше будем топать.

— Неужели не надоело вам мерзнуть? Ставьте здесь деревню и живите,— удивлялись сибиряки.

— Знамо, надоело, но ить мечта не кошка, за окно не выбросишь. Будем идтить дальше — и весь сказ, а кто не хочет, тех не неволим,— усмехаясь, отвечал старик.— За нас не полошитесь, сами нужду отведем. Кабала — дело нудное.

— А что то за мечта? — пытали сибирячки.

— Пробиваться в Даурию, там ставить свой завод, торговлей заниматься. Мы ить не так уж бедны, как вы думаете,— смеялся Феодосий.

Сибиряки ушли и больше не приставали к этому табору. А на таборе жизнь шла своим чередом. Ожила ребятня под жарким сибирским солнцем — купаются, греют себя, набирают сил для еще более дальней дороги. Над рекой шум и гомон. Пищат, квакают, барахтаются на мелководье.

Но поредела чуток силовская ватага. Первым отделился Максим. Завел строительство; дом рубит громадный, высокий, с размахом. Не хочет идти дальше Максим с отцом. Отец стал ему противен: каждое слово раздражает, каждое дело неумным кажется. Не могут ужиться два медведя в одной берлоге. Максим рвется к семейной власти, отец стоит у него на пути. Да и сила, да и ловкость есть у Максима и его жены. Дети вон уже подрастают, помощниками будут. Развернется Максим на вольной сибирской земле. А Феодосий даже рад, что Максим отстанет от обоза. Уже дважды дрались, хватит. Многие отделились. Жаль, но что поделаешь?

— Зачем ловить журавля в небе, когда уже в руках синица, да жирнущая?

— А затем, что здесь, у тракта, вы не останетесь вольными. Подать и рекрутчина — все будет ваше. А мы свое, Беловодское, царство построим!

— Пусть, пусть живут, Феодосий; не уговаривай,— останавливал горячего мужика Сергей Пятышин.

Пятышиха орала, что тоже останется. Хватит и того, что половину детей растеряли в зиму.

— Те умерли,— значит, так надо, судьба. Умрут эти, тожить не кляни меня и бога, тожить судьба. Но думаю, что эти выдюжат. Окрепли, ко всему притерлись.

— А чем здесь не жисть, а? Рыбы полно, земли жирнущие, зверя в тайге пропасть, были бы ружья и сила охотничья.

— Нет, Параша, я дал слово Феодосию и от него не отступлюсь. Много прошли, еще больше пройдем, но чтобыть была полная воля, а не заячий хвостик...

Споры до хрипоты, но споры без драки. Спокойнее стали пермяки. Каждый знал, что при силе и желании можно здесь стать крепким мужиком. Не жалели, что их изгнали из дома. Так каждый и говорил: «Славно, нет худа без добра».

Колосились хлеба. Богатейший выдался урожай. Те, кому ехать, радовались; те, кто оставался, тоже были рады-радешеньки. Ведь все земли достанутся им, и хлеба на зиму хватит. Можно приработать у богачей, но без залога.

Феодосий с Пятышиным покупали телеги. Порешили за осень и зиму дотопать до Байкала. Продать и купить сани. Телеги покупали старые — так дешевле. Пятышин обшивал колеса ободьями, чинил передки, ковал новые шкворни и оси. Помощников было много, дело спорилось. Все шло к тому, чтобы сниматься с насиженного места, а тут бабий стон, плач:

— Не будем трогаться, детей жалко. Остатние умрут.

— Цыц! Мокрохвостки! Мы их-то жалеем, вас, дур, жалеем, чтобыть все могли пожить вольно, широко, как живали наши в старину. Еще одна зима — и дома. Подюжат!

Подюжить еще одну зиму. От этих слов озноб по телу, тоска на сердце. Снова придется малышам вспоминать теплые ночи, шорох тараканов, писк мышей под половицами... И запах, терпкий запах хлеба в печи, теплый запах теленка в доме и парного молока...

Везли пшеницу на мельницу к сибирякам. Дороговато они брали за помол, но что делать, много не намелешь ручной мельницей — мутовкой. Мололи, пуще прежнего готовились к самому дальнему переходу, к палаткам подшивали еще одну подкладку; покупали, если не дорого, шубы, пимы вместо лаптей. Хлеба здесь в цене, лишнее продали, вот и можно немного вздохнуть, выбросить лапти. Но главное — дети: их одели теплее, чтобы сохранить. Им жить, им продолжать строить то царство, в которое вел мужиков Феодосий. Должны пройти без урону...

Весело постукивали колеса телег по Сибирскому тракту. Оставались позади деревни и города. Бежал обоз навстречу зиме, все дальше на восход.

— Погоняй! Вона, всходит, навстречь ему идем! Хошь на вершок, да ближе будем к солнцу! — шумел Феодосий, подгоняя лошадей.

Тряслись детские головенки, улыбались мордашки. Не будь зимы, можно бы ехать. Но коротка сибирская осень, скоро поду-

ли ветры, загудела тайга, пошли снега. Зима застала пермяков под Барабинском. Дотянулись до ярмарки, продали телеги, купили сани. Впереди Томск, а дальше Иркутск, а дальше Даурия, а там и до мечты рукой подать...

Зимы... Зимы... Сколько вас простонало над обозами ссыльных! Сколько слез материнских упало в ваши снега, застыло на ветру и морозе! И еще будет много, очень много. Задубели от морозов души людские. Задубели. Выбелились снегами бороды. Выбелились.

И снова, как в прошлый год, за обозом пристроилась волчья стая, выла ночами, порой и днями, нагоняла страх и тоску.

Думали пермяки, что этот переход будет легче. Но ничего не дается без утрат и труда. Даже летом идти по тракту тяжко и нудно, не одна рубашка сопреет от дождей и пота, десятки лаптей разобьются вдрызг. Однако в эту зиму детей умирало меньше...

Но вот волки наглели. Это были крупные сибирские волки. Они даже днем не боялись показаться людям на глаза. Норовили напасть на воз, который приотстал от обоза. Ночами ставили караулы. Караульщики стучали в тазы, доски — отпугивали зверей. С ночлегом так же было трудно, как и в первую зиму: на постоялых дворах не протиснуться. Снова ставили палатки у кромки тайги, где дров больше. Научились, старались ставить палатки за ветром, в затишье.

О стае волков — эта будто пришла с севера Сибири — говорили страшное: на пути своем разорвала мужика, зарезала коня, напала на обоз вятичей и тоже угнала двух коней.

Фома купил Лариону ружье. Ружье доброе — винтовка с восьмью нарезями, било на двести сажен с большой точностью. Но заряжалась та винтовка с дульной части. Хлопотное дело. Сначала надо было насыпать порох на полку, придавить его подушечкой, чтобы не стряхнуть, потом засыпать мерку пороха в ствол, забить пыж деревянным шомполом, затем смазать ствол изнутри маслом, забить пулю. Но не абы как: если прибьеш пулю к пыжу плотно, то ружье при выстреле обвысит, слабо — обнизит. Винтовка тяжелая, приходилось ставить на сошки.

Ларион несколько раз стрелял в волков, если они подходили на выстрел. И вот снова он долго и кропотливо устанавливал ружье, волки за сто сажен. Взвел наргонь, прицелился. Все замерли. Бабы даже уши пальцами позатыкали. Нажал на спуск, курок чиркнул по острому кремню, сыпанули искры. Но осечка. Поправил кремень, снова изготовился к выстрелу. Рыкнул вы-

стрел, вонючим порохом обдал людей. Волк заметался на снегу, остальные бросились в лес.

С ревом, рыком бросились мужики к добыче, утопая выше колен в снегу. Наша взяла. Ларион не побежал. Не пристало охотнику бежать сломя голову за такой добычей. Гордый, ждет, когда бросят к его ногам волка. Жаль, что отдали Григорию брошенное им ружье, теперь бы тоже сгодилось.

В Сибири винтовки в цене: самая лучшая стоит пятьдесят рублей. Где таких денег набрать. У Лариона винтовка средней цены, но тоже ладная.

Ларион важничал в своих охотничьих доспехах. Смотрелся внушительно — при своем малом росте. Широкий ремень через плечо, на нем подвешен рог с порохом, тут же заткнуты готовые заряды с порохом, есть заряды-«скороспелки», они уложены в костяные трубочки, эти на случай крайней опасности. Есть там же прокатные пули. Их не забивают шомполами, а просто опускают в ствол, тоже при крайнем случае. Такие пули, на охоте, охотники держат во рту. На том же ремне сумка с пулями, пыжами, запасными кремнями.

Доспехи не из легких, но Ларион не снимал их с себя. Ружье тоже нес на себе, сошки только лежали на санях. Спал в обнимку с ружьем, а не с Софкой.

Волки скоро поняли, на каком расстоянии их может достать пуля, близко не подходили, маячили вдали. Перестали они бояться грохота тазов и досок. Их глаза можно было видеть за кострами, две холодно светящиеся точки.

Однажды к вечеру сорвался ветер, порыжело солнце, застонала тайга. Пермяки свернули в лес. Начали готовиться к ночлегу. Феодосий приказал крепче привязать коней, коровенок.

— Чует мое сердце,— сказал он,— что нонче волки нападут. Ларька, тебе стоять на часах. Митяй тебе в пару, чуть что, стреляй. Мужики, готовьте больше смолин.

— Надо положить больше костров вокруг табора,— советовал Пятышин. — Огня каждый зверь боится.

— Не всякий,— рассудил Феодосий.— Голодный зверь — бешеный зверь. Потому примеряйте по силе дубинки и будьте готовы к бою.

— Братцы, отдадим на закусь волкам Митяя. Пусть они похрамустят его костями,— не унывая, хохотал Воров-старик.

— Лучше Марфу!.. В Марфе до восьми пудов будет. Вот уж погужуются.

— Марфу нельзя. Марфа, чуть что, нас же, сопляков, защитит. Одна сотню казаков разгонит. Да и на другое дело может сгодиться...

— А ну, нишкните! Без Марфы давно бы вы подохли, разлетаи,— рыкнула Марфа, вытесывая себе дубину чуть ли не из целой березы.— Вот этим колом пройдусь по вашим хребтинам, сразу захрипите!

Лагерь притих, насторожился. А ветер выл, метался, шальной, между деревьями. Люди не спали: затаились бабы, мужики, у каждого дубина, под руками смолье для факелов. Бой будет, бой должен быть. Голодные люди — и сытые волки. Чья возьмет? Ларион и Митяй поддерживали костры, зябко водили плечами, поглядывали в тайгу. За кустами и деревьями волки, пока невидимые, крались к огню.

Ларион перестал стучать в таз, сел на бревно, пытал Митяя:

— Степан Воров собирается ли жениться на Любке?.. А?

— Откель мне знать. На мой погляд, они уже давно оженились.

— Благословения еще не просил у тебя?

— Да нет еще.

— Смотри, кабы не случилось так, как со Стешкой Силовой. Ты уж не мешкай, нажимай на будущего зятя. Как? Скажи Марфе, она живо окрутит их. Хошь, позову Степана?

Ларион привел Степана.

— Ну, Степан, ответствуй нам, баловался ли ты с Любкой?

— Дык ить...

— Не дыкай, а дело говори.

— Отдайте за меня, дядя Митяй, Любку.

— Отдаю,— махнул рукой Митяй и насторожился: — Тиха, кажись, волки. Ларька, стреляй! Вона волки прут.

Ларька выстрелил. Захрапели кони, заревели коровы и начали рваться с привязей. После выстрела один из волков ткнулся головой в снег, остальные не остановились, лавиной шли на людей. А лагерь уже был на ногах. Люди совали смолины в костер, они тут же вспыхивали. И дружно, скопом бросились навстречу волкам. Впереди всех Марфа с дубиной. Волк прыгнул на нее, короткий взмах, и волк покатился с раскроенным черепом. Еще взмах — еще один серый с воем откатился к костру. Мечутся факелы. Стон, рев, вой, удары дубин. Волки прянули назад. Люди неслись за ними, угорелые, ошалелые от схватки, метали в зверей горящее смолье, тонули в снегу.

Ветер притих. Еще сильнее и жарче пылали костры. От дыма и огня стала красной луна, чуть поблекли звезды. Мычали коровы, храпели лошади — волновались. Люди радовались победе, пересказывали, у кого как было. Одна Марфа молчала, она смотрела на всех, как мать вселенская, и тихо улыбалась. За-

чем хвастать, ведь убито всего три волка, два из них Марфины. Волки проучены ладно, не скоро нападут на табор, так думали победители...

Потрескивала от мороза тайга. Бурно гудели дрова в печурках. Ушли волки. Лагерь уснул, утомленный и спокойный. А зря. Забыли люди себя, забыли, как голод гнал их на смерть, на отчаянное безрассудство. Почему бы зверям не пойти на такое? Почему?

Вот хрустнул снег под лапой, волки зашли из-под ветра. Кони пока не чуют их запаха, не слышат даже осторожных шагов.

Митяй вышел до ветра. Караул-то сняли. Зевнул, перекрестил рот — и чуть не упал от страха. В нескольких шагах от него стоял волчина! Блестели глаза, скалились зубы. Костры притухли, лунный свет лениво бежал по снегу. Митяй прянул в палатку и заорал что есть мочи:

— Волки! Волки снова пришли!

Загомонил табор, сонные люди выскакивали на снег. Ларион выстрелил, но промазал. Волки бросились на коней. Порвала привязь Митяева кобылица, метнулась в тайгу. Звери бросились следом. На крик людей они не обращали внимания. Свое взяли. Но и люди не хотели отдавать своего, бежали за волками, орали, гремели кто во что. Но все тщетно. Волки угнали лошадь.

Люди вернулись назад. Вздыхали, пожимали плечами, старались не смотреть в глаза друг другу. Пусть лошадь и считалась Митяевой, но работала она на всех.

Снова у костров караульщики, но волки теперь уже ушли насовсем.

Над тайгой занимался рассвет. Тихий, морозный. Ветер ушел за горы. Потрескивают кедры, шумно дышат люди.

— Такого я еще не видывал, чтобыть волки вдругорядь напали,— сказал Феодосий.

— Пото и напали, что Ларька убил суку. За нее отомстили. Без суки-вожака разбредется стая,— ответил Воров, показывая людям добытую волчицу.— Помните мой сказ, когда дома на меня напали волки? Пошто я жив остался, а пото, что волчица жрать меня расхотела, лишь помочилась мне на голову, кою я закрыл руками, и увела стаю. У них всему голова — сука,— заливал Иван Воров, теребя заиндевелую бороду-лохматень.— Нельзя было трогать волчицу.

— Откель мне знать, кто это был, волк аль волчица,— вяло отбивался Ларион.— Может, поначалу надо было под хвост заглянуть, а уж потом стрелять?

— Ладно, утренничаем и трогаем. Иване, свежуй волков, шкуры купцам продадим, авось возвернем лошадь. Хорошие шкуры!

Ночи, волчьи ночи! Светитесь вы голодными глазами зверей, прыскаете потерянной звездочкой одинокого костра среди тайги, катитесь по горбатой земле, несете холод и тревогу...

Обоз остановился в Рассошихе. Деревня большая, богатая, судя по крепким воротам и домам. Здесь жили семейские староверы. Они радостно приняли ссыльных. Да еще попричитали: мол, куда вас гонят, сердешных, померзнете, дальше еще лютей будут морозы, детей сгубите. Напоили чаем, духмяным хлебом угостили. Добрые люди, жалостливые люди.

Но Феодосий недоверчиво отнесся к такому приему, караулы у возов и коней не снял. Митяя, как самого дюжливого к морозу, поставил сторожить муку. Ее было пять возов на всю общину.

Митяй пришел к возам, завернулся в тулуп, лег в сани и скоро сочно захрапел. Спит крепко; если уж может спать на ходу и стоя, то в тулупе и дурак выспится. Сторожит Митяй самое дорогое, что может быть у пермяков. Великое богатство сторожит. Это сытность, надежда. Заварят бабы затируху или болтушку, напекут лепешек, и душа не болит. В брюхе сыто,— значит, и телу тепло.

Митяй сквозь сон слышал, как скрипели чьи-то шаги, чувствовал, будто его куда-то везут. Проснулся, высунул голову из тулупа, сонно закричал:

— Кто тут балуется? Вот встану да как пыльну из ружья, то знать будете!

— Батюшки, дэк ить тута человек! Тикайте, люди!

Митяй долго соображал, где он. Понял, что случилась беда, муку прокараулил, поднял крик. А Феодосий уж ревел во дворе, что муку украли. Митяя тоже.

— Митя-а-а-ай! — громче испуганной коровы орала Марфа.

Митяй надсадно волок воз, единственный воз, чтобы упасть в ноги людям, выпросить прощение за оплошку.

Да что уж теперь, бей Митяя, ори на Митяя — не поможет. Бросились пермяки по дворам, начали расспрашивать, не видел ли кто возов с мукой, но хозяева пожимали плечами, откровенно усмехались в растерянные лица, замочаленные бороды.

Опустились плечи у пермяков, враз запали глаза: ведь без муки, без хлебного — смерть! А в Сибири зимой легче купить пять возов мяса, чем пуд муки.

— Поймите, люди-и-и-и, ить без хлебного пропали мы! Отдайте муку. Пошутковали, и будя.

— А каки могут быть шутки? Хлеб увезли всерьез,— смеялись рыжие, синие, зеленые, карие глаза.

— Как же нам быть?

— Не знам, чего не знам, того не знам. Худой сторож был.

Побила Марфа Митяя. Броситься бы и мужикам на Митяя, излить горе в дикой злобе. Пустое...

— Боже, ну что теперича делать? Денег нет, на лопотину пустили. Фома, могет быть, ты раскошелишься?

— С чего? Тоже больше половины растряс. Дотянем до Красноярска, там и подумаем, — жевал рыжий ус Фома, хмурился.

— Э, зряшно вы мечетесь, мужики, пропала ваша мука,— на свой манер утешала пермяков старушка.— Вона, нюхайте, от каждой избы блинами пахнет. Из вашей муки пекут. Наше село издавна славится воровским, хоша мы и молимся богу. У тамбовцев украли половину коней, у вятичей хотели украсть воз муки, но обмишулились и украли воз с лаптями да с железом. Одних оставляют без коней, других без обутков, вас без хлебного. Плохи наши люди. Шибко плохи. Украли, и пожаловаться вам некому, потому все здесь заодно, даже урядник.

— Бабушка, покажи нам воров!

— Ха-ха-ха! Да вот она, вся деревня, перед вами. Все воры. Это же не люди, а гужееды.

— А тебе-то дали аль нет муки?

— Как же не дали, знамо дали, две меры отвалили. Откажись я от той муки, то седня бы сунули головой в прорубь. Коль что, и свово не пощадят. Поезжайте, бог поможет...

Снялся обоз. Над обозом настороженная тишина. Не кричат на коней мужики, не судачат бабы, молчат и дети. Горе неутешное, горе-злосчастье. Остался возок муки, да и тот неполный, на полмесяца, врастяжку, хватит. А там хоть все ложись и помирай.

Фома ехал позади обоза на коне, злой, хмурый. Он и в доброе-то время редко улыбался, а тут и вовсе озверел, ушел в себя. Все беды его от мужиков, и бунты, и ссылка. А тут еще муку украли. А выходит, что мужик мужику не добрый дядя, а волк сибирский.

Поднял глаза Фома, зло прищурился, увидел у скирд соломы табун гулевых коней. Добрые кони. Стегнул плетью жеребчика, обошел обоз, догнал Феодосия, крикнул:

— Иди на час! Дело есть!

Показывая кнутовищем на табун, Фома в чем-то долго убеждал Феодосия.

— Нет, нет, ты сдурел, Фома! Нельзя такое творить! Там и сторож есть. Вона кибитка стоит.

— Чепуха! Чуть что, и сторожа торкнем. Они не пожалели нас, наших детей, пошто же мы жалеть должны. Не думай, мне не жаль своих денег для общего дела. Нет. Но эту свору надо проучить.

— Надо с мужиками посоветоваться. Так просто, с кондачка неможно решить,— начал сдаваться старик.

Собрались мужики на совет. Нечестивый то был совет. А что делать? Фома твердо сказал:

— На обиду надо отвечать тем же! Не погибать же нам в дороге. Ну наскребу я денег на воз-другой, а дальше че? У нас взяли, мы возьмем свое! — рубил Фома.

— Дело говорит Фома,— согласился Пятышин.— Палка завсегда бывает с двумя концами. Собирай, Фома Сергеич, ватагу.

— Мне пяток смелых парней, и будя. Пойдет мой Ларька, Степка, Ромка, Ивана прихватим... Василиса, открывай мой сундук, доставай купеческий наряд. Сергей Аполлоныч, беру с собой твою кошевку, вид должен быть купеческий. До Красноярска нам осталось полтора дня ходу. Мы же налегке, то и за ночь добежим.— Глаза у Фомы горели недобрым огнем. Помолодел, распрямился, от этого чуть вырос, крутит усы, оглаживает бороду.

— Ждать будете нас под городом! Ну, с богом! — махнул Фома.

Обоз ушел. Фома с ватагой зашли в лес, грелись у костров. Наблюдали за табуном. Ночью выехали из леса...

За горой выли волки. Копошились в небе звезды. Мела поземка.

— Почему волки не нападут на табун? — спросил Степан Воров.

— Ежли в табуне хороший жеребец, и сто волков не страшны. Кони их разгонят, залягают, затопчут.

Пахнуло дымком.

— Ларька, ты держи сторожа на мушке. Зря не стреляй. Ежли вылезет из своей конуры, то пыльни, мать ему так! Ребята, отжимайте осторожненько табун к лесу. Я осторожно подъеду и заарканю жеребца.

— Тятя, я боюсь стрелять в человека! — загундосил Ларька.

— Не дури! Человек — это мошка, хлопнешь, и нет ее. Подведешь нас, голову сыму! Понял?

Кони тихо всхрапнули, подняли головы, насторожились. Жеребец заволновался, забегал вокруг табуна. Парни медленно от-

жимали табун к лесу. Фома метнул аркан, и жеребец забился в петле, заржал. Но ему на спину прыгнул Степан. Иван Воров ловко накинул узду, схватив жеребца за ноздри, чтобы не бился: жеребец притих. Фома бросил седло на спину вожака, оседлал, прыгнул в седло, толкнул под бока жеребца и повел табун к тракту. На тракте каждый поймал себе коня, заседлал. А позади грохнул выстрел, ветер отнес его звук к тайге, заглох в сугробах и мерзлой хвое.

Ларька догнал своих. У него тряслись руки, заикался, жалко кривя рот, говорил:

— Убил я его. Зарыл в снег. Не скоро хватятся...

Все молчали. Даже отец не ободрил сына.

Погнали коней. Ночью видели табор своих пермяков. Недосуг. Утром уже были в городе. Фома лихо подкатил на крытой кошевке к ярмарке. Ему помог выйти из нее Иван. Тут же набросился на ярмарочного смотрителя, что, мол, в загонах не чищено, приказал своим работникам вычистить загон, задать сено. Иван Воров, вот где пригодился его талант комедианта, гнулся перед Фомой чуть ли не до земли, заискивающе улыбался. Народ, видя такую уважительность к купцу, тоже начал кланяться Фоме. Кто знает, что это за купец и откуда он? Ярмарка кипела, толпы покупателей то наплывали к загону, то откатывались назад. Купца нет, о чем говорить, ушел для сугрева пропустить чарочку. И чего мешкает? А кони хороши, особливо жеребец. А, черт! Чего это он мешкает?

«Работники» чистили коней, чтобы вид был, товарный вид. Купец строг, за нерадение может и кнутом отстегать. Стараются.

— Откель пригнали?

— Из Барабинских степей,— отвечал Иван Воров.

— Далеконько, а кони быдто только с нагула. Добрые кони, из Барабы кони утяжистые. Да и табун-то молодой.

Наконец у загона собралась огромная толпа. Фома посмотрел в оконце, вышел из кабака. Потянулся. Разноголосье, как на любом торге: одни хвалят коней, потому что покупать не будут, другие хают, приглядываются, выбирают себе жеребчика аль кобылицу. Иван Воров орал во всю мочь:

— Куда прете! Вот прибудет Евстафий Маркелыч, тот все и обскажет. Тады и торгуйтесь! Денег без егошного разрешения брать не можем, головы открутит, как курятам. Много ли у Маркелыча коней? Да мильен, а может, чуть больше. Этих для пробы сюда пригнали. Не напирайте, мать вашу, прясло уроните, кони разбегутся!

— Идет! Идет! Ишь ты, кривоногий, хватил сивухи, морду быдто огнем опалило.

— А ну, сермяга, отвали чуток! Счас почну торг! — молодо гремел Фома, будто вернулся в былое.— Проходи, кто с деньгой, покупай. Задарма отдаю!

— Мне вона бы того жеребчика? А? Сколько просишь, господин купец?

— Аль цены моих коней не знаешь, лапоть? Наши кони по всей Сибири идут по пятнадцать рублев штука. Гони серебрянку и катись! Ну, сермяга, налетай!

— Дороговато; кажись, жеребчик-то подсеченный?

— Смотри, у тя глаза есть, все кони молоды, еще в плуге не были, а ты — «подсечен»! Прочь с глаз моих!

— За вожака сколько?

— Полста, и ни гроша меньше.

— Стой, купец! Неладно торг ведешь, и с кем ведешь! Сколько у тебя коней? — подошел мордастый купчина-барыга. Одет в волчью шубу, на голове такая же шапка.

— Сто, да еще один! — ответил Фома.

— Оптом беру. За сколь отдашь?

— Цена одна, по пятнадцать.

— Так не пойдет. По десятке за голову, за вожака, так и быть, сорок дам.

— Проходи, такой купец мне не с руки!

— Десять с полтиной!

— Нет, четырнадцать!

— Одиннадцать с полтиной!

— Нет. Тринадцать с полтиной. Смотри, кони прошли тыщу верст, а досе лоснятся. Берег, жалел, зряшно не гнал.

— Двенадцать! — прибавлял по полтине купец-барышник.

— Тринадцать! — так же сбавлял и Фома.

— Куплены!

— Проданы! Эй вы, криворотые, вот вам по полтине и идите греться,— бросил своим «работникам» по монете Фома.— А ты, купец, ставь своим.

— Не учи! Эй вы, хари пропитые, а ну сюда. Коням овса, тотчас же и уезжать будем, вот только чуток обмоем торг с купцом.

— Ай спешишь, могли бы и ночку посидеть в ресторации.

— Нет, купец, в Абакане поднялась цена на лошадей, по тридцатке сбуду твоих.

— Обошел, сволото! Ну погоди, нагоню я в тот Абакан тыщу коней, собью с тя спесь-то.

— Пока пригонишь, а я уже собрал тыщу. Готовь коней! Да смотрите у меня! — погрозил барышник своим работникам.

Пропущено по стакану водки, деньги пересчитаны, можно и распрощаться. Фома поклонился купцу и первым вышел из кабака.

На ярмарку уже втягивался обоз пермяков. Фома тут же сторговался с купцом-лабазником, купил у него шесть возов муки, десять ружей, разного припасу к ним. Богатый купец. Все это погрузили, поспешно тронулись дальше. Фома снова надел мужицкий полушубок, валенки, подвязался кушаком, сунул топор за пояс — и нет того купца. Да еще чуть бороду ему обхватал кузнец Пятышин, и не узнать.

К вечеру рассошинцы прискакали на ярмарку. С ними пристав, казаки. Шум, допросы, — мол, кто-то украл коней и угнал их сюда.

— Видели, ладные кони, купил их барышник и угнал будто бы на Алтай.

— Обличье купца, который продал коней?

— Дородный, бородища до пояса, голосище как иерихонская труба.

А когда узнала ярмарка, что украли коней у рассошинцев, то вовсе завели следствие в тупик: одни говорили, что купец был толстый, рослый, ко всему красивущий — и не обсказать; другие — что малого роста, но черняв, как цыган; третьи, что будто купец был худущий, высокущий, водку жрал прямо из ведра, как воду.

— Поймите,— почти стонал пристав,— они человека убили!

— Рази рассошинец человек? Сволочь собачья, а не человек,— матерились мужики.

— Э, что говорить, эти рассошинцы моего брата убили, пустили под лед голенького. Не прознали кто. Эти праведно наказали рассошинцев.

Пристав и его помощники запутались. Кого ловить? Где искать преступника? По подсказке бросились по следам пермяков. А те разбили лагерь у леска, спокойно готовились ко сну.

— Вы были в Рассошихе?

— Не минуешь, дорога одна. У нас там украли четыре воза муки. Воры эти рассошинцы. Мы слезно просили их вернуть нам ворованное, потому как далеко идем,— не вернули.

— Сколько у вас возов муки? — пытал пристав.

— Шесть с хвостиком. Погодите, погодите, братцы, дэк ить это же рассошинцы! Узнаете ли того, вона в собачьей шапке? — напрягся Феодосий.

— Они! — заорал Воров.— Может быть, вернуть мучицу приехали? А?

— У них украли коней. Кто-то украл?

— Свекровка б... снохе не верит! — рыкнула Марфа.— А ну хватайте дубье, мужики, отомстим им за наши слезы! — Первой схватила дубину и бросилась на рассошинцев.— Ваше благородие, вы чуток посторонитесь, мы им счас начистим морды, чтобыть блестели, как тульские самовары! — размахивала Марфа страшенной дубиной, отчего пристав даже чуть подался назад. Опомнился.

— Стой, баба, или я тебя арестую! А вы, вы тоже хороши,— повернулся пристав к рассошинцам,— все на вас показывают как на воров и убийц! Вон отсюда! Прибуду в Рассошиху, разберусь, как и что! — взревел пристав и двинулся на рассошинцев. Те вскочили на коней, пустили в галоп.

— Воры, разбойники! Сами воруют, а на других сваливают! — орали вслед пермяки.

— Смеялись над нашим горем, пришел час и нам посмеяться.

Пристав для порядка проверил бумаги у ссыльных, хмыкнул, козырнул и уехал со своими помощниками.

Долго в лагере звучал смех и разговоры, радовались мужики и бабы. Но в то же время косо посматривали на Лариона, убил человека. Это-то и приглушало смех.

— Спаси тя бог, Фома Сергеич. Теперича нам сам черт не страшен, мука, ружья, деньги. Дочапаем до Беловодья. Дотопаем...

И шли пермяки, узнавали Сибирь и народ сибирский, радовались и огорчались. Сгодился им и бывший разбойник Фома Мякинин, здорово выручил ссыльных. Конечно, приятного мало, что на их совести смерть неизвестного человека. Но и рассошинцы могли бы понять, что кража муки для пермяков — смерть. И смерть не одного человека, а большинства. Теперь, если придется бежать к морю, то будет на что купить железо, семена, картошку и разную мелочь.

— Живы будем — не помрем! Дуй, не стой, пермяки! — хохочет и молодо прыгает Иван Воров.

— Добежим до синь-моря, найдем свое царство! — гремит Феодосий.

9

В Омск беглых пригнали ночью. Провели прямо в острог. В остроге шум и теснота, он вмещает всего двести человек. Но к весне набралось за триста. Это даже не острог, а казарма с махонькими, зарешеченными оконцами. Казарма поделена на

две камеры. Каторжане, беглые, ссыльные — все спят на голых нарах. Спят на кулаках, отсиживают свои мослы. В одном углу режутся в карты, в другом кого-то бьют по животу — режут банки проигравшему, а посредине каторжник устроил пляску с кандалами. У него получается здорово, это не просто пляска дикаря, это музыкальная пляска. Кандалы подпевают в такт.

— Эй ты, свежак, а ну плясать!

— Не умею.

— Учиться надо, дура, здесь без пляски сдохнешь. Откель?

— Из Перми.

— Эй, Сурин, ты тожить вроде оттель? А ну, кажись, ищо одного пермяка заволокли. Раскольник?

— Нет.

— Ну и хрен с ней, абы был человек. А ну, мурло, подайся назад, не точи кулаки на свежака. Знаем мы тебя, дурня. Сурин!

— Ну чего базлаешь? Дай ложки получить, проиграл энтому шулеру. Карты передергивает. Кого ты тут мне сулишь!.. Э, Силов, Андрей! Во дела!.. Андрей! Для ча сюда влез?

Силов узнал каторжника, который рассказывал им о Беловодье.

— Ты снова попал сюда?

— Попал, а че? Рази мне привыкать? Теперь снова погонят в Забайкалье. А там и рукой подать до Беловодья.

— Так ты еще не выбросил его из головы?

— Нет, Андрей, такое не выбрасывается. Такое на всю жисть. Пошли к нашим. Здесь воры, там у нас политика. С теми чуть живее, но однова — ложки, карты, ловля бекасов. Есть знатные охотники.

— Откель тут быть бекасам-то?

— Бекасы — это клопы, дружище, их здесь тьма. Клопы — наши вражины. Война им объявлена не на жисть, а на смерть. Братцы, примай своего!

Андрей повеселел. Своего встретил. Сунулся к нему бородач, космач, показал язык и, дохнув самогонным перегаром, бросил:

— Каторга! Гы-гы!

— Блаженный то, не боись, без вреда мужик.

Гудел, ржал мужицкими басами Омский острог. Утром всех повели в частную баню. В бане грязища, копоть, теснота, каторжане путались в цепях, матюгались. Хорошо, если кому-то удавалось вылить на себя шайку теплой воды, многие разделись, пообрали и снова вышли вон. Но Сурин — старый каторжник, он не спешил мыться, ждал, когда схлынет поток. Конвой кричал, чтобы быстрей кончали. Сурин орал в ответ:

— Дай вшу вымыть! Не боюсь я вашего карцера. Мойся, Андрюха! У них и карцера-то нет путящего.

После полудня разбили каторжан на три партии и погнали по Сибирскому тракту. На сто человек десять конвоиров. Жарило вовсю сибирское солнце, осыпало своими лучами голынь степей, лохматость сопок, зарывалось в сочных травах, расплывалось в речках.

Дзинь-трак-трак!

И так день и ночь, так все лето под дождями, жарой, нудьгой. Так до самой осени. А когда завыли ноябрьские метели, этап пришел в Акатуйскую тюрьму. Здесь содержались каторжане зимой, а летом мыли золото на прииске Карь. Содержались в той же скученности, холоде и злобе. Андрей однажды не сдержался и выматерил надзирателя. Его тут же бросили в карцер. Тот карцер считался самым страшным из всех тюрем Даурии. Андрея приковали цепью к стене. В такое же темное подземелье, какое было у немца на Урале. К нему часто спускался надзиратель и бил по лицу, наслаждаясь местью и безнаказанностью.

Варя жила в поселке. За постой стирала белье, пилила дрова, выполняла всю черную работу по хозяйству у сурового кузнеца-нарымца. Часто мыла полы у надзирателя, даже у начальника тюрьмы. Всех знала в лицо и по имени-отчеству. Упорно копила деньги, откладывала каждую копейку, мечтала о побеге с Андреем с каторги. Варе разрешили раз в неделю видеться с мужем.

С сопок зазвенели ручьи. Робкая зелень показалась на их покатых боках. Каторжан перегнали на Карский прииск. Пригнали еще одну партию с Нерчинского серебряного рудника, а с ней пришел и Ермила Пронин. Радостной была встреча! В лагере их теперь стало трое, не считая Вари. Андрей подружился еще и со студентом, который по ночам много рассказывал ему о петрашевцах.

Барак вмещал всего шестьдесят человек, но туда набивали до сотни. В каждой камере по тридцать. Нар на всех не хватало, многие спали под нарами, на холодном полу. Стонали от сырости во сне, проклинали тюремщиков, царя. Варя снова жила в поселке. Сюда же на лето переехал кузнец, который ковал кандалы для каторжан. Варя обмывала и обстирывала тюремщиков, старалась угодить самому преподлейшему человеку, чтобы не так жестоко измывались над ее мужем. Тюремщики говорили:

— Кто попал на Карь, живым не уйдет.

Каждый день кто-то умирал от цинги и ревматизма. Жили впроголодь: на день давали всего три фунта хлеба да чашку баланды в обед. Но места на нарах не пустовали: одни умирали, другие приходили. Чем больше умрет самых строптивых, тем спокойнее тюремщикам. Однако эти четверо пока держались, держались на одной надежде. Варя каждое воскресенье приносила вести:

— Кузнец дал согласие сделать ключи. Сто рублей просит. Но пока с подкопом не спешите. Нету лодки подходящей. Да и карымцы уже отсеялись, вышли охотничать за беглыми. Вот почнут сена косить, им будет неколись. Тогда и бежать.— После этих слов Варя почему-то краснела.

— Ну чего он тянет, твой кузнец? — не замечал смущения Вари Андрей.

А все было просто: суровый нарымец полюбил Варю. Варя умоляла оставить ее: грешно обманывать нареченного. Да и душа не приемлет. А однажды, когда его приставания стали невмоготу, она схватила топор:

— Убью блудника!

— Ладно, охолонь. Спасибо и за такую ласку. Пусть ваши готовятся к побегу. Лодку присмотрел. Чего уж там, силой мил не будешь. А жаль. Зажили бы мы с тобой, Варюша!

Варя прибежала к Андрею, упала на грудь и расплакалась:

— Все, Андрюша! Готовьте подкоп — в воскресенье бежим...

Андрей поднял голову и посмотрел на солнце. Вздохнул и широко перекрестился. Солнце еще было высоко.

Надо, чтобы до вечера сил хватило, чтобы и для ночной работы осталось. Подкоп уже почти готов.

Когда солнце сядет за сопку, их погонят в барак. Долго, долго будут звенеть в вечерней тишине железные цепи: до барака-тюрьмы три часа ходу. Обычно быстрее ходили, но сегодня друзья были наказаны «лисой» — полуторапудовой чуркой, прикованной к ногам. С ней не побежишь. Измученные каторжане ворчали на тех, кто плелся с этим грузом, грозили головы проломить, хотя и сами могли назавтра заработать такую же «лису».

Почти в полночь приволоклись к бараку. Надзиратель отомкнул «лисы», всех загнал спать.

Камера знает, что скоро будет побег. Молчат, ждут своего часа. Доносчику — смерть. А кому хочется умирать раньше срока?

Утром снова путь к карьерам. Туда гонят без «лис», чтобы быстрее люди начали работу. «Лису», свою милую, как

называют ее каторжане, каждый несет на плече. Но сегодня друзья идут без «лис». Сегодня они не дерзили надзирателям, были смирны как никогда.

Тачку заполнял илом Ермила, стоя по колено в холоднючей воде. Катил к промывочной машине Андрей. Мокрый халат хлюпал по коленям, чавкала вода в чувяках. Следом катил такую же тачку студент, здоровенный парняга, но по всему было видно, что он сдал: хрипит, кашляет, выплевывает кровь на гальку. Он уже больше не подтрунивает над Андреем, над его мечтой о справедливом Беловодском царстве. А совсем недавно кипели жаркие споры. Андрей и Сурин стояли за Беловодье, где все будет общее, чтобы каждый мог есть досыта, работать на всех, жить для всех. Студент высмеивал их, отговаривал, мол, нет такого царства на земле, даже Моисей не привел своих людей в землю обетованную, не дал им счастья. Надо по всей Расее ставить новое государство, а не бежать, как суслики от половодья.

Ермила тоже свое тянул: надо, мол, делать такое Беловодье, такую Выговскую пустынь на всей земле, среди всего люда. В одном все были согласны — надо бежать. Студент побежит на запад, чтобы снова нести правду в народ. Ермила тоже на свои заводы вернуться хочет, чтобы снова бунтовать, не давать житухи «богдыхану». Рассказывал, что сидел в Томске вместе с писателем-петрашевцем. Мужик хороший, падучей болен. А как заговорит — на душе жалость, дажить страх. Люд он знает как свои пять пальцев...

Завтра воскресенье. Завтра они должны бежать. Прав кузнец: время покоса, легче уйти. Карымцы не столь охотно будут их догонять, хотя им за каждого пойманного беглеца платят деньги. У них даже присказка такая есть: с сохатого одну шкуру сдерешь, а с бродяги две — рубаху и тулуп. Многие только тем и жили, что ловили, убивали беглых. Хотя и сами в недалеком прошлом были каторжанами, мыли золото и серебро для Кабинета Его Величества. Потом им дали свободу, назвали забайкальскими казаками. Карымцы — охотники, карымцы — меткие стрелки: в глаз белке, в глаз бродяге. Злы, жестоки, жадны до денег. И все оттого, что, убив однажды, человек становится душевным уродом на всю жизнь. Убитые страшными тенями стоят перед глазами, снятся ночами, и только новое убийство дает послабление душе.

Две недели назад бежало из первой камеры десять человек. Семерых убили карымцы, трое ушли вслед за солнцем. Завтра побежит эта камера. Пусть лучше убьют на свободе, чем маяться и умирать в кандалах. Завтра кто-то из надзирателей ис-

пустит свой последний вздох. Редкий побег обходился без убийства. Может быть, этот пройдет гладко?

Варя уговорила кузнеца продать ей ружье. Продал. Сказал только:

— Потому как люблю тебя, бабонька, продаю. Помни, что ради любви продаю. Убегайте, може, сердцу будет чутка легче. Все готово, я провожу вас немного. Все будет ладно, не горюй...

Косит бурятский глаз злой карымец-тюремщик. Поигрывает его рука бичом. Бич длиннющий, любого достанет. Вон у того силача сорвалась тачка с настила. Короткий взмах бича, резкий щелчок — и сыромятный ремень впился в спину Андрея. Вздрогнул Андрей, но сдержался: тачка покатилась дальше. Не время для бунта, не стоит заковывать себя в «лису».

— Эй, кончай лоботрясить! А ну, шевелись! Разбойники!

Чавкали лопаты, чавкали по грязи чувяки, карьер вздыхал и матерился. Наконец солнце коснулось края сопки, хмурой и горбатой, как и жизнь каторжника. Надзиратели начали отковывать каторжан от тачек, замыкать огромные замки ручных и ножных кандалов. Эти замки служили каторжникам и подушками.

Вышли на берег карьера, снова в вечерней тишине зазвучала грустная музыка цепей, заскучал ветер, заскучали сопки.

Дзинь-трак-трак! — напевали цепи, нудно и протяжно. И так целую вечность, пока из темноты не покажется здание полугнилого барака.

На звезды надвинулась туча. Холодный ветер насквозь продувал камеру. Люди лежали на нарах во всем мокром, в чем и работали, чуть забывались в стонливом сне. Андрей повернулся к студенту, тихо спросил:

— Скажи-ка, дружба, от ча человек дюжливее лошади?

— Это как понимать?

— Так и понимать надо, что ежли лошадь подержать в такой мокряди, у нее враз копытница приключается, простуда. А мы вот ниче. Второй месяц живем, и ниче. Лошадь бы копыты отбросила, а мы живы.

— Человек тысячи лет формировался, приспосабливался к трудным условиям, к жизненным невзгодам,— размышлял студент.— Организм у него более совершенен, чем у лошади. Он разумен, пытается противостоять силам зла. Лошадь же не имеет разумного начала. Лошадь...

— Так, верна! Мы вот с Варей бродили по тайге, все лошади сдохли, а мы хоть бы ча. Ягодку, грибочки, сырое мясо ели. И мокрец-то нас давил, речки-то топили, а живы. Лягушек лошадь есть не будет, а мы с вами, господин студент, едим. Вы

говорили, что лягушек едят, мать их корень, одни хранцузы? Вот и мы едим, и будто энто деликатес.

— Так, именно так, Андрей Феодосьевич.

— Эх, господин студент, светлая ваша голова! Все вы, грамотеи, люди без разума. Задашь вам вопросик позаковыристее, и вы почнете городить про совесть, человечность, зло и добро. Тьфу! Чепухенция все энто! Не оттого человек дюжливее лошади.

— Так отчего же, по-твоему?

— Когда бог имена разным тварям давал, он кое-где спутал, назвал лошадь — человеком, а человека — лошадью. И вышло, что лошадь существо нежное, а человек — грубое. Вот и вся недолга.

— Непонятно.

— Надо бы богу назвать человека лошадью, а лошадь человеком, вот и стало бы все на место.

— Но ведь это ерунда какая-то!

— Для вас ерунда, а для мужика заглавный вопросик. Сам додумался... Неразумный наш бог.

— Человек — лошадь, а лошадь — человек? Чудно! Но ты прав, пожалуй... Что-то истинное в этом есть. Русский мужик — себе на уме. Загадка.

— Проще простого — дай нам волю, землю, и мы без заумных слов поставим Расею на ноги, на завидки всему миру. Не даете, только словесами мусорите, потому и мужик не хочет признать вас, охломонов. И мы не прочь читать умные книжки. Мы-ста, мужики, не без разума люди, тожить не убогими рождены. А вы нам книжки под нос, — а нам бы сперва хлеба вволю, господин студент. Спи. Завтра в ночь бежим.

Сквозь щелочку прошмыгнул первый лучик солнца, коснулся лица, Андрей звякнул кандалами, провел рукой по щеке, будто хотел снять липкую паутину. Проснулся с радостным предчувствием в груди: придет Варя, скажет, когда бежать. Стал ждать общей команды на подъем.

Начальник тюрьмы в сопровождении надзирателей начал обход.

— Встать! Смирно!

Каторжане замирали перед ним. Один неуважительный взгляд — и жди розог, «лисы», а то и «калача». Каторжане ели начальника глазами. Пятая камера в последние дни, как никогда, покладиста.

Андрей хорошо знает, что такое «калач». Однажды он имел неосторожность сказать начальнику тюрьмы, что их плохо кормят, надзиратели воруют хлеб. Его тут же завернули в калач:

связали руки за спиной, к ним притянули босые ноги. Потом проволокли связанного лицом по полу, бросили на весь день валяться.

— Ну, кто хочет бунтовать? — измывался начальник.

Никто не хочет бунтовать в воскресный день: зачем лишаться удовольствия полежать на солнышке, перемолвиться с другом, побыть наедине с женой.

Ярится начальник тюрьмы, хочет вызвать пятую камеру на скандал, подозрительно смотрит в лицо каждому, тычет в носы перчаткой, авось кто взорвется. Но пятая камера, как никогда, смирна, кто-то миролюбиво бросает:

— Силов уж не будет бунтовать. Сила на вашей стороне. Отбунтовались. Плетью обуха не перешибешь.

— Ну-с, молодец, правильно сказал. Отдыхайте.

Запахло хлебовом. Принесли по фунту хлеба каждому, по черпаку мутной болтушки... Выпустили из камер во двор. Можно подремать, можно в карты срезаться, жену встретить.

Распахнулись ворота, в них начали входить женщины. Пришла Варя. Отвела Андрея в угол ограды, обняла, зашептала:

— Трудно будет бежать вам. На ночь начали ставить часовых за оградой. Карымцы спят на покосах в обнимку с ружьями, чтобыть тут же бежать за каторжными. Начальство чует, что кто-то хочет бежать, покладисты, мол, стали каторжники. Евдоким для всех замков отковал ключи. Но точны ли мерки, ить сымала на мыло. Возьми хлеб, ключи там. Не обвалился подкоп?

— Держится.

— Будем ждать у мельницы до полуночи, ежли не придете, то подождем до утра. Купила у надзирателя пистоль, сказала, мол, боюсь каторжных, пристают, да и бродяг тоже. Продал.

Пятая камера была готова к побегу. Ермила нашел крупный самородок и тайком передал его надзирателю, тот удивился и спросил:

— За ча?

— За душевность. Вы меньше других порете людей, пожалейте и нас, сирых.

Этот надзиратель дежурит у ворот. Убивать его не хотелось, он и правда лучше других. Может, пропустит за золото. Здесь и такое бывало. Третья камера тоже бежала недавно, но в кандалах, они позвали надзирателя, мол, нашли золотой самородок, хотели бы подарить за доброту. Зашел. Убили. Попутно еще трех караульщиков оглушили, ушли в тайгу. Там распилили кандалы, на это ушло много времени, поэтому их легко догнали и всех перебили карымцы. У пятой камеры не должно

быть осечки. Выйдут без кандалов, для Андреевой компании приготовлена лодка, остальные убегут в тайгу.

Спит Карымская тюрьма. Тихо плывут над ней черные облака, изредка накрапывает дождь. Ночь — будто создана для побега. Из гнилого барака слышатся стон и хрип, безумные вскрики. Беспокойно позванивают цепи. Спит тюрьма, спят усталые надзиратели. Обрыдло и им сторожить это стадо людей, завшивленных, злых, умирающих. Да и Варя сегодня была не в меру щедрой: принесла четверть самогону и угостила охрану. В мутный самогон был добавлен отвар маковых головок. Так, бывало, мать усыпляла ее в детстве, когда она раскапризничается. В пятой камере густой храп. Нарочно храпят каторжане, чтобы заглушить бряцание ключей: тюрьма дыровата, не услышали бы на улице. Двадцать каторжан — сорок замков, к каждому надо подобрать ключ. Никто не захотел оставаться. Все рвались на свободу. Ермила спокойно отмыкал тяжелые замки. Тихо звякнула последняя цепь, все свободны.

Ночь металась тучами, жрала звезды. Шумела тревожно река Карь. Тени скользили через двор. У ворот тихий говор. Удар по чему-то мягкому, вскрик — и снова тишина. Только ветер да рокот реки. По одному проскальзывали через ворота и растворялись во тьме. Расходились в разные стороны. Одни круто забирали в тайгу, другие бежали дорогой, до утра успеть уйти подальше от тюрьмы. Андрей с друзьями спустился к реке.

Тихо прошумели кусты, четыре человека шли к берегу. Евдоким поднялся, свистнул. Беглые пошли на свист.

— Сюда! Сюда! — шептала Варя.— Ребята, сюда!

О борт лодки плескалась назойливая волна, сонно стонал куличок. Беглые прыгнули в лодку. Евдоким оттолкнулся веслом, течение подхватило лодку и понесло. Андрей тихо захохотал, обнял Варю. Евдоким резко качнул лодку, заворчал:

— Потом наобнимаешься. Сиди смирно.

Евдоким греб веслами, беглые помогали руками, палками, лодка неслась мимо хмурых берегов. И все же казалось, что она еле ползет. Надо в ночь уплыть как можно дальше, чтобы остроглазые карымцы не подловили их на свои мушки. Убежать от проклятого места, от проклятых людей. От страшной тюрьмы, где человек — не человек, а козявка, которую всякий может растоптать. Только тюремщик здесь человек, карымец — человек. Они тоже любят своих детей, солнце и эту землю. Они тоже хотят жить. Убивать каторжан — это их профессия. Каждый зарабатывает свой хлеб, как может.

Лодка проскочила мимо сонной деревни, прилепившейся на прилавке сопки. Евдоким завернул к берегу, сказал:

— Здесь я останусь, а вы гоните к Шилке. Боюсь, не пошли бы вслед наши. Ну, прощевайте!

Евдоким прыгнул на берег и тут же пропал в прибрежных кустах. Сурин сел на корму, и лодка снова пошла вниз.

— Выдаст нас Евдоким. Чую, не чисто тут...— сказал Ермила.

Варя вспыхнула от этих слов, но тут же обмякла, стала еще сильнее грести обломком доски.

— Надо бы его хлопнуть.

— Не можно, ить помог всем, за ча же хлопать? — почти выкрикнула Варя.— Не можно! Он слово дал!

— Ладно, ладно, Варюша, ушел ить, ну и пусть себе идет.

— Верно, Андрей, пусть! Навалимся, друзья,— окрепшим голосом заговорил студент. — Вон и еду нам оставил. С чего бы ему быть подлецом?

— Э, студент, мало ты знаешь людей, мало.

Над Даурией поднимался день. Беглые завернули в старицу и спрятали там лодку.

— Давайте подкрепимся и решим, как быть дальше? — сказал Сурин.

— Ты и решай. Ты не раз уже бегал, а мы новички.

— Тогда поедим поначалу.

Над старицей туман, приглушенный шепот волн, тучи уползали за хребты. День снова будет солнечным. Это плохо для беглых.

— Если Евдоким нас выдаст, карымцы бросятся следом. Будут искать на реке, потому как мы с лодкой. Нам же надо их обхитрить, лодку затопить в старице, самим бежать пешки. Бежать до Шилки, а там уж будем расходиться кто куда.

— Лады, быть по-твоему,— согласился Ермила.

— Жаль лодку, уж больно хороша, на ней можно бы в Беловодье сплыть.

— Ты сначала убеги, а лодку, надо будет, завсегда украдешь,— бросил Сурин.

Беглые поспешно завалили лодку камнями, утопили у берега. Пошли через высокие травы на юг. Заныли простуженные ноги от холодной росы, но что роса в сравнении с холоднючей водой карьера! Вышли на сопку, здесь Сурин приказал всем сбросить арестантские халаты, надеть крестьянские сермяги, которые им дал Евдоким. Не столь приметно. Зарядили кремневку. Побежали тропой. Встречных пока не было. Хотя здесь часто проходят карымцы, разыскивая следы беглых.

Неплохо бы добежать до деревни, чтобы в ночь украсть лодку и уплыть на ней до Шилки. А уж по Шилке они уплывут

куда надо. Река широкая, ночами плыть на ней не столь опасно, как по бурной Кари.

Андрей часто оглядывался назад, подозрения Ермилы передались и ему. И вот увидел, как по тропе спешили трое. Их вел Евдоким. Прыгнул за куст, за ним остальные беглые.

Евдоким вел карымцев не таясь. Он знал, что беглые почти безоружны: кремневка не выстрелит, а о пистоли он не знал. Надеялся на свою безнаказанность. Он также разгадал маневр беглых: побегут по тропе, чтобы быстрее добраться до Шилки.

Ермила вздохнул, бросил:

— Кто живет здесь, у того не может быть чести.

— Чуяло и мое сердце, что Евдоким не чист,— сказал и Сурин,— но не думал, что он так подл. Дай-ка мне, Ермила, пистоль к этой ружаке, я их придержу. А вы уж дуйте во всю силу.

— А почему это вы будете их придерживать? Я хочу умереть за народ! — выпятил грудь студент.

— Успеешь, дура, успеешь умереть за народ, было бы хотенье. Для этого дела ты хлипок, стрелок дерьмовый. Андрей, жди меня на устье Кари, ежли выберусь жив.

— Понял. Буду ждать. Ну, с богом,— Андрей обнял и крепко расцеловал Сурина.

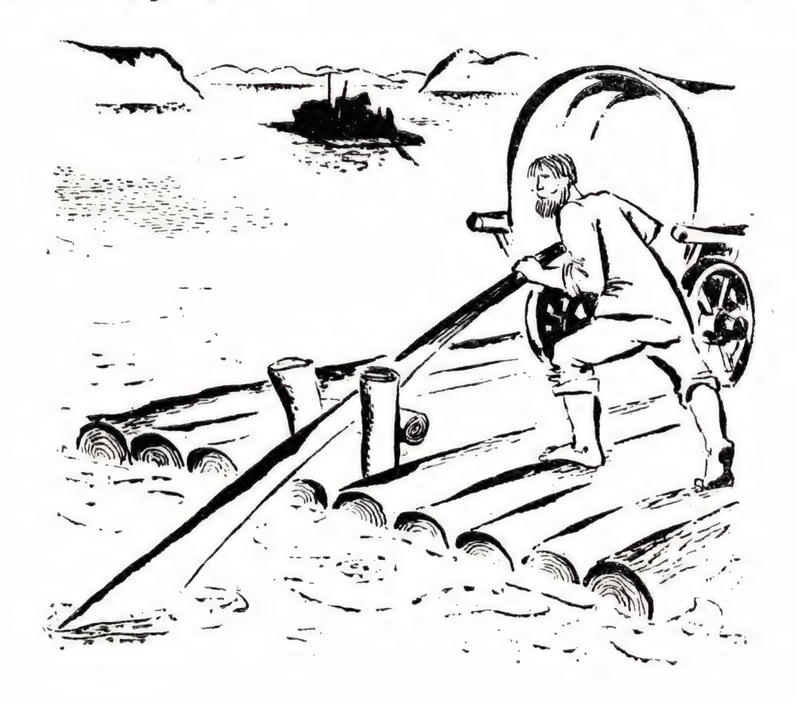
Сурин лежал за камнем. Он знал, что не отбиться ему от трех охотников. К тому же не вызывало доверия и ружье, которое продал Варе Евдоким. Неужели он такой дурак, чтобы продать хорошее ружье, а потом идти в погоню за беглыми? Пистолет, похоже, был хороший. Хотя и поржавел местами.

Охотники за беглыми миновали ложок, вышли на прилавок, прошли мочажинку и поползли в сопку. Евдоким шел впереди. Вот его голова показалась из-за скалы. Сурин прицелился из пистолета. Ружью он не верил. Вспыхнул порох на полке, тишину разорвал выстрел. Евдоким взмахнул руками, ткнулся носом в щебень. Сурин отбросил пистолет, схватил ружье, взвел нагонь, нажал на спуск. Осечка! Вскочил и побежал. Но пуля в спину оборвала его бег.

Охотники пошли к убитому, маленьким топориком отсекли голову, сунули ее в котомку. Постояли с минуту, вернулись к Евдокиму. Решили не идти в погоню за остальными. Может быть, у них еще есть оружие. Зачем рисковать?

Шуршала под ногами листва. Весеннее солнце жарило лучами голынь даурских сопок, змеиной чешуей блестело на перекатах быстрой Кари. Вдали лаял гуран, пугал кого-то своим грозным криком, ярился на незримого врага. Бежала весна, спешило солнце.

Часть третья. БЕГЛЫЕ



1

Феодосий привел ватагу в Даурию. Остановились под Усть-Стрелкой. Здесь снова от обоза отпало несколько семей. Да в Иркутске остался сын Алексей, жена приболела. Шло за Феодосием шестнадцать семей, до шестидесяти душ. Уездное начальство разрешило строить деревеньку на берегу Шилки. Разрешило поднимать земли, рыболовство, охоту.

Андрея и Варю не встретили. Знать, права была Меланья, что с ними стряслась беда. Пожалели, однако начали тут же готовиться к побегу: строили карбасы, большущие лодки, удивляли забайкальских казаков, для ча, мол, пари, такие лодки.

— Рыбалить будем. Мы ить с Камы. Не зряшно у нас уездный герб составлен из сетей, мереж, сачков и рыбы. Мы отродясь рыбацкие люди. Вот и будем вас кормить рыбой, кою вы ленивы ловить, — отвечал Феодосий любопытным.

Закупали железо, ружья подешевле, семена, овощи, все, что могло пригодиться в новом царстве.

Между делом пытали мужиков: как, мол, там за казачьим кордоном? Ходят ли туда наши люди?

— О господи, да тот пост для блезиру, паря! За пост наши ходят на охоту и еще дальше. За постом, как и здесь, тожить живут буряты. Смиренные люди, ты их не трожь, и они тебя не тронут, паря. А ежли еще водкой угостишь аль подаришь красивую стекляшку, то и вовсе друг и товарищ.

— А начальство как на это смотрит?

— Сквозь пальцы. Ворчит, а наказывать не наказывает.

— Знать, и нам можно туда бегать?

— Было б желание.

— Манжуры, говорят, страшны?

— Да их и нет на нашем берегу, тех манжур-банжур. А от ихнего держись подальше... Никак, задумали вы по Амуру вниз бежать? Э, можно. Туда убегают каторжные и женятся на тамошних жёнках. Примают. Там всех примают, кто без ружья и зла приходит. Хаживали мы дажись до Уссури. Земля там жирнее этих, да и теплее будет но страховато от своих-то отрываться.

— А не слыхивали про Беловодье? Вроде оно в тех же краях?

— Нет, чего не слыхивали, того не слыхивали. Сказывают люди, будто есть, а где — вот этого, паря, не знаю.

Подвернулся Феодосию некий Аниска-бурят. Привел он его в свою землянку, разговорились. Аниска сразу же вприщур посмотрел на Феодосия узкими глазами, выпалил:

— А ить ты, паря, бежать отсель хочешь.

— Откель ты взял? — пошел на попятную Феодосий.

— Душой почуял. Хошь бежать — беги. Кой-где есть там и наши люди. А хошь, и помогу вам добраться до Уссури. Дальше я не хаживал. Бегали мы туда бить соболей. Да не пондравилось нам: сорный там соболь, дешевенький. Я и по-манжурски и по-бурятски балакать могу.

— А сколь запросишь-то? За помощь, говорю, сколько платить?

— Зачем Аниске деньги? Аниска бродяга, про то вам всякий скажет. Не надобны мне деньги. Побегу с вами, и весь сказ. Ты спроси Аниску, и где он, паря, не был? Спроси? В Манжурии был, в Китае был, и реку Амури знаю как свои пять пальцев. Погодуйте здесь, мака большей сейте, я научу вас собирать опий. С ним не пропадешь — проскочим за милую душу до любого места. Есть сказ, будто на устье Амури наши строять крепость.

Аниска для пермяков был находкой. Научил сеять мак, собирать опий, добывать соболей, сохатых, маралов. Он даже поселился у пермяков, а в зиму женился на Фроське Мякининой, чем сильно обрадовал Фому.

Эта зима для Феодосия была самой длинной. Но она тоже не прошла даром. Ходили охотники за кордон, добывали там соболей, зверя. Многое узнали, многому научились. Познакомились с постовыми казаками, задобрили их соболями и водкой. А когда пришла весна и сошел лед, Феодосий сбегал на Усть-Стрелку, договорился с казаками, чтобы пропустили их безвозмездно.

— Иди, паря, куда хошь.

Начались дожди, погода все время стояла морошная.

— Ну, с богом, тронули,— широко перекрестился Феодосий.

— Поехали! Прощай, Расея! — крикнул Фома.

— Цыц, ты с Расеей не прощайся. Где мы встанем, там и будет новая Расея.

Аниска ночью провел караван мимо поста. Десять карбасов медленно тянулись по плесам, чуть быстрее бежали на перекатах. Днем спрятались в протоку-старицу. Отдохнули. Снова в путь. А тут и раздолье амурское. Хотя мелей не счесть, но Аниска многие знал, поэтому даже ночью мог вести карбас.

На одном из привалов их настиг небольшой отряд людей, приплывших с того берега, но Аниска что-то полопотал на их языке, угостил каждого солдата опием, те покурили и тут же впали в сладкий сон.

— Э, они завсегда так, накурятся — и спать. Завтрева забудут, кто их поил и кормил. Поехали!

На противоположном берегу виднелись редкие деревеньки местных жителей, но они были настроены мирно. Плывут люди, ну и пусть себе плывут. Однако Аниска пока не хотел приставать к чужому берегу.

— Мало ли что у них на уме. Хоша мы с ружьями,— но береженого и бог бережет.

— Пора бы скот и коней закупать,— гудел Феодосий.

— Для ча спешить, паря? Вот спустимся до Буреи, там купим любых коней, любых коров. Оттель пойдем уже на плотах. Не боись, паря, Аниска все знат, все ведат. На то он и Аниска-бродяга, по прозванию Карпухин. Ты слухай меня и не пропадешь. Коней возьмем задарма, вот за энту крошку опия. Зачем деньгой сорить?

Буреть, так назвал Аниска этот народ, радостно встретил пришельцев, угощал молоком, рыбой, тухлым вяленым мясом.

Здесь пермяки построили плоты, Аниска подкупил всех знанием языка, который мало отличался от бурятского, общительностью и главное — опием. Торг вышел ладный.

Тронулись дальше, теперь уже на плотах и карбасах. Везли коней и коров. Шли и радовались тишине, обилию и покою. Радовались простору земному. И еще тому, что не надо месить грязь и снег ногами, река сама несет. Сиди себе и отдыхай, пока не пришел черед ворочать тяжелыми кормилами.

Про Андрея и Варю забыли. Разве что еще Меланья помнила их. Но тоже молчала.

Однажды, когда плоты медленно тянулись по Амуру, из-за излучины показалась одна лодка. В ней два человека.

— Догоняет кто-то,— забеспокоились мужики.

— А, пустое, кто тута может догонять, паря. Однако энто русские. Тунгусы не так машут веслами. Хоша лодка ихняя.

— Похоже, наши. Мужик с бабой. Это Варюшка с Андреем!

И вот лодка уже у плота. Потянулись к пропавшим теплые руки, выдернули на плот.

— Причаливай к берегу! — заревел на всю ширь амурскую Феодосий.

Андрея и Варю тискали, целовали, каждый по-своему изливал радость. Заварили щарбу, ради встречи Феодосий обнес каждого чаркой водки. Рассказы, пересказы. Андрей показал клеймо на плече: мол, беглый с каторги.

— М-да, чудо бывает в жизни, уж думаешь, и не встретишь человека, а он возьмет да и вынырнет, как утка,— вздохнул Феодосий.— Говоришь, сгинул Сурин? Жаль бродягу. Знать, есть и такие люди, что за каторгой охотятся?

— Есть, не так много. В иных деревнях даже хлеб на окнах оставляют, чтобыть бродяга поел и шел дальше. Всякие есть. Мы ить зиму-то жили средь даурцев. Чуток в стороне от Амура. Вот они и кормили нас, они же и весть принесли, что прошли большие лодки и плавающие чумы. Мы и бросились за вами. Там еще живут русские, женаты на даурках. А кто бежал к манжурам, те сгинули. Их ловят, бросают в тюрьму и кормят их телами зверье. Тоже обычай. Нет чтобы сразу убить человека, так поначалу уши обрезают, потом ноги, потом руки, пока не умрет в муках.

— Э, не так просто нас схватить: двадцать ружей что-то стоят. А как они переправляться к нам начнут — сразу увидим. Аниска стоит сотни ружей. Он с ними хала-бала — и дело пошло. Опий каждого делает покладистым.

Что ни говори —людьми движет голод и нужда. Появилась сытность, стали все говорить врастяжку, ходить вразвалочку.

В реке рыбы прорва, сазаны прямо на плоты выпрыгивают. Зверь пасется на берегах. Благо, здесь меньше мошки, а трав хватит на всех.

Стоило бросить невод в затоне или в озерке проточном, как в него столько набивалось рыбы, что не всегда удавалось вынуть на берег. Черпали сачками. Отбирали только тайменей, ленков и сазанов.

А земли по Амуру! Куда ни брось взгляд, всюду плодородная земля. Меньше ее было, когда проходили отроги Малого Хингана. Но лишь миновали Зею, опять глазом ту землю нельзя окинуть. Причаливай, паши, коси, живи в свое удовольствие. Но не просто на вольные земли шли пермяки, они искали Беловодское царство. Может быть, вон за той излучиной откроется оно. Хотя Аниска и говорил, что нет тут такого царства, пустошная земля — и только. А тайга то подходила к реке, то снова убегала в синь далекую, небесную. Взбирались пермяки на утесы, чтобы осмотреть землю, дивились, что у Амура столько проток, стариц, озер, среди которых можно заблудиться, как в густом лесу. Но их вел Аниска, а он не заблудится. Во всяком случае, до Уссури он дорогу разведал.

Зверей добывали прямо с плотов. Чаще под выстрелы попадались изюбры и косули-гураны. Реже — сохатые и кабаны.

Выходил на берег угрюмый медведь, рылся на косах, искал гнилую рыбу, купался в амурской воде, фыркал при виде плотов, поднимался на задние лапы. Уркал, но не уходил.

Птиц на Амуре тучи. На косах кулички, в старицах гуси, утки, которые тоже при виде плотов и карбасов не спешили подыматься на крыло и улетать.

В небе кружили коршуны, чертили косыми крыльями голубень, приметив рыбину, падали на воду, ныряли глубоко. Потом с трудом выплывали, тяжело били крыльями по воде, волочили за собой добычу на косы и там пировали или уносили в гнезда.

Пермяки в птиц не стреляли, порох жалели, пули жалели. Без того сытность и раздолье.

Амур — великая река. Срываются здесь и шторма, да такие, что могут плоты разбить. Спешили пермяки выгрести на мелководье или загнать плоты в тихую протоку. Отстаивались, ждали, когда стихнет шторм,— и снова в путь.

— О-го-го! Отчаливай! — орал пермяцкий вожак.

Густым рыком отвечали ему скалы, сонное эхо долго скакало над долиной, путалось в травах, замирало. Испуганные дрофы, помахивая короткими крыльями, убегали к горизонту.

К кострам приходили инородцы, несли связки рыб, показывали топоры, просили продать. Аниска, как мог, им втолковы-

вал, мол, рыба нам не для ча, несите соболей, тогда будут топоры. Несли соболей. Начинался торг.

Но приходил суровый гасянда, старшина стойбища с медной бляхой на груди, показывал палкой на противоположный берег, говорил:

— Манжур, манжур! — и бил своих соотечественников палкой по спинам.

— Он не велит ничего продавать, пока сюда не приплывут манжуры, пока не возьмут дань.

— Господи, Анисим, ужли по всей земле такое — дань, подати? — вздыхал Феодосий.

— Везде, сколько я прошел, везде, сильный завсегда катается на слабом. И вмешаться нельзя. Не коси глаза на старшинку, он не виноват, переправится сюда манжур и его же первого будет бить.

— А надо бы задать ему трепку!

— Кончай торговать, честные купцы! — закричал Анисим.

— Может, и не найдем Беловодье,— говорит Феодосий.— Сядут нам богатые на шею и будут три шкуры драть. Люд не волен.

— А где он волен? — спросил Анисим.— У вас в Перми?

— Там чистая каторга супротив этого. Здесь малая каторга, там большая. Но ниче, мы не дадим грабить себя...

— Как знать. Может, придется и на поклон к кому идтить,— не унимался Анисим. — Я ить хитрющий, где надо — поклонюсь, а вижу, сила на моей стороне,— дам по муслам, хошь мал, но сила есть.

Больше пермяки не приставали к деревням прибрежных людей. Проходили мимо, чтобы не накликать на себя беды.

— Зачем душу травить, смотреть на чужое горе и неволю?

Однажды Фома ушел на охоту. Все слышали выстрел в прибрежных кустах. Фома тут же и вернулся, ведя в поводу рыжего жеребца.

— Вот купил.

— Для ча? Плоть затопишь.

— Подведем пару бревен... Шибко уж ладный жеребец-то!

— Где стрелял-то?

— Да дрофу хотел добыть, но промазал. Стрелок-то из меня аховый.

— Зря порох не жги. Достанем ли там, один бог ведает,— посуровел Феодосий, почуяв неладное.

Пришла ночь. Спят пермяки на плотах, в палатках. Парни пасут коней и коров на сочных пыреях. Не спится Фоме, тесно и душно в палатке. Поторопить бы ночь и уплыть от этого

места! Но ночь не спешит, тихо ползет над землей. Выговориться бы с кем, выплюнуть кислую слюну изо рта,— может, легче станет.

Плохо спал в ту ночь и Ларион. Ему почему-то снился убитый им в Рассошихе сторож. Но то убийство оправдано. Там он убил человека ради человека. А вот отец, похоже, ошалел: застрелил инородца ради коня. Наверное, догадались и другие.

Вышел Ларион из палатки, следом отец.

— Че не спишь, сынок?

— Думаю, не сходить ли мне к Лушке Воровой? Ест глазищами девчонка. Софка мне поднадоела.

— Грешно. Два года — и все не венчаны. Отъелся, вот и бесишься.

— Я, может, и бешусь, а вот ты для ча человека убил?

Фома подался назад, будто его ударили.

— Мне Софка без надобности,— продолжал Ларион.— Она как яловая корова. А я мужик справный, мне дети нужны. А ты хошь бы кровь на штанах замыл, с коня бы стер. Ить все видели ту кровь.

Лушка Ворова змеей-искусительницей вьется около Лариона. Против Софки она мышонок, но мышонок настырный. Видят бабы эту канитель, сердито поджимают губы.

Лушка уже созрела, падать бы надо яблоку, да некуда.

Вот и в эту ночь. Лушка потянулась по кошачьи и сказала:

— Девки, пошли ночевать на берег!

— Верно, у костра на травке и спится сытнее,— согласились подружки.

Иван Воров заворчал:

— Ты не дури, девка, вожжами отхожу.

— На что жить? Завез в глухомань, парней нету. За кого выходить мне замуж?

— За нашего мерина,—сощурился Воров.

— Только и осталось.

В Перми за такое непочтение к родителю не миновать бы Лушке вожжей, но здесь Ивану пришлось смолчать.

А на другом плоту перед Ларионом стоит отец и слова не может сказать.

— Да не убивал я,— глухо бормочет он, отводя глаза.

— Убивал, тятя. Завтрева жди беды. Прознают наши про убийство и прикончат.

Фома потоптался и поспешил перевести разговор на другое:

— А ты к Лушке лыжи навострил?

— Ага.

— Не ходи, зря, Лушка сама не знат, чего хочет.

— Не шел бы, да любовь гонит. Сама Лушка зовет. Каждой бабе хочется приложить малое дитя к своему соску... Здесь о жизни дело идет, о продлении рода. А ты людей бьешь! Я еще с той поры не могу очнуться, так и вижу мертвого сторожа. Разнес ему черепушку...

— Первый раз всегда страшно.

— Не верю! И во второй раз страшно!

Феодосий сидел под крутым яром и слушал этот разговор. В ушах звон, в душе метанье. Прошептал:

— Ну, вот ты и открылся, Фома Сергеевич.— Вышел из-под яра, прыгнул на плот, схватил Фому за грудки, зашипел: — Ну, вот ты и открылся. Утром будем судить!

— Кого, меня? За что? Ведь это я спас всех от голодной смерти!

— Там ты спасал наше дело, здесь ты его губишь. А ежли за убитого поднимут против нас оружье, то как?..

И только чуть посерело небо, как со стороны долины послышались голоса, гул, топот копыт. Пермяки высыпали на берег. Увидели, что на них шел большой отряд. Впереди на вороном коне скакал тот самый старшина. У всех в руках копья, луки и стрелы. Местные, видно, шли войной на пермяков. Пермяки схватились было за ружья, но Феодосий придержал нетерпеливых:

— Все порешим миром. Фома убил их человека, будем судить сообща.

Местные остановились на расстоянии полета стрелы. Вперед выехал главный. Феодосий с поклоном встретил его. Тот долго говорил что-то по-своему, Аниска перевел коротко: они пришли требовать выкуп за убитого — пять топоров, ружье, десять рублей серебром. Больше, чем пермяки заплатили за всех коней. Не то — война.

— Добро,— согласился Феодосий,— все это мы вам выплатим. Но сначала покажите убитого.

Убитого привезли и положили у ног вожака.

— Ну, Фома, доставай деньгу, неси свое ружье и топоры. Все на кон!

Фома рванулся было, но под суровым взглядом старика сник. Ему развязали руки, он ушел на плот и скоро принес все, что требовали.

— А теперь свершим суд над убивцем. Вы останьтесь, посмотрите, как мы будем судить варнака.

И начался первый суд на новой земле, мужицкий суд, а оттого самый строгий. Выбрали судей, ими стали Феодосий Си-

лов, Сергей Пятышин, Марфа Плетенева, Ефим Жданов. Обвинял—народ. Свидетелем тоже был народ.

Феодосий сказал:

— Мы пришли сюда с миром, а не с войной. Мы пришли сюда за счастьем и волей. Пусть нам будет здесь каждый за друга, за приятеля, а не за врага. Фома убил человека ради коня. Если каждый из нас будет добывать коней так, что получится? Мы перессоримся со всеми людьми, здешними и пришлыми, станем разбойниками. Их тысячи, а нас десятки, они сомнут нас.

Местные слушали речь бородача, удивлялись: чего это он ругает человека, который выплатил все, что они требовали?

— Хвакт налицо. Убит человек. Хорошо, они не стали затевать с нами войну, предложили выкуп за смерть, но другие, могет быть, пойдут войной. Потому надо судить жестоко, судить праведно. За смерть — смерть! Прошу внять разуму и повешать Фому. Да, повешать, потому как Фома человек испорченный и будет впредь убивать людей. Его кровя зовут. Он не сможет жить без убийства. Повешать!

Ахнули пермяки, зашумели чужие, кажется поняли, что хотят делать эти бородачи.

— Это как же повешать? — скосоротился Пятышин.— Ить свой мужик-то.

— Вот и надо вешать своего, чтобы чужие боялись. Ответствуй, Фома, убивал ли этого человека? — гремел Феодосий.

— Бес попутал, братцы, ослобоните!

— Дело ясное, чуть что — на бога аль на беса кивают люди. Будя, здесь нетути попов, а есть ли боги, беси, того мы не ведаем. Андрей, скажи-ка, есть ли бог и беси? Когда-то ты стоял за них горой.

— Может, есть бог, но нет в его сердце добра. Правильно сказал ты, тятя, вешать надо. Фома заведет нас в пропасть. Власть здесь наша, мужицкая, судить должны еще строже. Вешать.

— Ты, Марфа?

— Вешать!

— Ты, Ефим?

— Вешать. Но пусть он покается перед богом, примет покаяние.

— А перед людьми?

— Ну и перед людьми тожить.

— Братцы, рази то вина, ить я убил нехристя! А? Простите! Не будет больше такого, — завопил Фома, когда понял, что суд не шутейный.— Ить я спас вас в Сибири.

— Теперича хочешь нас всех убить. Вона их сколько. Сомнут, и не пикнем... Митяй, что ты скажешь в защиту, ну?

— Хэ, защищать, кого защищать-то? Вешать, и баста.

— Вешать так вешать. А что скажет народ?

— Вешать! — выдохнули пермяки.

— Ну, тогда нечего и совещаться. Объявляю приговор. Суд постановил: Мякинина Фому, сына Сергеева, предать смерти через повешение. Приговор вынес народ, потому и обжалованию не подлежит. Мы сами себе цари. Приговор приводится в исполнение в тот час же.

Аниска сказал, что пришлые люди будут убивать своего человека. Вперед вышел вожак и быстро-быстро заговорил. Он то показывал рукой на Фому, то на пермяков, то на своих людей. Аниска пояснил:

— Он говорит, что они прощают убийцу, он заплатил за смерть ихнего человека. Не надо убивать. Зачем делать две смерти.

— Ладно, у них свой суд, у нас свой,— отрезал Феодосий.

— Простите, люди! — упал на колени Фома.— Сергей Аполлоныч, ты всех разумней! Вразуми Феодосия, всех вразуми, что спутался я, позарился на коня.

— Я что... Как народ, так и я. Допрежь убивать человека, надо было бы испросить у меня совета.

— Ты, Фома Сергеевич, давно путаешь правую ногу с левой, но здесь такого не будет. Ефим, причасти, прими покаяние, будь его душеприказчиком. Был ить христианином. Не боись, Фома, соборуем честь по чести. Дажить крест над могилой поставим.

Фома стоял перед людьми будто оглушенный. Не держали ноги. Глаза полезли из орбит. Потерял разум. Рот перекосило в страхе, когда увидел, что ему роют могилу, прилаживают веревку на суку.

— Ефим Тарасович, время дорого, соборуй! — крикнул Феодосий.

— Чти скитское покаяние. Ну же, чти! Не могешь? Память отшибло? Тогда целуй крест, и делу конец. Я за тя прочту.

Ефим долго читал скитское покаяние, перечислял грехи, которые не подобает делать человеку, сунул крест для целования. Но Фома уже ничего не понимал, он завороженно смотрел на веревку, глуповато улыбался людям, мычал, будто у него отнялась речь. Ждал, что его простят, что это шутка, всего лишь шутка.

— Э, он уже трекнулся. Бог такого и без покаяния примет. Прилаживай петлю! Живо!

Воров дрожащими руками привязывал петлю к суку старого ильма. Судьи подошли к Фоме, взяли его под руки и повели

к дереву. Чужаки враз ахнули, загалдели, гурьбой бросились к своим коням, вскочили на их спины и, пиная пятками о бока, умчались в долину. Фома уже не мог передвигать ногами. И дико закричал:

— Сын, помоги! Спаси! Мать, заступись! Девки, не дайте умереть!

Марфа кинула петлю на шею. Ларион взревел, бросился на Марфу, но его тут же сбили с ног, скрутили руки, удержали. Девки побежали на плот, за ними кинулась Василиса. Ларион смотрел на отца, рычал, хватал воздух ртом, как рыба, выброшенная на мель. Рванулся Фома, но Марфа поддала ему под зад, цыкнула:

— Цыц, не крутись! Для твоей жить пользы такое творим.

— Мама-а-а-а! — зайцем заверещал Фома.

— За разбой никому не будет пощады! — гремел Феодосий.— Это для всех урок! Начинай!

Веревку натянули судьи: кто осудил, тому и вешать. Ноги Фомы медленно оторвались от земли, дущераздирающий крик повис над Амуром. Оборвался. Наступила жуткая тишина. И вдруг в этой тишине громко, небывало громко, треснул сук, на котором вешали Фому, обломился и упал на приговоренного. Фома мешком рухнул на землю. Вскочил и в безумном страхе бросился бежать. Марфа дернула веревку, Фома опрокинулся на спину, перевернулся на живот и пополз. Он хрипел и полз, рвался из петли, греб землю руками, но не пытался снять петлю.

Андрей выхватил нож из ножен и бросился к Фоме. Все думали, что он хочет его зарезать, ахнули, подались назад. Андрей ловко перехватил петлю острым ножом, подхватил Фому на руки и поставил. Фома не мог стоять, осел, шумно потянул в себя воздух и начал заваливаться вбок. Потерял сознание.

— Хватит! Пусть живет. Дважды не вешают! — выдохнул Андрей, дрожащей рукой вставил нож в ножны, пот градом лил по его лицу. К Андрею подбежала Варя, обняла его и отвела от Фомы.

— Верна, хватит, помучали. Другим будет неповадно,— согласился с сыном Феодосий.

— Детей перепугали.

— А пусть смотрят, учатся жить. Окропите ему лицо, памороки потерял. На плот несите. Отойдет!

Затих визг баб и детей. Фому понесли на плот. И враз сумеречная тишина повисла над берегом. Все говорили шепотом, стыдились смотреть в глаза друг другу. Фому занесли в палатку. Вскоре оттуда раздался собачий скулеж:

— Люди, простите! Простите, люди-и-и!

— Бог простит,— успокаивал Фому Ефим.

— Не скули, скажи спасибо, что сук попался гнилой. Вона, може, десять лет назад его надломила буря. Подвезло тебе. Но знай, второй сук будем выбирать покрепче. Гоноши едому, пора отчаливать,— говорил Феодосий.

— Бог его спас, бог,— шумел Ефим.— Значит, наш суд был неправедным.

— Дурак твой бог! За какие такие дела его спасать? Человека торкнул. Совсем плох наш бог, ежли такое прощает. Судили праведно. Пусть радуется, что сук слабый попался.

— Замаливай грехи, Фома Сергеевич, денно и нощно!

— Замолю-у-у!

— Погряз в них, как дьявол в трясине!

— Отмолю-у-у!

Фома почти неделю валялся в палатке, болело сердце, в голове звенело. Отошел. Начал выходить на солнышко. Враз стал небывало набожным, во всем слушался Ефима; был ласков с Андреем. На других же не смотрел. Потирал красную полоску на шее, что осталась от веревки. Жадно смотрел рыжеватыми глазами на мир земной, будто все это увидел впервые. Хотя пытался делать вид, что ничего такого не случилось, бодрился, был даже в меру весел. И однажды обошел все плоты, все костры и каждому поясно поклонился в ноги.

— Прости, Христа ради, грешен.

— Бог простит. Мы тожить не паиньки. Живи себе на здоровье.

— Другой раз будем вешать головой вниз, чтобыть бог не сразу мог усмотреть, кого вешаем, доброго человека аль убивца,— хохотал Иван.— И душа тогда твоя не в небо порхнет, а улетит в землю. К дьяволу в преисподнюю. Спутает дороженьку в рай и уползет червем. А там, сказывают, дажить Макар своих телят не пасет.

2

Так уж человек устроен, что все плохое спешит забыть, хорошее на всю жизнь запомнит. И еще: чужая беда — не беда, своя беда, то беда. Скоро забыли пермяки неудавшуюся казнь Фомы Мякинина. Только разве что красный ошейник напоминал о ней, но его прятал Фома высоким воротником рубашки. И через неделю на плотах вновь воцарилось веселье и смех и песни под переливы Степкиной гармоники. Фома тоже смеялся, но этот смех был обманным, смех был наигранным. Фома не забыл кощунства над собой и, наверное, никогда не забудет. Такие люди,

как Фома, плохое не забывают. Да это было не просто плохое. Это было страшное...

Тихо сидят на бревнах Андрей и Варя, тоже еще не могут отойти пока от страшного прошлого. Молчат. Смеяться еще не научились. Вырваться из когтей смерти, вновь оказаться среди своих, пока еще не может осмыслить ум. Но скоро должен осмыслить, душа потеплеть. Любуются на далекие с голубым отливом сопки, на ширь Амурской долины. Молчат. Хотя тихая радость уже крадется к ним, где-то рядом, скоро обнимет, и они засмеются, почувствуют себя людьми. Еще эта тягость — казнь Фомы.

Фома искоса смотрит на Андрея и Варю. В душе туча. Мысленно дал слово, что обязательно отомстит Силовым: Андрею ли, который спас его, Феодосию ли, который затеял эту казнь, кому-то отомстит. Если не сам, то своим сынам, внукам закажет. Не обидно ли! Угнали коней, убили сторожа — простили. А за какого-то инородца едва смерти не предали. Отомстит. Но пока Фома не помышлял о скорой мести, он ту задумку глубоко спрятал от людей, первым брался за клячу, тянул невод, первым бросался рубить дрова для костра, угонял коней на пастьбу — глушил работой обиду и зло. Даже пытался ласкать молчаливую Василису, не орал на девок, как на ленивых лошадей. Но и те круто изменились за дальнюю дорогу: работали наравне со всеми, косили травы, рыбачили, пасли и доили коров. Одно у них осталось, как и было, — страсть к ворованной любви. Из-за этой любви был жестоко бит Митяй, Марфа подкараулила, досталось и девкам. Согрешил и Иван, за это его долго не подпускала к себе Харитинья, ушла даже жить в палатку Силовых. Каялся, каялся, постами очищал душу от скверны, простила. Но все эти мелочи не мешали плыть пермякам по реке, надрываться, когда плоты сядут на мель, жить весело и радостно.

Пожалуй, самым счастливым человеком среди этих людей был все же Митяй. Так вольно он еще не жил: мог сидеть целыми днями на краю плота, для потехи, а не для пропитания дергать из Амура жирнущих сазанов, амуров, тайменей. Увлекся — страсть. Поймает рыбину, долго хохочет, радуется, как ребенок.

— Попалась, котора кусалась! Ха-ха-ха! Теперь я тебя слопаю! Я над тобой голова. Я, Митяй, я над тобой власть и сила.

Марфа с тихой улыбкой смотрела на Митяя, ворочала кормилом, не тревожила. Пусть тешится. Хороший, но шкодливый ребенок. К тому же Митяй стал полнее, даже щеки порозовели. Вошел в силу. Марфа любит его еще сильнее.

Однажды Митяй, как всегда, сидел на краю плота и, опустив ноги в воду, рыбачил. Вот он подсек тайменя, волосяная леска натянулась, как струна, вытащил. Затем сазана. Шумел и кричал. И вдруг у его ног взбурлила вода, сильно ударил огромный хвост по воде, обдал Митяя каскадом брызг, а когда брызги осели, там, где сидел Митяй, было пусто.

— Митяя рыба съела! — истошно закричала Марфа. И как была, в сарафане, лаптях, калугой ринулась в воду. Она за Митяя в огонь шла, пошла и в воду.

Марфа пловец хороший. Ныряла, плавала по желтой глади Амура, но Митяя не было видно.

— Митя-а-а-ай! — неслось над рекой, а в этом крике и боль и стон.

— Ну чего базлаешь, дура, вот он я,— вынырнул Митяй и саженками поплыл к плоту.

— Боже, жив, целехонек! — пыталась Марфа обнять Митяя прямо в воде, но Митяй оттолкнул ее и начал карабкаться на плот. Вылез, выплюнул воду и сипло заговорил:

— Значитца, поймала меня рыба-кит за ногу и поволокла на дно. Я не спужался, а развернулся и кулаком по морде да по морде. Потом схватил за усищи и давай их дергать из стороны в сторону. Вот так я его, вот так,— показывал Митяй, как он дергал за усы кита.— Я дюже боялся за очки, утони они, не нашел бы, где верх. А так ниче, дал я тому киту. Вот ус ба вырвать, хороша штуковина для лески.

— Ну слава богу, живехонек, потони ба ты, утопилась ба и я. Не жить мне без тебя. Помирать — так вместях.

— А вот ежли тебя слопает рыба-кит, то я не буду топиться, хоша немного поживу за-ради потехи душевной... А ежли умру, то не хочу тебе попадаться и на том свете.

Митяй стал героем дня. Плавал на лодке от плота к плоту, рассказывал, как дрался с рыбой. Но каждый раз выходило по-другому. Наконец договорился, что его голова даже была в пасти кита...

— А какой он из себя?

— Ды с корову будет али чутка поболе...

Митяй врал безбожно. Рыбу не увидишь в амурской воде, мутная. Все решили, что Митяя мог схватить за ногу сом. Ловили они гигантов сомов. Могла и калуга.

Однажды попала им в сеть калуга, пудов на тридцать, всем табором ели несколько дней. Соглашались, что в такую пасть мог проскочить Митяй, а Марфа едва ли.

Плывут пермяцкие плоты. К веселью примешивается и настороженность, ее заронил Аниска, он говорил, мол, маньчжуры

переправляются с того берега, ловят проходящих людей, живьем запекают в глине, как рыбу, а потом едят горяченьких. Хотя до сплава он говорил, что маньчжуры мирные люди, те, кто землей живет. Издали видели на том берегу одну деревню маньчжур, вторую, третью, никто из маньчжур и не пытался напасть, работали на своих огородах. Плывут себе люди, ну и пусть плывут. И совсем перестали страшиться, когда прошли место, где в старину стояла крепость под командой казака Хабарова. Чаще стали попадаться стойбища гольдов, а эти и вовсе мирные люди, сами боятся, чтобы кто их не обидел.

Повеселел и Аниска. Маленький, увертливый, непоседливый, он все умел: рыбу закоптить, заездок поставить, отмять рыбью кожу, штаны сшить, лодку выдолбить из цельного дерева. Наставлял мужиков:

— Учитесь, пока жив Аниска.

— Учимся. Пошто же не поучиться у хорошего человека? — степенно отвечали пермяки.

А дни идут. Вот уже июль на исходе. Травы вымахали в рост человека, пора бы причаливать к берегу, сена ставить. Рыбы накоптить, насолить, домишки срубить. Зимы здесь долгущие, ветреные, как говорил Аниска, в палатке окостыжишься. Да и надоели те палатки.

Но большак вел и вел ватагу: а вдруг, мол, за тем поворотом Беловодье откроется.

А потом дальше стало хуже, Аниска не знал здесь Амура, поэтому плоты все чаще и чаще садились на мели. Стягивали, снова шли.

А порой закипало на плотах неудержимое веселье. Феодосий, как всегда, начинал первым. Кричал:

— Степка, бросай руля, доставай свою гармозу, плясать буду! Жарь нашу «Барыню»! Жарь ее, суку старую!

— Грех! Грех! Не блазните дьявола, только сошли с мели, можем снова по его наущению сесть.

— Жарь, Степка! Ноги зудят, беси туда забрались. Жарь, Степка!

Степка разматывал тряпки на своей гармошке, растягивал мехи — и над Амуром гремела залихватская «Барыня», задорная и заковыристая. Враз веселела река, будто берега и те улыбались.

— В аду, в аду вам плясать на горячей сковородке, а тебе, Феодосий, первому,— орал Ефим.— Беси вас будут шпарить в смоле!

— Хрен с ними! Еще посмотрим, кто кого будет жарить. Сюда, поди, еще ни один черт не забирался... Жарь, Степка. А ты отогрелся, другое заговорил о боге. А там тожить его поругивал. Жарь, Степка! «И-эх, барыня с перебором, ночевала под забором...»

С плотов дружно подхватывали:

Барыня ты моя, сударыня ты моя...

— Выходи, Меланья! Грех беру на себя. Ить вижу, что ноги в пляс просятся... Жарь, Степка!

Плоты подбивались друг к другу и огромным хороводом кружились посреди Амура.

— Ходи за мной, Мелашка! Напляшемся вдосталь здесь, а на том свете такой красотищи не будет. Гля, просторищи, ажно дух захватывает, теплище! Жарь, Степка! Ходи, Мелашка!

— Одумайся, старый, сыны вона хохочут!

— От радости они хохочут. Поди, Андрей в кандалах не много хохотал? Вона куда шаганули! Как вспомнишь, сколько наши ноженьки прошли за два года, душа млеет.

Вспыхивала Меланья, птицей порхала в круг, враз делалась на десяток лет моложе, в молодости-то поплясала, и шла за своим неугомонным Феодосием. Бог высоко, поп далеко! Судить некому. А что Ефим ворчит, то не страшно.

Барыня околела, много сахару поела...

Через несколько минут плоты ходуном ходили, плясали пермяки, не жалели лаптей.

Эй, бей сильней,
Не жалей лаптей.
Если эти пропадут,
Парни новые сплетут.

Барыня ты моя,
Сударыня ты моя...

Просыпалась древняя тишина на застоялой земле. Тишь и безлюдье, лишь иногда остановится гольд в берестяной шляпе, опираясь на копье, глянет подозрительно на пришельцев и тут же скроется в травах, будто его и не было. И снова ни души.

— Жарь, Степка! Пусть Ефим отмаливает наши грехи. Это его планида. Жарь, Степка! Но придет еще час, когда Ефим может и бога проклясть. Все в нашей жисти могет быть. Жарь, Степка!..

На плот Силовых прыгнул Роман Жданов, за ним сиганула Стешка, его жёнка, бросили ворчуна отца — и пошли молотить мокрые плахи лаптями. Ефим орет им вслед:

— Запорю сукина сына! Запорю!

— Теперича уже не запорешь, сам себе голова. Будя! Немало порол, когда я поперек лавки лежал, все бога в меня вдалбливал,— хохотал Роман, шел вприсядку, ловко, легко.— Жарь, Степка!

И Степка, черт, наигрывая, тоже шел боком, боком, вприпляс, молотил лаптями...

Опускались над Амуром зачарованные вечера. Сочные, переспелые краски вспыхивали на закате. И каждый закат был по-своему причудлив и неповторим. Ароматы трав и цветов, что настоялись на росах и ветрах, плыли к табору пермяцкому, мешались со сладким дымом костров. А следом шли молчаливые туманы, опускались на волны, шептали свои были, сулили невиданную радость. Засыпала земля. Засыпал кочевой табор. Лишь Амур катил и катил свои волны к морю, туда, куда спешили пермяки. Дышал шумно, дышал могуче... Клонились травы от рос, зябко вздрагивали. Подмигивали кому-то звезды, слали свой сочный свет. Хрустели на зубах коней сочные травы, звякали, и тоже сочно, ботала на коровах.

Каждая ночь на новом месте, каждую ночь новые кострища. Чу́дно все же познавать землю, еще радостней жить на ней. Чу́дно сидеть у костра, под звездами, луной ли и слушать сказы деда Феодосия. Сегодня его очередь с внуками пасти коров и коней в ночном. Внуки у ног деда, подперли ручонками подбородки и слушают старую сказку. На свой лад переиначивает ее дед:

— В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, на берегу Камы-реки, жил да был мужичок-пермячок. Жил бедно-пребедно. Ни денег у него, ни хлеба, ни радости, ни счастья, ни воли мужицкой. Хуже жисти не придумаешь. С воды на траву перебивался. Хромал, горбился. И розги на него, и солдатчина, и подать, и барщина, и вошь, конешно, и всякие болести. И сердце охляло, и в душе темень. С голоду помирать начал. Пошел к Каме-реке и спрашивает: «Кама, Кама, ответствуй мне, как жить, как дальше по земле ходить? Ить ты течешь тыщу лет и еще три года, все должна знать по старости своей. А?»

Вздохнула Кама-река и тихим шепотом ответила: «То так, много лет я бегу в этих берегах, по этим землям. Всякое видела на своем веку. Но вот такого никогда не видела, чтобы мужик сеял хлеб, но сам не ел его, чтобы баба доила корову, а молоко не пила, чтобы мужик петуху голову сек, а мясного в рот не

брал. Такое бывает только в самых плохих сказках. Это то же самое, что мне зваться рекой, а быть без рыбы. Тогда я не река, а ты не мужик. Могу дать совет: уходи отселева. Без царя ты проживешь, а вот царь без тебя — нет. Уйдешь, он тогда и даст тебе цену, когда сам наголодуется, позовет. Друзьями станете. Уходи на реку Амури. А у меня возьми капельку воды, вылей ее в Амури, хочу породниться с ним, чтобы он полюбил тебя, стал бы тебе советчиком и другом, помощником и братом. Амури даст тебе землю, рыбу, мясо. Хлеб будешь сеять только для себя, излишки друзьям, рыбу ловить тоже только для себя, пить молоко тоже сам».

«А волю даст ли мне Амур? Волю!»

«Волю тебе никто не даст. Сам добывай. На земле нет воли, ее надо добыть. Прощай! Да Каму-реку не забывай. В сердце ее своем держи, бо она тебя родила. Тосковать будешь, не тоскуй, знай, что моя капля живет в той реке,— значит, и я там живу. Не кручинься, что нескладной вышла жисть на моих берегах, там будет складнее. Прощай!»

— Деда, а деда, а каплю мы принесли Амуру? — звенел в ночи детский голосок.

— Принесли, та капля здесь, с нами, с Амуром.

Ночь брела по росистым травам. Тащила за собой звезды, как конь тяжкий воз, баюкалась. Вздыхал Амур.

— Поспите, потом я вас разбужу, сам чуток вздремну.

— А как же тот мужик?

— Живет ладно. Амур принял его и полюбил. Все есть у того мужика, и даже воля, но нет у него прошлого. Он его оставил на Каме-реке. У вас же, дети, будет здесь свое прошлое, свое настоящее. Спите!..

Мужики все сильнее и сильне волновались. Начали раздаваться голоса, что пора, мол, останавливаться. Кто знает, где то море? Аниска там не бывал. Понимал Феодосий, что пора вставать: травы начали жухнуть, ночи похолодали. Недалеко и до осени.

И вот в Амур впала тысячная речка. На его левый берег наполз угрюмый отрог Сихотэ-Алиня. Феодосий шел на карбасе впереди плотов. Окинул взглядом сопки, долину, далекие озера, начал подбивать к устью речки. Первым ступил на берег, осмотрелся, а когда подошли плоты, дал команду причаливать к берегу. Плоты прибились. На крутой яр высыпали пермяки и пермячата. Всем было ясно, что большак решил здесь вставать на долгий постой.

А речушка шумела, плескалась, бурлила, всхлипывала, будто живая. Глянули в ту речку пермяки и обомлели: в речку шла

кета. Такого еще не видели пермяки, чтобы рыба не вмещалась в речке, выползала на берег, билась, рвалась в воду.

Только Аниска чуть скривил губы, сплюнул, сказал:

— Еще не такое бывает. Это идет летняя кета, вот пойдет осенняя, тогда держись. Та здоровущая, жирнущая! Знай лови, не ленись. Но и энту, пари, надыть брать. Кета сподручная рыба, можно вялить, коптить, солить, просто сушить. Едома добрая.

Косяк не шел, а вливался в речку. Вода выходила из берегов.

— Че она, дурна: на берег-то прет? — дивились мужики и ловили рыбу руками, тут же пластали на уху, из самок брали икру.

Аниска за несколько минут засолил ведерко икры и угостил пермяков.

— Экий ты умелец, Аниска, откель тебя нам бог подсунул. Пра, тут не обошлось без бога,— говорили мужики.— Раз, раз — и икорка на подносе, как барам.

— Ниче, и вы научитесь,— довольный похвалой, улыбался Аниска.— Я ить отродясь в тайге. Деды тожить были охотниками, мальцам свою науку передавали.

— Пошто вас зовут гуранами-то?— спросили мужики.

— А пото, что мы ходим на охоту в гураньих дошках, на голову тожить приделываем гуранью голову. Так ближе дикая коза подпускает. Не без того, чтобыть какой-нибудь раззява заместо гурана охотника торскнул. И такое бывает.

— Пошто ты похож на бурята-то?

— Бабка, аль еще кто-то дальше, была буряткой. Да и почти все забайкальцы похожи на бурятов, хоть и русскими считаются. Мужиков ведь гнали сюда, а баб откель взять. Вот и все перемешалось. А че, узкими-то глазами дальше увидишь, да и пыль не так лезет в глаза, — похохатывал Аниска, а сам острым ножом ловко пластал кету.

— Ну как, мужики, здесь встаем аль дальше двинем?

— От добра — добра не ищут. Оглядимся и будем строиться. Хватит нам бежать и бежать, — сказал Пятышин.

— Согласен,— кивнул Феодосий косматой головой.

— Окрестить бы надо речонку-то. Помолиться,— предложил Ефим Жданов.

— Можно, окрестим ее Силовкой,— подмигнул вожаку Иван Воров.

— Дело, пусть люд помнит, кто нас притащил сюда.

— Согласны.

— А места здесь угойные: рядом тайга, речка рыбная, покосы, найдется и пахотная земля.

— Амур — река не шутейная, разольется порой от сопок до сопок. Потому место надо выбирать на юру, — предупредил Аниска.

Походили, присмотрелись к местам, вышли на холмик.

— А здеся че не крутят? Гля, сюда вода не заходила, дерева не повалены, наносов нет, все чисто, как в глухой тайге. А потом — вокруг озёра, сзади нас прикроют. Враг не подберется.

Долго стояли на берегу пермяки. Вдали виднелись крутолобые сопки, которые уходили до самого неба. Под боком лес, да и плоты можно пустить в дело.

Тут же разбили палатки. За день-другой обошли острова, озера, чтобы знать, где косить, где пахать. Два озера назвали Силовскими, одно малое, другое большое. Деревню решили назвать Перминкой, в честь той земли, из которой пришли.

Начали строиться. Строились с большим размахом, похоже — на долгие годы. Отдохнут — может быть, узнают, где то Беловодье, чтобы снова тронуться в путь дальний.

Бабы косили травы. А травы густущие: прошел прокос, а сбоку валок по пояс. Литовку не протянешь. Подсохнет, можно сразу брать вилами. Жить можно, жить нужно...

3

Ладно встретили зиму пермяки. Рыбаки во главе с Аниской заготовили впрок столько икры и рыбы, что пермякам за два года не съесть. Феодосий ворчал, мол, зачем зряшно губить рыбу. Аниска отвечал:

— У нас есть соседи, пока недосуг к ним сбегать, сбегаем,— может у них быть беда, вот и выручим. Здешние люди могут жить на одной рыбе, мы же не сможем, нам к рыбе подай хлебного.

И пришла зима. Зима студеная, ветреная. Долгая зима. Но охотники не дремали. Аниска увел их в тайгу, учил ставить ловушки, строить луки-самострелы на белку и соболя, ставить кулемы на изюбров и сохатых. Добывать зверей без выстрела. Порох может сгодиться для других дел.

Кривоногий Аниска был неутомим. Он больше всех добыл соболей, колонков, крупных зверей. Посмотреть со стороны, кажется, что в чем только душа держится. Но Аниска один на один брал, с одной лишь рогатиной, медведя.

— Медведя добыть не сила надобна, бо сильнее медведя человека нет, а ловкость, паря.

Успел познакомиться с мылкинскими гольдами. Приводил их в деревню, здесь со всеми перезнакомил. Он же наладил торговлю с купцом, у которого пермяки за пушнину, звериные жилы, мясо брали муку, мануфактуру, соль, разные мелочи, без которых не прожить.

А весна была теплая, правда ветреная, с частыми дождями. Штормил Амур, и не всегда можно было попасть на острова, где пермяки подняли целину. Земли там жирные, с хорошим илом. Думали, что и арбузы будут расти.

Но осень была ранней: хлеба не дозрели. Вызрел только овес и ячмень. Правда, картошка выросла ладная, иные клубни были величиной с дыню, другие овощи тоже порадовали. Но хлеба...

И закручинились мужики. Повесили головы. Ежли не родятся хлеба, то какая это земля? Плохая, знать. Тягостно молчал и Феодосий. Не привел пермяков в Беловодье, не нашел теплой земли. Что же делать? Конечно, можно не сеять хлеба, а жить охотой, но, как говорят гольды, зверь не каждый год, пушнина не каждую зиму. Звери вольные «люди» — идут туда, где есть корма. Никому ни слова, но на будущую весну твердо решил уходить из этих мест и искать Беловодье...

Еще одна зима. Зима снежная, бескормная. Правы оказались инородцы: ушла белка, отошли в малоснежные места колонок и соболь, даже длинноногие сохатые ушли из долины и обосновались в отрогах Сихотэ-Алиня. И добывать некого. Немного добыли соболишек, белок, колонков.

Пасха. Медвяный запах от вербы наплыл на деревню. На Амуре разводья во льду. Пошла желтая наледь. Сильнее запахло снегом и сыростью. Земля просыпалась в весну: первые подснежники на подушках сопок, первые уточки в небе.

Косятся мужики на вожака. Вожак молчит, знать что-то задумал. Аниска рад. Душа бродяги зовет в неведомые края. А чего бы здесь не жить? Ну случился неурожайный год на пушнину, другой будет урожайным. Рыбы вообще невпроворот, да и мясо, грех жаловаться. Сдружились с гольдами. Люди как везде: есть добрые, недобрые, есть просто мерзавцы.

Понимают пермяки Феодосия — прошли через все земли российские, а что нашли? Холодновато, солнца не хватает для созревания хлебов. А какой мужик, если осенью он не попересыпает меж пальцев ядреную пшеничку, не пожует зерно? Жить одной рыбалкой и охотой — это не по нутру Силову. А коль сказывают инородцы, что есть земли теплее, так отчего бы их не поискать?

Феодосий часто ходит на берег, ждет начала ледохода. Уходить будет. Кто с ним? Пойдут Аниска, Андрей, Сергей Аполлоныч, Иван Воров, Митяй, это уж точно; может, еще кто пойдет. Да и Беловодье, чтоб его... не дает спать, сидеть. Хоть и долдонит Аниска, что нет его, так на то он и Аниска, чтобы языком молоть. Вор узкоглазый... А почему Аниска вор? Здесь он чужого в руки не взял, каждому друг, сват и брат. Э, Феодосий, не ругай Аниску, он тебе еще не единожды послужит. Без Аниски пропасть можно. Держись за Аниску.

Отторгнула душа эту землю. Не смогла прикипеть. Зовет снова дальняя дорога. Стынет старик на зябком ветру. Вторая весна намечалась быть холодной. Не лежат руки к работе. А ить надо бы сараями заняться, новых подстроить, земли под целик подобрать. Навоз вывезти на огороды. Нет, он ждет ледохода... Пусть над Сихотэ-Алинем вьюжат ветры, лежит снег, весну не остановить.

Пришел с моря гиляк, успел проскочить на нартах по Амуру, привез бумагу от капитана Невельского, он приглашал мужиков на низовья Амура, помочь строить крепость; еще была бумага, где приказывалось всем не обижать народы, живущие на берегах Амура, ибо все это земли русские...

Вспоминали мужики: уж не тот ли Невельской, что дал затрещину жандарму? По званью вроде он, по обличью тоже он, гиляк его живописно обрисовал. Ведь и видели-то одну минутку. Но память у мужиков хваткая — кажется, он. Но и другое: раз пришел туда офицер, значит, за ним придут урядники, жандармы, разная нечисть. Эко беда! Захочешь бежать дальше, а впереди уже выставили заслон! Могут и осудить за самовольство, беглые ведь. Но не затем шли сюда мужики, чтобы вертаться назад. Чуть что, так могут уйти в тайгу. А ее здесь, слава богу, край непочат. Благо, они уже знают, что спрятаться есть где: места зверовые, долины широкие. Там еще русские люди и ногой не ступали. Аниска все проведал, вот пострел! Хорек маленький, но везде поспевает. Но везде холодновато. Если бы чуть тепла...

— И все же надо уходить отсюда,— ворчал Феодосий.— Бежать пока к тому офицеру, все прознать, а уж оттуда чапать дальше. Тоже, видно, добрый непоседа. Аниска, а за морем земли есть?

— Знамо, есть, море не быват без конца и края. И у моря есть берега, как у всех озер,— со знанием отвечал Феодосию Аниска.

— Может, за морем лежит Беловодское царство?

— Может, и лежит. Земля велика, не все люду ведомо, паря.

— Бежать будем отселева, Аниска? А?

— Хоть счас. Я люблю бегать. За каждым извилом реки новые земли открываешь. Душе радость и глазам не в тягость.

— А ежли нет того царства? Тогда как?

— Знамо, нет. Но мы найдем другое, свое царство. Пошто говорю «нет», что не верю, чтобыть в том царстве мужик жил сам по себе. Никто бы его зад кнутом не чесал. Где мужик, а уж царь тут как тут. Здесь вот нет заправских мужиков, нет и путящего царя. Но все едино этих людей кто-то грабит. Нет и не будет мужицкого царства.

— Брысь! Не нуди душу. Грамотен шибко.

И тесно в груди у Феодосия. Он вожак, он голова, он за все в ответе... Надо уходить к этому Невельскому — похоже, свойский мужик.

— Аниска, а пошто тебе хочется бежать и бежать? А?

— А пото, что кто однова убежал, вот как я, из дому, тот всю жисть будет бегать да земли новые смотреть, народ тоже. И где я был? Жил с даурцами, люди ниче, хорошие, потом с манжурами, ежли бы не грабил их — тожить люди ладные, потом забежал в Китай, там жил средь русских, кои прозываются албазинцами.

— А пошто русские-то оказались в Китае?

— Давнее энто дело. Осадили, значит, китайцы и манжуры крепость Албазин. Пала. Пленили наших и увели в Пекин. Кому-то головы посрубили, а многих жить при себе оставили. Потома русские цари упросили китайских царей, чтобыть для русских открыли церковь, свою миссию. И че, живут люди, при случае и русским помогают, коль кто в беду врухался. Знамо, связь с царским двором держат, своих лазутчиков в Расею засылают, те сказывают, что и как в Пекине. По обличью многие схожи с китайцами, потому как оженились на китаянках. Ну и вот и я, меня там тожить схватили, хотели смерти предать, но дружок Гурька, по прозванию Албазинец, выручил. Сидеть бы дома, а вот неймется. Душа куда-то зовет и зовет.

И вот заскакал по хребтам теплый ветер, погнал прочь зиму, нес весну. Ласково обдувал бороду строптивому пермяку, мягкими лапами трогал щеки, будто просил остаться на этой земле. Э, нет, дудки! Решил — отрезал!

Жаль, сгинул Сурин, он бы сказал, где то Беловодье. Он-то уж должен знать?..

И вот загремел ледоход на великой реке. Будто пушечная пальба открылась над Амуром, лопались льдины. Вспучилась спина зимы и развалилась. Покатился холод в море. Высыпали на берег пермяки, посмотреть на силушку амурскую неуемную.

Рассказывал гольд-старик легенду, будто поссорился дух воды с духом земли, дух земли и скажи, что, мол, заставлю течь Амур вспять. И бросил на пути горы. И правда, потек Амур вспять. Но скоро подкопил силу и как надавил на горы, все кувырком пошло. Пробил новое ложе, но уже к другому морю.

Где такую силищу остановишь?

Орет, как блаженный, во все горло Феодосий, чему-то радуется. А вокруг гомон уток, гусей, лебедей, журавлей... Земля ожила. Прут льдины, ломят все на своем пути. Аниска выбежал на Амур, баба его орет, мол, утонешь, язви тебя. А он прыгает с льдины на льдину, хохочет. Господи, клопишка, мышонок — а туда же!

Поскользнулся, ухнул в воду. Утонул. Но нет, не таков Аниска, вынырнул и тут же, как белка, поскакал дальше. Оседлал льдину и плывет на ней, покачивается.

— Будя, Аниска! Дьявол, сгинешь, а ить ты еще мне надобен. Выходь на берег! — ревел Феодосий, но голос его глушил грохот ледохода.

Вьюнком крутится Аниска на льдинах, меряется силой с Амуром. Отвагу свою испытывает. Черт, а не Аниска!

Вскрылся Амур, прошли последние льдины, мягко понес свои воды, ласкается к берегу, лечит раны, что нанес ледоход.

А следом за ледоходом шаланды пошли с того берега под парусами. Одиннадцать штук насчитали мужики.

— Это манжуры. Они плывут. Беду несут. Готовь, Феодосий Тимофеевич, оборону,— проговорил Аниска.— Их паруса, их люди. У меня глаз вострый.

— Но ить нас мало. Перехлещут, и баста.

— Гони ребят к мылкинцам, зови не на чай, а на бой. Скоро зови их на подмогу.

— Может, без боя договоримся?

— Знамо, надо пока без боя, а потом все одно будет бой. Манжуры обязательно грабят деревни. Ихний царь не плотит им за работу, вот и живут грабежом.

— Энто как же?

— А так же, поначалу все будет мирно, а ночью на сонных и грянут. Тут каждый гольда об энтом знает. Прячут все в тайге, только чуть оставляют для грабежа. Не оставь, то могут уханькать, — мол, все спрятал, и пограбить нече! Таки энто люди, пакостные и охальные люди.

Пока шаланды приставали к этому берегу, охотники успели зарядить ружья, приготовились к бою.

Лаяли собаки, купленные пермяками у гольдов, кричали бабы, прятали детей по клетям, загоняли кур в курятники.

— Ружья пока спрячем, чтобыть энти варнаки не знали, что мы оборужены,— подсказал Аниска.

— Ружья под яр, сами у яра встанем. Поначалу поговорим с разбойниками по-доброму,— согласился вожак.

Шаланды причалили к берегу. Маньчжуры знали о поселении русских. Его хорошо было видно с Амура, новые, тесаные дома высились над берегом. Аниска подался назад, прошептал:

— Дэк с ними Гурька Албазинец, помнишь, я о нем говорил,— уже сюда переметнулся. Вот сволота, прикатил! Я захоронюсь за вашими спинами, послухаю, о чем они будут талалакать.

Аниска нахлобучил рысью шапку на глаза, спрятался среди мужиков.

Маньчжуры высыпали на берег. Бегом одолели яр. Тут их встретили мужики с поклоном. Это понравилось вожаку, он крикнул на солдат, чтобы убрали ружья. Заговорил быстро-быстро.

Гурька Албазинец переводил:

— Он сказал, что манжурский царь Даньцинь послал их на ваш берег, чтобы привести русских под высокую руку царя. Собрать с вас дань за два года. Приказал жить с вами в дружбе и мире. Кто не согласен покориться, того они вынуждены будут немножко побеспокоить: заковать в цепи и отправить в тюрьму. Там вас скормят тиграм и барсам, которых держат при себе. Сдавайте соболя и живите себе на здоровье.

— Слухай, парнище, а ты откель ихнюю речь знаешь? — спросил Феодосий.

— Албазинец я, потому и знаю. Там живу,— показал он в верховья Амура.

— Ну, ну. Ладно, не то.

— Соболя отдавайте, царишка у них злющий, ежли что не так, то дажить себе руки кусает от злости, стервец. Потому без шуток.

— Ладно, не уговаривай, а скажи, сколь давать вам, варначинам? — насупился Феодосий.

— По три шкурки соболя с души.

— Но ведь энто грабеж! — загремел Феодосий.

— Не без того, а кто кого не грабит? Царь грабит нас, а мы грабим людей. Тем все и живы,— усмехнулся Гурька.

— Земля гольдяцкая и гиляцкая, а распоряжаетесь, как своей! — не унимался Феодосий.

— Ты, дед, не гуди. Видишь, сколько солдат? Пальнут по разу, а на шаландах еще пушки, — и нет вас вместе с деревней.

— По-русски-то читать могешь? Хорошо, тогда чти вот энту гумагу,— сунул Гурьке вчетверо сложенный лист.

Гурька Албазинец пробежал бумагу глазами, потом начал читать вслух, переводить прочитанное: «От имени Российского правительства сим объявляется всем иностранным судам, плавающим в Татарском проливе, что, так как побережье Тихого океана и весь Приамурский край до корейской границы, с островом Сахалин, составляют российские владения, то здесь никакие самовольные распоряжения, а равно и обиды обитающим здесь народам не могут быть допустимы. Для этого ныне поставлены посты в заливе Исакай и устье Амура».

— Ха-ха! Вот это да! — воскликнул Албазинец. Здесь он явно был на стороне русских.— Зело борзо!

Вожак нахмурился. Звонко что-то прокричал.

— Платите ясак, бумагу эту он не признает,— перевел Гурька.

— Эко кричит,— знать, не по душе гумага. Ниче, скоро признаешь, ежли сейчас не признаешь.

— Однако, мужики, пошли за соболями,— бросил Сергей Пятышин.

О чем-то громко переговаривались солдаты, даже ругались.

— Кто откажется, того будем пытать водой, колоть пятки ножами, резать уши, а потом — в кандалы. Живо сюда соболей. Не открутиться! — шумел Гурька.

— Заплатим.

— Сколь душ, чтобы честно, не то считать почнем, все дома переворошим,— грозил Гурька.

— Шестьдесят пять.

— Вот и несите с каждой души по три соболя. Мы раскланяемся и уйдем дальше.

— Платим, у вас сто ружей, а у нас одно, и то завалящее,— схитрил Феодосий.— Гумага и верно для вас не резон. Пока придет к нам подмога, наши косточки на сто рядов изопреют,— соглашался Феодосий.

Пришлые заспорили азартнее. Даже кто-то кого-то ударил. Аниска незамеченным ушел с мужиками.

— Что им надо, о чем спорили? — схватил Аниску за руку Феодосий.

— Они делили дома, кому какой грабить. Деревня, мол, богатая, такой еще грабить не доводилось, потому за каждый дом спор.

— Та-ак! Знать, ты был прав. Ну что же, будем думать, как наказать грабителей.

— Запросто. Счас они грабить не будут, я тожить об энтом говорил. Потому успеем приготовиться. Энти ворюги — страшенные трусы... Но и тати тожить страшенные. Баб почнут сильничать, ежли мы не оборонимся. Видел я их грабежи.

— Спаси тя Христос, Аниска! Господи, неужли ты есть средь нас? Ить ты послал Аниску-то, как своего ангела. Я, грешным делом, господа-то поругиваю. Аниску тоже.

— А меня нельзя не ругать, ить я шубутной, паря. Куда как шубутной. У вас уже чуток отвадился драться, а то ить выпью хмельного и в драку. Синяки-то не сходили с морды. Наша родова вся така, драчливая. Вона и мылкинцы идут, тожить ясак несут.

— Их будут грабить?

— Знамо, будут, но поначалу нас, а уж потом их.

— Расплачиваемся, и пусть уходят. Апосля зови сюда и мылкинцев, сообща будем беду отводить,— приказал Аниске Феодосий.— Да сам не кажись на глаза Гурьке, признает, все похерится.

Соболя отданы. Шаланды ушли в низовья Амура. Пермяки и гольды рыли окопы, готовились к обороне. Гольды готовы защитить свои очаги, жен, детей, биться с грабителями насмерть.

Солнце как никогда медленно ползло по небу. Закатилось. Взошла луна и повисла калачом над Амуром. Замерла, как замерли мужики в окопах. Ветер дул с низовьев. На лунную дорожку вышла шаланда, за ней вторая, третья, и пошли одна за другой, крадучись, к берегу.

— Ну, чья правота? — буркнул Аниска. А то его уже начали поругивать, мол, мерзнем здесь зря, манжуры уже давно на своем берегу.

— Пошто же Гурька нам не шепнул, что грабить будут? Ить он будто за нас,— загудел Феодосий.

— Будто за нас, но когда касаемо денег, тряпья, то тут Гурька сволочь из сволочей. Бабник и грабитель. Он меня не просто выручил из пекинской тюрьмы, а за золотой рупь. А здесь на десять золотых можно грабануть. Хунхуз он отменный. И все на Варьку Андрееву глаза косил. Приглянулась. Ссильничать задумал, паря. А кому он только не служил? Только вы в него не стреляйте, как-никак — русский.

— А где впотьмах разберешь. Бить будем всех огулом.

— Пусть выдут на берег, так больше переколошматим, а кого и в плен возьмем,— предложил Пятышин.

— Дело,— согласился Феодосий.

Шаланды воровски пристали к берегу. Забрехали собаки. Солдаты начали выпрыгивать в воду, карабкаться на берег, так им не терпелось пограбить. Кучно бегут. А тут — жуткий в своей неожиданности залп в упор, свист стрел в упор. Насмерть. Раздались крики, стоны, рев. Пока пермяки перезаряжали свои ружья, гольды засыпали солдат поющими стрелами. Те бросились к шаландам. А им вслед, теперь уже на выбор, били из ружей пермяки. Солдаты срывались в воду, тонули, спешили укрыться за толстыми бортами шаланд. С головной шаланды рыкнула пушка, чугунное ядро врезалось в яр, выбросив комья земли. Это Гурька Албазинец стрелял. Он не пошел на приступ, будто чуял, что русские могут их встретить. Укрывался за бортом. Шаланды с трудом отошли от берега, встали в отдалении на якоря.

— Эко хорошо мы их проучили,—нервно хохотнул Феодосий.— Подбирайте раненых, пленных берите, сами руки подняли.

Нервные смешки прокатились над берегом. Охотники пошли подбирать раненых и брать пленных.

— Спаси тя бог от всех напастей, Аниска. Эко упредил! — обнял Аниску вожак.

— Эй, Гурька! Здоров ли ты? — закричал Аниска.

— Кто ты? Откель меня знаешь?

— Я Аниска! Здоров ли ты, спрашиваю тебя, паря?

— Слава богу, здоров. Это ты подслушал наши разговоры?

— Знамо, я. Ить я давно знаю вас, дьяволов. Ну как мы вас? Вдругорядь пошибче долбанем.

— Ну погоди, черт кривоногий, я тебе припомню это дело. Как словлю, на кусочки разрежу и воронам брошу.

— А ты слови! Исподтишка ты ловить мастак, а ты в бою слови. Идите сюда, мы еще вам дадим жару.

С шаланды грохнула пушчонка. Ядро чиркнуло по воде и утонуло, не долетев полсотни сажен. Мужики захохотали.

— Дура, не жги порох, выкуп будем брать порохом и свинцом! Десять пленных да полтора десятка раненых. Убитых еще не считали, сам сосчитаешь. Деньги считать могешь, и это смогешь. Будете брать своих-то, аль мы их добьем,— кажись, у вас так заведено, раненых добивать? Не слышу:

Гурька длинно выматерился.

— Золотой ты с меня взял, ты его вернешь апосля, счас других делов много. Помни, золотой рупь за тобой!

Утром подошла к берегу шаланда. В ней сидел главарь и пятеро солдат-гребцов, Гурька. Все без оружия. Гурька, пряча глаза, тихо сказал:

— Мириться приехали. Заберем раненых, пленных и убитых.

— Сволочь ты, Гурьян! Будь моя власть, то счас бы повесил тебя на суку! — загремел Феодосий.

— Тиха! — поднял руку Аниска. — После драки кулаками не машут. Выкуп,— вышел вперед.

— Чего просите?

— Пять пудов пороху, десять свинца, взятую пушнину в обрат.

— Послушай, Аниска, ты их законы знаешь не хуже меня. Порох и свинец у нас есть, можете требовать еще больше, это все его. Наш вожак остатние портки сымет, но выкуп даст за своих. Но соболей обратно не требуйте,— миролюбиво говорил Гурька, будто и драки не было.

— Хотелось мне вас под топор подвести.

— Пожалей, Аниска, ить ты не без креста.

— А ты без креста — шел на нас? — шумел Аниска.

— Ладно, будя, дело говорит Гурька,— вмешался Пятышин. — Ежли мирно, то, может, больше не посмеют грабить. К пороху пусть подбросят мануфактуры, они ить купцов своих тожить грабят.

— Все дадим, только драки больше не затевайте.

Аниска, уже без Гурьки, выставил свои требования вожаку. У того и глаза на лоб, откуда, мол, знаешь наш язык.

— От верблюда,— по-русски бросил Аниска и продолжал перечислять, что требуется дать защитникам: — Сто топоров, пять кусков дабы синей и черной, порох, свинец, ружей десяток...

Главарь даже попятился от Аниски, начал кланяться, потом завизжал, на губах пена, замахал руками, рукава широкого халата метались на ветру.

— Все. Гурька, ты грузи раненых и убитых, а пленных возьмешь потом, когда вернете нам выкуп. Ты уж там распорядись, чтобыть все в точности исполнили. Мы этих держать не будем. Сожрут больше, чем сами стоят.

— А может, мне с вами остаться? — повернулся Гурька. — А? Обрыдло ить служить этим нехристям.

— Нет, перевертыш ты. А потом, кто однова шел войной, то и вдругорядь пойдет. От таких не жди мира,— отрубил Аниска.

Все, что потребовал Аниска, отдали маньчжуры. А когда отошли от берега, то начали обстреливать деревню ядрами. Но ядра не долетали. Прекратили стрельбу. Гурька на прощанье грозил Аниске:

— Поймаю, то в песок закопаю, чтобыть у тебя торчала одна голова! Кишки на руки намотаю! Язык твой поганый вырежу!..

— Плыви, плыви, смотри, чтобы тебя Аниска вперед не поймал,— ответил Гурьке Феодосий.

Снова мир воцарился на этих берегах. Но мужики несли дозор денно и нощно. Тревожный колокол даже повесили. Откопали где-то. И вот он загудел, затревожился. Охотники похватали ружья, среди ночи высыпали на берег. Были и бабы здесь. Ружей хватало, их тоже учили стрелять. Мало ли что может еще случиться...

К берегу ходко шла шлюпка. При луне было видно, как на носу шлюпки стоял морской офицер и смотрел на деревню в подзорную трубу.

Шлюпка уткнулась в берег, матросы опустили весла. Сошли на берег. Тишина.

— Как у бога за пазухой живут. Спят. Напади грабители ночью — и всех перережут,— проговорил офицер.

— Зряшно вы так думаете, ваше благородие,— вышел из окопа Феодосий.— Мы ить вас приметили еще за вторым криуном. Дозор донес, что плывет большая лодка. Ждем.

— Хе, молодцы! Растяпами едва не назвал. Ниже вас убийцы вырезали стойбище гольдов. Детей не пожалели. За вас мстили. Мы наслышаны, что вы им хорошо наклепали. А тут, думаю, уши распустили. Укоротим скоро им руки. Будет здесь мир.

— Сам-то с миром ли пришел?—хмуро спросил Феодосий.

Пермяки окружали матросов, ружья наперевес, готовы выстрелить.

— Против такой армии не смею воевать. С миром, конечно, с миром!

— Ну, ежли с миром, то сказывай, чей и откуда?

Офицер бросил руку к козырьку фуражки, отрапортовал:

— Лейтенант Бошняк, прибыл к вам по распоряжению капитана первого ранга Невельского, чтобы провести с вами переговоры и о мире, и о войне! — Опустил руку, крутнул длиннущие усищи, широко улыбнулся.

Посветлели лица мужиков, веселый человек его благородие.

— Ну, богатыри первопроходцы, ведите нас в дом, зябко что-то,— потер руки Бошняк.— А солдаты вы смелые, умные... окопы, молодцы! Без смелости и хитрости не отстоять нам землю русскую. Похвально.

— Какие мы солдаты, мужики — еще куда ни шло.

— В нашем деле и мужик и солдат — гожи. Прознал про вас Геннадий Иванович и гонит меня в три шеи,— мол, поезжай, и баста, что там за смельчаки такие появились? А не помогут ли они нам крепости возводить?

— Какие там еще крепости? — проворчал Феодосий.

— Русские, с крепкими стенами. Обитатели того берега вас едва не пощипали. Отбились.

— Они еще попытаются напасть, — бросил Пятышин. — И защитить некому.

— А еще попытаются на нас напасть англичане, французы, американцы, да мало ли еще кто. Значит, для этого надо строить крепости. Без них — нам могила! Слезно просил вас Геннадий Иванович, чтобы шли на подмогу, без вас трудно будет. Слышите, мужики!

— Слышим, проходите в дом. Ветер могет наши слова подхватить и разнести по тайге, в чужие уши нашептать, там и до ворогов наших дойдет. Милости просим, ваше благородие! Господин Бошняк!

— Хорошо вооружились. Армада ладная.

— Надо. Врагов у нас тьма. Вот вы зовете нас к себе, а ить мы одно что ссыльные, еще и беглые. Словите нас и на каторгу. Так-то, ваше благородие! А каторга, кому она мила! Ить и Расея-то похожа на большую каторгу. Не, не зови,— уже за столом говорил Феодосий, после первой кружки пива.

— Зря вы так говорите. Здесь будет другая Россия. Россия без помещиков и без казенных людей. Здесь будет вольная Россия.

— Это вы говорите, пусть об этом скажет царь. Он свое не упустит.

— Зря вы таите обиду на царя. Царь тоже за эту землю радеет. И тоже понимает, что ее может защитить только вольный мужик. Сейчас тем более, когда народу здесь мало. Вам все простят, а Невельской уже давно все простил. Он сам из таких ж самовольных людей. Наказан был.

— Пошто же? Расскажи, знать же нам надо, к кому пойдем?

— Расскажу, если просите.

Выпили еще по кружке пива, а тут и солнце взошло. Бошняк рассказывал, смело рассказывал, знал, кому рассказывает.

— Россия никогда не ценила сынов своих,— говорил Бошняк, подкручивая усы.— Разве что Петр Первый мог из простого мужика сделать адмирала, если он был умен, смел, дерзок, сделать мужика своим сподвижником, поднять на ноги, дать власть. Сейчас все похерено. Царский двор поглупел. А там подлые заговоры, подножка, подсидка. Нашего Невельского не признают, ему завидуют, с ним не считаются. А ведь он открыл устье Амура. Он привез в Петербург радостную весть, что Амур имеет выход в море, а не теряется в песках... Теперь нам надо

все сделать, чтобы Амур был наш, земли эти не достались французам или англичанам. Вот и решайте, можно ли вам пойти к Невельскому или нет?

— Хе, можно ли? Наговорить просто, как сделать? Каторга мила тюремщикам, они с того хлеб едят, а не нам.

— Не поверили? А зря!

— Подумаем,— ответил Феодосий.— Здесь мы вольны, манжуры пощипывают, так мы их скоро отвадим.

— Невельской выпросит для вас у царя прощение.

— А нам оно без надобности. Да и слугами царскими больше не будем. Вертаться в кандалах назад — лучше сразу умереть. Расея нромеряна нашими ногами. Ушли от недобра и неволи,— куражился уже для вида Феодосий, а у самого грудь распирало, что снова в путь, снова в дорогу. Тем более их просят, сам офицер просит. Уж не тот ли офицер послал его сюда, который врезал затрещину жандарму?

— Да поймите же, что без вас я не могу вернуться. Французы и англичане уже бороздят Тихий океан. Готовы на нас напасть. А у вас золотые руки, кому, как не вам, строить крепости, города, а при случае и врага бить.

— Оно конешно, грешно такому человеку не верить, как ваш Невельской, однако и с верой спешить нельзя. Барин есть барин. Мягко стелет, да спится жестко. Но ежли дело касаемо самой Расеи, то и думать долго нельзя. У нас ить исстари повелось, что, ежли враг у ворот, кончай раздоры, а собирайся в кулак и вали на врага всей Расеей. Гони супостата. Царь еще не Расея,— начал сдавать Феодосий. А мужики усмехались да чесали бороды. Хитрющ Феодосий. Ломается.— За привет спасибо! Кто нас привечает, к тому и мы с добром,— поклонился Феодосий.

Много раз собирались мужики, чтобы поговорить без лишних ушей, спорили, рядили, но Феодосий твердо сказал:

— Вы как хотите, но я иду к Невельскому.

— Твоя задумка известна, ты еще с зимы лыжи навострил,— заговорил Пятышин.

— Тогда чего же спорить? Поначалу Невельской, а там уйдем в Беловодье. Должно оно быть, видит бог — должно! Не те энто земли. Не те. А раз не те, то чего ж здесь знобиться? Ежли это тот Невельской, то человек душевный, не оставит в беде. Будем вместях бедовать, и барин и мужик. А кто в моря хаживал, те все добры.

— Но ведь уже обжились, да и живем ниче, куда еще бежать?

— Вот что, Серега, не хошь, не зову! — отрубил Феодосий.—

Разуметь надо, что и как: гибли наши в Сибири? Ради чего? Ради того, чтобыть найти добрую землю, сердешную землю. Раз задумали найти Беловодье, то найдем. Задумал Невельской доказать ярыгам, что энто Амур, а энто Сахалин, и доказал. Мы тоже докажем.

— А как не найдем? — прищурил глаза Пятышин.

— Тогда и жисть без антиресу. Должны найти. В писании сказано, что есть земля обетованная. Люд тоже о том талдычит. Пойдем и найдем. А Аниска че знат? Свое знат, свое делат, и не больше. Его, ежли он не пойдет, то силком поведу, а вас не неволю. Все! Кто хочет, пусть остается, а кто с нами — пошли. Ты, Иване, сын мой, идешь ли с отцом?

— Нет, тятя, остаюсь здесь. Чего же еще мотаться?

— А ты, Андрей?

— Иду с тобой, тятя. Сделал шаг, то делай другой. Найдем Беловодье аль нет, но с тобой.

— Добре, а тя, Аниска, и не спрашиваю, пойдешь, и баста!

— Хе, ежли бы не пускал, все одно бы пошел. Куда тебе без Аниски? Аниска, когда надо, подслушает, беду отведет.

— Хватит хвалиться, идучи на рать, ты после рати похвались,— оборвал Аниску Феодосий.

— Значит, без Аниски ты не можешь прожить, Феодосий, сын Тимофеев? А как же ты хочешь прожить без кузнеца? — с обидой в голосе сказал Сергей Пятышин.— А? Ну то-то. Иду с тобой. Иду. Привязал своей мечтой, как бычка веревочкой к возу.

— А вы, други мои, Иване, Ефим, Митяй?

— Э, чего говорить, раззудил наши души, изделал цыганами. Бегим, бегим и сами не знаем куда. Давай еще однова промнемся. Не привыкать,— ответил за всех Иван Воров.

— Не однова еще придется проминаться, и этот променаж не остатний раз. Спасибо! Так и скажем посланцу: идем, мол, но чтобы только не обижали нас. Не то бунт поднимем. Мы такие.

— Про бунт смолчим,— остановил Пятышин.— А насчет обид скажи. Пошли. Ждет, поди, не дождется.

— Меланья! Гоноши стол, разговор с его благородием будем вести,— закричал с порога Феодосий.

Мужики сели на лавки. Начал разговор Феодосий:

— Трогаем за вами, ваше благородие. Не все, но кто смелее, трогаем. Сделали из Перми шажок, сделаем и другой.

— Неймется тебе, старый, все хочешь быть первым! — заворчала Меланья, подавая на стол.

Застолье, конечно, не то, что в Перми: тут и рыбные пироги,

и свежее мясо, сушеное, вяленое, разные пирожки, шанежки. Репу и черный хлеб давно забыли. И пиво, и ханжа. И конечно, многим не хотелось срываться с насиженного места. Ведь куда ни придешь, снова надо строить дом, поднимать земли, целинные земли.

— Когда мужики говорят, бабам не след вмешиваться. Так и передайте вашему капитану, что вскорости мы и прибудем. Путя много ли?

— Порядком, на плотах за две недели должны добежать.

— Не столь много, больше шли.

Короткое застолье, и Бошняк ушел в низовья, чтобы передать Невельскому радостную весть. И о том, что идут к нему мужики, и о том, что строят они деревни. Надо больше звать сюда народ, помогать обживать эти земли.

Кто отъезжал, те начали собираться в дорогу. Разбирали дома, чтобы из них же сбить плоты, дерево сухое. Но как-то лениво. То ли страх перед дальней дорогой закрался в души, то ли чуть побаивались Невельского... И все это Феодосий! Снова плетись за ним. Вот не сидится!

Но Аниска, Андрей и Феодосий уже разобрали свои дома, сбили большой плот, чтобы коней и коров вместить, самим вместиться. Глядя на них, зашевелились и другие. Уходило к Невельскому восемь семей. Пошел и Фома. Хотя его Феодосий отговаривал, мол, сиди на месте, обжился ты хорошо, не трекайся за нами.

— А на кого оставлю Фроську, ить внук скоро будет? Внял? — вспыхнул Фома.

— Ну тогда топай с нами. Но только чтобыть без баловства.

— Побаловался, и будя,— проворчал Фома и пошел разбирать дом. Зять помогал.

Не успел остыть след от шлюпки, как за ней потянулись плоты. Снова на плотах ржание коней, мычание коров, кудахтанье кур и крик петухов. Здесь ребячий гомон, плач. Разливы Степкиной гармоники. Шла ватага самых смелых, самых неспокойных русских мужиков. С них здесь началась Россия, будут они строить ее и на берегу Тихого океана.

И скоро, очень скоро следом потянутся плоты тамбовцев, вятичей, украинцев, мордвы — пойдут тропить широкую дорогу, тоже смелые и неспокойные.

В тайге стоит пробить кому-то тропинку, а через год дорога на месте тропы. Дорога к зверовым местам, к рыбным, просто к друзьям. И чем прямее она, тем лучше. По плохой и ненужной тропе никто не проложит дорогу. Скоро она зарастет травой, и люди забудут след того, кто по ней проходил.

4

Течет река, могучая, полноводная. Наверное бы, усохло море, если бы не питал его тугой струей Амур. Срываются шальные ветры, и закипает река волнами, высокими, неистовыми, и хлещут, и хлещут они по косам и ярам, будто хотят сокрушить берега, чтобы разлиться широко и просторно.

— И несет нас к черту на кулички,— ворчал Ефим.

— Это уж точно,— степенно отвечал Сергей Пятышин.— Несет нас нелегкая, да и только. Чего не жилось? Это Феодосий с Аниской нас сполошили. Эко ветрище-то,— прикрывая лицо кожаной рукавицей, соглашался кузнец.

— А помните, тот старик из гольдов нам рассказывал, он уже и забыл, когда родился, что они прежде жили в теплых краях, но была большая война, и они ушли сюда. Бежали, словом. Знать, тот сказ к месту. А вдруг на той земле и прижилось Беловодье? — гудел Феодосий.

— Да хватит тебе со своим Беловодьем-то, все уши прожужжал! — вскипятился ни с чего Иван Воров.— Нишкни! Плывем, и помалкивай. Нелегкая занесла нас на край земли, а что еще бы надо. Так подай нам самый краешек. Посмотрим, что и как там.

— Э, край, край! Сколько мы уж земель посмотрели, в одном месте чутка теплее, в другом холоднее — вся разница. Расея была и останется холодной страной. Просто у нашего вожака на сидячем месте зудится. Вот и бегаем за его зудом.

Амур все шире, глубже, мелей почти нет. А сопки все выше, хмурей, поросли непролазным ельником, пихтачом, наваливаются на Амур. Не смог он за многие годы раздвинуть эти громады, так и остался в веках в старом русле...

Впереди редкие дымы. Может быть, это стойбище инородцев. Э, нет! С косогора загремели пушки, а дым пороховой тут же подхватывал ветер и относил за лес. Отродясь не слышали такого грохота пермяки; сорок пушек сразу салютовало смельчакам, чуть не посигали с плотов.

Плотам, как судам, приказал салютовать Невельской, будто эти «суда» вернулись из дальнего плаванья. И Феодосий это понял. Улыбнулся, сказал:

— Ладно привечают.

— Встречают ладно, как спать придется — мягко аль жестко.

— Перин не будет, траву бросим под бока.

— Я беглый с каторги, не прознал бы про то Невельской.

— Молчать будешь, кто за тебя скажет. А наши и забыли, что ты каторжник. Этого не боись,— успокаивал сына Феодосий.— И верю, ко всему, я энтому человеку, ты не видел, как он стебанул одного офицеришка, ежли бы видел, то такое не подумал.

Плоты пристали к берегу. Навстречу Феодосию шагнул Невельской.

— А ну-ка, ну-ка, покажитесь нам, русские мужики, коим нет преград на морях и сушах. Покажись, человек-непоседа, человек-хожалец,— обнял Силова Невельской. Поцеловались.— С такими мужиками не захиреют эти берега. Жить им тысячи лет и еще больше. Ура русским мужикам!

Грянуло стоголосое «ура!». Вспугнуло тишину таежную, как и салют пушек, разбудило сопки, закатилось в белопенные волны, выплеснулось на крутой берег.

— Звали, вот и пришли,— засмущался Феодосий.— Еще и потому пришли, что не забыли ту затрещину, кою вы вкатили жандарму.

— Это какую же?

— Помните метель, каторжане, жандармы убили одного, а потом вы подъехали. И ругались, и ударили того мальца. Теперича мы признали вас, ваше благородие.

— Тихо, нельзя об этом говорить, мужики. Матросы слушают, что подумают обо мне, скажут, а капитан-то наш драчун, сами начнут драться между собой,— хитро улыбался Невельской.— А здесь надо драться только с противником, с друзьями — дружить.

— Мы ить, ваше благородие, только вам на ушко,— тоже хитро прищурился Феодосий.

— Ну, ежли только мне, то куда ни шло. М-да! Сибирь велика, а мир тесен. Вишь где нам пришлось встретиться. Передохните, мужики, потом мы вам поможем выгрузиться. Затем поставим дома. Вы первые мои помощники из мужицкого сословия. Пост надо укреплять. Эх, и наградил бы я вас за смелость, долготерпение, но награждать вас нельзя, беглые вы. Придется умолять государя, чтобы простил вас за самоуправство. Иногда он и прощает,— затаенно усмехнулся Невельской....

— Без наград обойдемся. Хватит нам и вашего привета. А то, что беглые мы, о том забудем на пока. Вдругорядь поговорим. Примай, ваше благородие,— тоже с невеселой усмешкой отвечал Феодосий.

— Как не принять! Звал, знал, кого звал. Смелых мужиков звал. Знаю, что вы все можете: стены крепостные ставить, железо ковать, по врагу стрелять. Царь Петр прорубил окно в

Европу, а мы здесь с вами прорубим окно в Японию и Америку.

— Че окно, мы здесь, ежли што, то и ворота поставим,— усмехнулся Пятышин.— Вместе и на петли повесим.

— Спасибо на добром слове! Эти ворота многим отобьют желание посягать на эти земли. Для них мы ворота закроем, а для себя откроем. Так я говорю, мужики?

— Истинно так. Человек, он спокон веков был завистлив, все норовит к соседу через заплот посмотреть, как, мол, там у него, неможно ли что стянуть. Так уж неправедно бог сотворил человеков, нутро с червоточинкой поставил. Не прознал и досе бог-то всех тонкостев людских,— хитрюще улыбался Феодосий.— Иcделал Еву из ребра Адамова, думал — праведно иcделал, будут она и Адам гулять по его саду, а они бац — и подвели бога-то под монастырь, человеков народили. А человеки-то те то бунтуют царя, то бога, но чаще в затишке клянут на все корки, потом в бега, в голове разные задумки, э, мало ли еще там что.

— Как звать-величать?

— Феодосий Силов, сын Тимофеев.

— Ты когда это бога-то растерял? А? Не приму я тебя, еще безбожниками нас сделаешь,— смеялся Невельской, смеялись служивые.

— Дорога была дальней, вам ли ее не знать, да все пешки, просишь бога об одном, другом, а он и ухом не ведет, быдто его и не просили. Так вот и перессорились с богом-то.

— С богом нельзя ругаться или мириться,— строго сказал Невельской, не оглядываясь на матросов и офицеров, но зная, что они каждое его слово ловят,— бог не француз или англичанин, подрались, и снова мир. Бог навсегда, бог в душе и навеки. Нет, так и наказать может.

— Эко, сколько же можно наказывать-то? Зад сечен, ноги и руки в мозолях, душа наизнанку вывернута. Не страшно после того, что довелось нам видеть. Ну ин ладно, кажите, где нам разбивать табор и ставить свои избушонки?

— Покажем, а сейчас обедать, потом все покажем.

— Эко хитер русский мужик,— хохотал среди друзей Невельской.— Даст бог слабинку, помирюсь. За словом в карман не полезет.

Строились мужики, складывали из плотов дома. Но все както наспех. Душой чуяли, что не засидятся здесь долго. Снова поведет их дальше Феодосий, вот только прознает про свое Беловодье и поведет...

А дни шли, складывались в недели, месяцы, годы. Приходил сюда адмирал Путятин на фрегате «Паллада», с ним был человек, о котором говорил Невельской, что он борзописец. Сплавился губернатор Сибири Муравьев-Амурский, кто на плотах, а он на пароходе «Аргунь». На Камчатке шли бои. Гремела война в Крыму. Пиратские суда англичан и французов бороздили воды Тихого океана, но пока не смели напасть на Николаевский пост, добрым уроком для них было нападение на Петропавловск-Камчатский. Константиновская батарея смотрела жерлами на лиман амурский. На горе Сигнальной стояла пушка, которая при заходе врагов должна дать сигнал. Строилась Чнырахская крепость, которая закрывала бы собой вход в Амур. Строилась по специальному указу царя, под руководством неугомонного Невельского.

И здесь же пермяки, которые, сил не жалея, помогали строить и временные укрепления, и крепость. Невельской не мог нахвалиться мужиками. Особенно Феодосием, который наметанным глазом осматривал каждое бревнышко, тут же ругал нерадивого:

— Стой, лешак тя забери! Как бревно положил? А ну глянь, ить дырища-то получилась — ядро пролетит! Для кого стараешься? Для француза, стервец? Тебя же, варнака, убьет. Кладите бревна ровнее, плотнее, мужики. Новую Расею здеся строим. Ей туточки стоять века.

Феодосий везде успевал. Однажды матросы заносили пушку на батарею, кто-то оступился — и загремел ствол по сходням, скатился вниз.

— Эх вы, матросики, руки бы у вас поотсыхали! Разве так надыть радеть для Расеи? Охломоны! А ну-ка, пособите положить стволик на плечо. Вот так,— крякнул Феодосий и начал подниматься по сходням. Вздулись жилы на шее, буграми ходили мышцы под рубахой, подгибались колени, но Феодосий шел, нес ствол на батарею. А когда дошел до лафета, тут ствол подхватили и положили на лафет. Выдохнул: — Вот так надыть строить, родимую!

Восторженный Невельской подбежал к Феодосию, обнял его и расцеловал. На глазах слезы. И снова над Амуром, над сопками прогремело «ура!».

— Спасибо, Феодосий, таких бы мне тысячу, я бы тут такое развернул! Загудели бы эти берега. Эх, брат, не будь ты ссыльным да беглым, то представил бы тебя к награде! А так не могу. Муравьев меня понимает, слышал, что он сказал: «Такими людьми полна Россия, но дорог им нет...» Награждаю тебя чет-

вертью спирта, и отныне ты будешь поднимать и спускать андреевский флаг. Выше у меня наград нет.

— Премного благодарен за честь,— поклонился Невельскому Феодосий.— Но я не за награду радел, Геннадий Иванович, а за новую Расею, от души старался. Колупаться и глаза по сторонам таращить нам некогда. Враг рядом, могет и проглотить. Потому робить надо, чтобы жилы лопались. Сунутся сюда, а мы им под микитки, задохнутся и отступят. Другим будет неповадно. Я так мыслю своим мужицким умом.

— Правильно мыслишь, Феодосий Тимофеевич. Сунутся, а мы им под микитки, как дали в Петропавловске. Пусть и многое там потеряли, но враг познал силу солдат и народа. Спасибо! — белозубо рассмеялся Невельской.

Крепость строилась, вставала на берегу Тихого океана, с крепкими стенами, с крепкими воротами. Кое-кто мечтал отрезать начисто Россию от Тихого океана, но те планы и мечты разрушили Невельской с солдатами и мужиками. Отрезали пути в эти земли.

У строителей ныли плечи от переноски бревен, прели от пота рубашки. А Невельской мало платил, плохо кормил. Но никто не жаловался, не роптал. Солдаты и мужики знали, что придет время — заплатят сполна, накормят досыта. Сам Невельской ходил полуголодный. Чего же с него спрашивать? Работали не за деньги или страх, а за совесть. Ради той мечты, которую сумел заронить в сердца людей Невельской. Главное в той мечте было — поставить здесь крепкую, сильную Россию, и их труд не пропадет даром. Если они не получат сполна, то за них получат потомки. След их не затеряется на земле. Не смоют его прибрежные волны. Не смоют. Не затопчет враг. Не затопчет.

Рыба есть, мясо тоже, картошка ладно родит, перемогутся.

Фома изредка ворчал:

— И для ча все энто? Голодуй, рви пуп, кому надо?

— Тебе, детям и внукам твоим, дурило. Расее, вот кому надо! — рычал на Фому Феодосий.

— А потом придут сюда царские ярыги и нас в кандалы,— не сдавался Фома.

— Какие кандалы? Об этом уже все забыли. По́том своим, а может быть, еще и кровью сымем вину, ежли она есть. Ты гля, какую крепостищу строим! И уже многое построили, пусть сунутся сюда хрунцузы аль англичане, дадим так по сопатке, что тут же окочурятся.

По острову Сахалину бродил Бошняк, наносил на карты его берега, в то же время искал полезные ископаемые. Нашел уголь. Другие сподвижники Невельского брели по берегу моря,

зарисовывали бухты и заливы, открыли Де-Кастри, тоже нанесли на карту, реку Амгунь прошли, озеро Кизи изучили. Все старались, сил не жалея. Росло Николаевское укрепление, росла крепость на берегу.

Феодосий Силов, несмотря на приветливость Геннадия Ивановича, как-то не сошелся с ним. Чуть сторонился капитана. Оно и понятно: как всякий мужик, боялся высокого начальства. Но зато сблизился с Бошняком. То ли потому, что Бошняк пришел к ним первым, то ли за его смелые высказывания при первой встрече, то ли за свою простоту — полюбился. С ним можно было поругать царя, его порядки, душу отвести. Даже учил Феодосия многому, например ходить в тайге по солнцу, звездам, шире понимать мир людей и земли. Он же полностью отверг легенду о Беловодском царстве. Говорил:

— Пойми, Феодосий Тимофеевич, земля не столь велика, чтобы не знать о том царстве. А скоро и вовсе не останется белых пятен на земле. Люди, как муравьи, копошатся, ищут, открывают, находят. Будь то царство, давно бы нашли. Другое дело, что южнее устья Амура, к корейской границе, лежит теплая земля, нетронутая, ничейная земля. Вот где работа по плечу мужицкому! А Беловодье — это бред.

Невельской давно уже решил подремонтировать старый, списанный фрегат и послать его еще в один рейс, чтобы увезти мужиков в теплые земли. Он, как никто другой, понимал, что любая земля сильна не солдатом, а мужиком.

Мужик заложит первые деревеньки, которые станут крепостями. Солдат может отступить, а мужику отступать некуда, он за свою землю будет держаться руками и зубами, если она придется по душе. Не отступит.

Пришла радостная весть — Крымская кампания закончилась. Захватчики ушли восвояси. Ушли они и от берегов Тихого океана. Теперь море свободно для плаванья, в море мир.

В июле Невельской должен был уехать в Петербург. Он тогда не знал, что уезжает навсегда. Не пустят его больше в эти земли, присвоят адмирала и оставят служить в столице чиновником.

Фрегат был готов принять груз и людей. Готов он был и в плаванье. Амур вскрылся. Все шло споро: грузили коней, коровенок, кур и многое другое, что могло пригодиться на новой земле. Невельской говорил:

— Там дяди не будет. Мы не столь скоро можем прибыть к вам. Поэтому требуйте от нас больше, мы же, конечно, постараемся дать меньше. Пороху дадим, свинца тоже. А с тобой,

Феодосий Тимофеевич, мне надо поговорить. Чураешься ты меня. С Бошняком ты смел.

— Да как сказать, чураюсь ли? Бошняк птаха помене — знать, к мужику ближе. Потом и заботы не те, что у вас, потому лишний раз отрывать от дела не моги.

— Ладно, не в этом суть. Суть в том, чтобы вы, придя на новые земли, тотчас же завели бы друзей среди инородцев. С собой берите семена пшеницы, ржи, чтобы ваши пашни скоро зазеленели. Больше гвоздей, отпустил их вам. Стройтесь крепко, надолго, и пусть то место будет для вас Беловодьем. Думаю, что это будет для вас последний поход. Я бы хотел, чтобы он был последним.

— Ежли все ладно, то будет последним.

— Рискую, но посылаю вас на старом судне. В России лесов с избытком, умельцев хоть отбавляй, а суда строить некому. И все потому, что во многом ладу нет. Катит наша российская тройка под яр. На своей земле и поколотили нас. Может быть, теперь кое-кто зачешется, и начнем строить суда и крепости.

— То верно,— согласился Феодосий.

— Немало на Руси умных и головастых мужиков, но им ходу нет. Страдают наши правители старческим тугодумием. Боятся мужика, его размаха боятся. Одного не поймут, что чем сильнее мужик, сытее, тем злее он будет драться за Россию.

Пришел час заката. Последние льдины толклись в бухте. Золотистые нити брызнули по вспененным волнам. Вдали голубел берег. На паруснике все еще стучали топоры. Волны мочалили на косе бревна-плауны. Туман начал зависать над дальними сопками, сел на скалы.

— Прощаюсь надолго, встречусь с вами на новой земле. И все же душа болит, за честь России болит, за русского мужика болит.

— У меня вдвойне болит, да и у каждого русского она болит. По-умному-то, земель здесь на всех хватит, только бы все энто уберечь. Саму Расею уберечь от растерзания. Болит еще и потому, что не нашел своего Беловодья. Теперь верю, что нет его. Значитца, надыть строить такое Беловодское царство по всей Расее. А кто будет строить, когда цари породнились с немцами. Будь они русских кровей, может быть, и порадели бы за нас, сирых? Свою бы ложку запихнуть в рот, и будя. И выходит, что за дела расейские болеют больше мужики, чем цари, да кой-кто из офицеров. А ежли взять на поверку, то царь в первую голову должен болеть. И тех, кто глаголет правду, а не изрыгает лесть,— привечать. А их на каторгу, в цепи. Кто Аниска? Аниска бродяга, и тот болеет за Русь.

— Аниску я бы оставил при себе, уж больно он быстро сходится с людьми, языки даются, будто учен им с детства был. Головаст, умен, береги его. Он к любому сердцу тропинку найдет. И тебя прошу, чтобы вы жили с инородцами в мире. Они ваша подмога, а может быть, и защита.

— Будем жить в мире. Аниска поможет, он быстро с любыми начинает талалакать. Выручил нас,— может, еще не раз выручит. Не сумлевайтесь, все будет иcделано, как сказали.

— Еще скажу, что глубже пускайте корни в землю, врастайте, чтобы никто вас не смог выкорчевать. Все примечайте: где лежит золото, серебро, дорогие камни, руды. Потом все сгодится. И не считайте себя беглыми или ссыльными, а будьте хозяевами той земли. Вы первые проложите туда тропинку, по ней пойдут другие. Вот сбегаю в Петербург и снова сюда. Но может случиться, что не вернусь, сердце чует неладное, все равно знайте, что я с вами, что России здесь стоять вечно.

— Прощайте, свет Геннадий Иванович! Все наказы будут исполнены. Кого уж мы полюбим, тому не изменим.

Невельской на паруснике ушел на пост, мужики нетерпеливо ждали утра и попутного ветра.

Судно, уже загруженное, тихо дремало у причала, как усталый конь, который свое отработал. Случилась нужда, и снова запрягли в телегу старика. Сходи в последний путь, а там — на кладбище кораблей, на дно морское.

На палубе все. У всех лица сияют, рады новому переходу. Право же, и бабы заразились бродяжничеством. Помнит Феодосий, какой был шум, когда он предложил ехать в теплые земли. Знать, врали всё бабы, для блезиру шумели.

Был сход. Феодосий сказал:

— Невельской предложил ехать на юг, там ставить свое Беловодье. Что будем делать, мужики?

— Не поеду я дальше, хватит штанами трясти. Чуть обжились — и снова в дорогу. Черепки не успевам по полкам расставить. Не поедем. Бабы, орите во все горло, что не поедем! — кричала Меланья.

— Не поедем, снова волочешь нас в тартарары. Надоело бродяжничать! Ты да Невельской — одного поля ягода. Ему что, он укатит в Петербурх, а мы тут майся,— шумела Харитинья.

— Чего шумишь, ить сама рада, что снова в путя,— прервал Феодосий.

— Не пойдем! — прогудел Фома.

— Ну ты-то, Фома, пойдешь, это точно, не захочешь, чтобы Силовы отхватили кусок пожирнее. Не летный ты человек,

а ползучий. Мы тут Расею ставим на ноги, а ты колеса ломаешь,— рыкнул Феодосий.

Фома замолчал и больше голоса не подавал.

— Не брать его! — грохнул зло Пятышин.— Бабы кричат, это явственно, а когда мужик вопит, то непонятно.

— Ладно, ужо возьмем, девок он пораздал матросам. Аниска да Ларька при нем,— смилостивился Феодосий.

— Эх и рад же я, что снова в путя. Здесь ветер уже высушил мои мосталыги. Может, там отогреюсь. От вонючей юколы совсем отощал. Может, там оживу.

— Там тожить нам никто блинов не припас, Митяй.

— Беспутные вы кобели, ты тоже кобель, до коих пор будешь брести за Феодосием?! — орала Харитинья на Ивана.

— И чего кричат? — жалась плечом к Андрею Варя.— Все одно ить поедут. Пошла собираться. А вы, бабы, кончайте свару! Пошли черепки укладывать!

— Ах ты мой раскосенький,— гладила по глянцевым волосам Фроська Аниску,— рад, вижу, что снова едем. Ах, Аниска, любовь ты моя ненаглядная, может, хочешь без меня убежать?

— Дура, куда я без тебя, с тобой.

— Ну а ты, муженек, катим со всеми аль здесь остаемся?

— Пошла к черту! — взорвался ни с чего Ларион.— Обрыдла ты мне. А потом, зыркаешь ты глазищами на Андрея. Плесну крученой воды, и смотреть нечем будет.

— А ты на Лушку Ворову который год косишься. Давно созрела. А теперь еще проще, ее матросик распочал. Иди к ней. Не держу.

— Стерва! Убью!

— Не пужай, пужана. А Андрея я досе люблю. Но сам видишь, что на шею не висну. Просто люблю, и все тут,— уже дома доругивались Ларион и Софка.— А тебя давно разлюбила. Ты ить приживальщик мой. Не благословлены, не венчаны, как все добрые люди, потому и нишкни. Хапну ножом под дых, и нет тебя. Обет-то я под дубом-клятвенцом не забыла еще...

А теперь Феодосий зашел на палубу и спросил:

— Бабы, по любви ли идете на новую землю?

— По любви, по любви! Чтоб ты сдох, черт старый! — ответила Харитинья.— Загонял, замурыжил!

— Все шумишь?

—. С тобой не шуметь, то заведешь на край света.

— Не на край, а на самый краешек уж завел. Дальше море и море, чужие страны. А это будет краешек земли русской.

— Не слушай ее, Феодосий. Харитинья отходчива, а мы уже давно отошли, отмякла душа. И самим хочется еще разок повидать новую землю,— заговорили бабы.

— И верно, хочется.

— Повадится собака за возом бегать — не отвадишь.

— Все будет ладно.

— Будет ладно. Скоро вы навсегда расставите свои горшки по полочкам, и будет над нами висеть мир и благоденствие. Одного жаль, что нет Беловодского царства. Свое будем строить. Голов не вешать! Гоношите вечерять!

Часть четвертая. В ГОРАХ ТИГРОВЫХ

1

Высокое, горячее солнце зависло над тайгой. Обласканная этим солнцем, среди первозданной тишины дремала бухта Ольга. Это имя дали ей русские моряки. Несколько судов из англо-французской эскадры преследовали русское судно. Пользуясь туманом, судно укрылось в неизвестной им до сих пор бухте. Преследователи потеряли парусник. И так как это случилось в день святой княгини Ольги, русские назвали эту бухту ее именем. В память избавления от врагов они поставили дубовый крест на горе, которую назвали Крестовою. И здесь же осталось четверо матросов, которые в 1854 году построили маленькую казармешку. Это был первый пост, первая постройка на этой земле.

Тишина... Тихо-тихо шелестели волны, так же тихо шептался с тайгой ветерок. Простонет над бухтой чайка и тут же смолкнет, будто крика своего испугается. Подавится тишиной. Рыжие

сопки упали на воду, опрокинулись вершинами и любуются собой, свое величие показывают. Но вот дохнул гулевый ветерок, подернулась рябью зеркальная вода, переломились тени. И тут же уснул: лень бежать дальше. Да и зачем бежать, когда здесь так хорошо и уютно. Немота, глушь и томление.

И крикнуть бы, разбудить бы тишину криком:

— Люди-и-и-и-и!

Завопить бы от этой тишины и скуки, ведь люди так или иначе стадные существа и не могут жить в одиночку.

Но кому крикнешь? Кого позовешь? Безлюдье и вековая тишина. Первозданность и забытье.

Вот в косом полете прошла уточка, плюхнулась на воду, крякнула вполголоса, ее тоже тишина придавила.

Вышел на берег изюбр. На крутом лбу уже торчали пантыпеньки. Фыркнул, боднул тишину, начал собирать водоросли на прибойной полосе и смачно жевать. Наелся, не спеша ушел в распадок подремать.

— Люди-и-и-и-и!

Упал на воду орлан-рыболов. Качнулись от его всплеска вершины сопок, растаяли в волнах. Выхватил рыбину из воды, тяжело полетел на сопку. Там сел на крест и начал жадно клевать добычу, рвать мощными лапами.

— Люди-и-и-и-и!

Вышел на берег медведь. Потянул в себя воздух. Еще не слинял, космат, взъерошен. Пошел вразвалку по выбросам. Унюхал протухшего осьминога, начал есть. Вкуснота. Долго ел. Затем повалялся на песке и тоже ушел в темные чащи тайги.

— Люди-и-и-и-и!

Здесь, кажется, нет людей. Никто не отзывается на крик. Не слышно говора и смеха. Но чу! Из-за рыжих дубков поднялся робкий дым. Барашковой шерстью закудрявился в воздухе. Поплыл над рыжими дубками, над гладью бухты.

Здесь две бухты — это Малая и Большая. А вокруг сопки, которые вплотную подошли к берегу, теснят его.

Дым потревожил уточку, поднял на крыло чаек. За дубками виднелась казарма. Значит, живы русские матросы. Невельской же боялся, что они погибли. Мол, придут переселенцы, и некому будет их встретить.

Из казармы вышел Лаврентий Кустов, потянулся до хруста в костях, бросил взгляд на бухту, проворчал:

— Боже, какая здесь тишь! И некому ее порушить. Ежли так же тихо в раю, то я супротив рая. Лучше ад, чтобы был грохот и шум.

— Че ворчишь? — вышел следом Дионисий Аввакумов.

— То и ворчу, что обрыдла мне эта тишина, все обрыдло! Ни мы к людям, ни люди к нам. И есть ли они туточки? Год уже мурыжимся, а подмоги нет. Ежли еще год будем стынуть в этом безлюдье, то я утоплюсь к чертовой бабушке! Медведи. Скоро почну рычать по-ихнему.

— Топись. Эко дело. Одним дураком будет меньше. А хошь, то и порычи, и то дело.

Дионисий сел на пень и начал ковырять шилом разбитый ботинок, накладывал заплатки на проношенные места.

— Дело завсегда отводит нудьгу. Пойди рыбы подергай. Красноперка в заливе — ажно бурлит! Аль пошел бы поискал инородцев. Ты ить средь нас заглавный. Но хошь и заглавный, но дурак! Пришли к тебе удэгейцы, а ты и слова не дал сказать, прогнал. Теперича ищи сам, сам проси прощения. А что тебе Бошняк наказывал: «Быть с инородцами в дружбе». А ты? Э, что говорить, нет у нас ни тыла, ни хронта. Отступать ежли придется, то и некуда. Потому не вянькай! Не трави нам души своей нудьгой! — вскипятился Дионисий.

— Русские не отступают! Матросы тем более, они дерутся насмерть!

— Эх ты, Аника-воин, что ж, по-твоему, русские сдали однова Москву, чтобыть поднять руки? Дудки, чтобыть того Наполеона голодом сморить, а потом заморозить. Ить зиму, акромя нас, никто не дюжит.

— Слышал уже. Не однова слышал, снова то же гундосишь. А прогнал я инородцев не зря, по глазам видел, что они шпиены чьи-то!

— Чьи же они могут быть шпиены, ежли живут на своей земле? Еще раз дурак! И вообще, старшой, кончай капуститься. Опустился, оброс, завонял потом. Не дело. Пойду-ка да истоплю баньку. В вид боевой себя приведем. Придут наши, а мы чисто дикари: патлаты, бородаты, провоняли, как росомахи. Стыдобушка!..

— Хватит, Дионисий, надоел ты со своими поучениями! — рыкнул Кустов.

— Могу и не поучать. Но скажу, что телесная чистота, как и душевная,— заглавное дело в нашей жизни. Завтра бой, недруг валит на нас, а как ты предстанешь перед врагом? Вот таким грязным, вонючим? Не позволю, хошь ты и старшой, срамить честь русского матроса! Почнут тыкать на тя пальцем и говорить, что завшивели русские моряки! — поднялся Дионисий.

— Пусть валят. Я готов хоть с чертом драться, но чтобы разломать эту тишь, глушь! Не могу сидеть без дела! — еще

больше взъярился Кустов. Но тут же обмяк, прав Дионисий, чешется жесткая щетина на подбородке, форма грязная, ботинки разбиты. Насупил цыганские брови, тряхнул нестриженой шевелюрой.

Грузный и медлительный Дионисий отбросил ботинок, улыбнулся пухлыми губами, проговорил:

— Можно и с чертом, но и с ним надо драться в чистой одежде. Матрос — везде матрос! Потому не срами чести андреевского флага. Пошел топить баньку. Десятый год службу тянешь, а порядков не знаешь,— Дионисий пыхнул трубкой и ушел.

Из-за дубков вышел Прокоп Саушко. Он сгибался под тяжестью добытой им косули. Бросил к ногам Кустова трофей, светло улыбнулся, сказал:

— Запарил, чертяка, завел ажно на Крестовую. Добыл. Жирен. Счас хлебова заварим, подкрепимся.

Прокоп начал свежевать косулю, Кустов лениво помогал. Казалось, что он болен. Но не жаловался, а лишь томился от скуки.

Бухая тяжелыми ботинками, с Крестовой бежал Викентий Чирков. На Крестовой был пост, оттуда море как на ладони. Задохнулся от бега, чуть отдышался, выпалил:

— В море парус! Похоже, фрегат. Прибивается к берегу. Противный ветер мешает.

Кустов вскочил с коленей, напрягся, как-то просиял, рявкнул:

— Ну! Готовьсь, братцы! Может, к бою, может, к встрече дорогих гостей? И все же к встрече! Невельской не должен нас забыть. Шлет помощь. Дионисий, шибче шуруй баню. Викентий, всех стриги, а бриться сами будем.— Ожил моряк, расправились плечи, заблестели в глазах искорки. Даже ростом стал выше, хотя и без того был с добрую сажень.

— Погоди радоваться,— одернул Кустова Аввакумов.— Может, то пираты английские пришли. Дадут нам перцу. Четверо супротив фрегата не сдюжим!

— Сдюжим! Заряжать пушки! В наших руках неожиданность. За спиной тайга. По паре раз успеем пальнуть, отойдем.

— А говорил, что русский матрос насмерть дерется? — усмехнулся Аввакумов.

— Че говорил час тому назад, то забудь, а что буду говорить счас, то выполняй. Ясно?

— Так точно, старшой! — козырнул Аввакумов и пошел в баню.

Кто бы ни шел, но ожили матросы. Брились, стриглись, чистили и стирали одежду, затем мылись в бане... И вот они были готовы — и к бою, и к встрече гостей...

Ночь тянулась небывало медленно. И ползла, и ползла над сопками, наконец показался ее хвост, он-то и вытянул за собой утро. Опять же тихое и туманное. Солнце долго путалось в этом тумане, размытым диском полоскалось в белой мгле, наконец разогнало туман, полыхнуло над бухтой. С моря дул легкий бриз. Парусник осторожно начал втягиваться в бухту, фрегат с андреевским флагом.

— Наши идут! Заряжай холостыми! — подал команду Кустов.— Прокоп, семафорь, кто и чьи?

Фрегат миновал Каменные ворота. Зашел в Большую бухту. Прокоп просемафорил: «Чьи будете? Куда следуете?» Ему ответили: «Ваши, идем вам на помощь, готовьте встречу».

— Салют, Дионисий, салют! — закричал Кустов.

— Да не ори ты, оглушил,— заворчал Дионисий Аввакумов, поджигая фитиль. Улыбался.

— Пли! — махнул рукой Кустов.

Ахнула чугунная пушчонка, откатилась на салазках. За ней рыкнула бронзовая и тоже откатилась. Разорвали, раскрошили тишину на мелкие кусочки. Гулкое эхо прокатилось над горами, подавилось собственным рыком.

— Заряжай! Викентий, шевелись!

Шел фрегат, нес уставшим жить в этой тиши и глуши матросам новости, русских переселенцев. Теперь уйдет за сопки скучливая тишина, зазвенит здесь смех, загомонят люди.

— Пли!

От второго выстрела с криком и стоном сорвались чайки с залива, молча, но с шумным хлопаньем крыльев — утки. Первый грохот пушек они приняли за раскаты грома.

С фрегата тоже ответили жидким салютом. Знать, и там была нужда в пушках и пушкарях...

И вот загремела якорная цепь, судно закачалось на мелкой волне.

— Ура-а-а-а! — что есть мочи закричали матросы.

— Ра-а-а-а-а! — раскатисто рыкнули мужики, бабы.

Заскрипели блоки, на воду легла шлюпка. Бошняк сошел на берег. Кинул руку к козырьку фуражки и отдал рапорт, не по чину отдал:

— Разрешите доложить начальнику поста, что в ваше распоряжение прибыли люди русские! — Затем махнул рукой и по-домашнему закончил: — Ну, чертушки мои, Лаврентий, Викентий, Дионисий, Прокоп, живы? Скажу честно, не думали мы,

что вы выстоите! Выстояли. Дайте я вас облобызаю. Четверо против всего мира! Боже, какие вы молодцы! Теперь и вовсе не сбежите, переселенцев вам привез, баб, девок,— шумел Бошняк.

— Куда нам бежать? Здесь Россия, со своей земли не бегают,— усмехнулся Кустов, радостный от похвалы. Хотя вчера он ворчал, нудился, знать духом ослаб, а тут хвалят.

— Спасибо, Кустов, спасибо, русские матросы! Выстояли! Теперь и подавно выстоите! Глубину бы промерить, фрегат к берегу подвести. Его адмирал Путятин списал, а мы подлатали и тайком перевезли переселенцев. Еще одну службу сослужил России!

— У нас все промерено. Вот туда, к скале, и будем ставить, там глубина до пяти сажен. Почти у берега встанет.

— Добре. Сейчас шлюпками отбуксируем, потом уж будем смотреть, что и как.

— Как там англичане и французы, воюют ли супротив нас? — спросил Кустов.

— Ушли. В России мир. Рады?

— Как не радоваться, миру всякий человек рад,— проговорил Дионисий.— Это Кустов готов воевать хоть с чертом, а нам лучше мир. Мир и тишина.

— Мир и тишина,— задумчиво сказал Бошняк.— Здесь-то уж мир и тишина. Как тут живы аборигены? Сдружились ли? Нет. Плохо. Но об этом потом.

Фрегат встал на якоря. По трапу начали сходить мужики, бабы, дети. Все с некоторым удивлением смотрели на хмуроватые сопки, но более веселые, чем те, которые они видели на Амуре, на ширь тихой бухты, щурились от яркого солнца, улыбались. Кажется, пришли в свое царство. Мечта об этом царстве завела их в неведомую землю. Ошалевшие от одиночества матросы обнимали целовали мужиков, баб, девок, детей. Шутили:

— Эй, Лаврентий, уж больно долго целуешь Софку. Муж у нее есть.

— Ладно уж, дайте живой дух почуять. Не отбиваю. От скукоты замлели.

— Как тута жизня?

— Жизня, братцы, что надо. Скукотно, то да. Зверья, рыбы, птицы, всего — завались! Земля здеся как пух. Кол посади — дерево вырастет. Я в зиму привадил к казарме фазанов, сотнями ходили на корм, брали только самых жирных,— хвастал Дионисий, чего с ним никогда не случалось.— Живите, не убегайте.

— Такого не будет, служивый. Нам отселева уже бежать некуда, да и несподручно. Сами шли сюда за мечтой и надеж-

дой. Может быть, это наша судьба. Так зачем же все это упускать,— ответил Феодосий Силов.

Лаврентий Кустов облапил Лушку Ворову, но тут же подался назад, опаленный ее жгучим взглядом. Она погрозила пальцем, сказала:

— Убери зенки, матросик, уронишь в море, кто доставать будет? А здесь хорошо; солнце, тепло, не ветрено,— потянулась Лушка. Пошла по прибойной полосе.

Лаврентий подался следом, но сдержал себя, только шумно выдохнул, будто из воды вынырнул.

Ну, а наш Митяй, как всегда, начал жизнь с приключений. Шел по трапу, сорвался и плюхнулся в воду. Не спасовал, а крупными саженками поплыл к берегу. Мужики выдохнули и сказали:

— Окрестился Митяй в морской купели, теперича уж точно жить нам тут до скончания века. Хорошая примета!

— Эко купель, ладная купель,— дрожал Митяй, отжимая бороду, дрожал и от испуга, и от холодной воды.

Бошняк распоряжался на судне, вокруг Лаврентия столпились мужики, слушали его рассказы.

— Земли здесь пустошные. Люда почти нет. Может, наберется пять-шесть чумов на всю Аввакумовку. Речку мы эту прозвали так потому, что в ней едва не утонул наш Дионисий Аввакумов. И больше мы о здешних людях ничего не знаем. Они тожить к нам не идут. Я в том виноват, прогнал инородцев.

— Дело исправимо, ты прогнал, а мы приветим, будем дружить с ними, все когда помогут в трудный час,— пробасил Феодосий.

— А так места здесь тихие, не суматошные.

— Видим, что тихие. Но земли не амурские, кругом тайга, пока пашню подымешь, не однова пуп сорвешь,— сердито бросил Фома.

— Не сорвешь. Жив будешь. Жаль, что никто тебе ее не приготовил. Пошли матросам помогать, потом наговоримся,— оборвал Феодосий.

Долго и шумно разгружались пермяки. Горы тряпья, бороны, сохи, ящики с гвоздями, грабли, вилы, черепки — все на берегу. Но последнего коня свели уже в сумерках. И может быть, впервые за сотни лет, с той поры, когда бешеные кони Чингисхана затоптали костры, омочили свои копыта в тихой гавани, монголы убили всех живущих на этих берегах, снова запылали костры, зашумели люди, запела и заплакала трехрядка, из тьмы ей вторил стон чаек. Тревожатся чайки, непривычно им слышать говор людской, россыпь музыки. Им ли только?

Везде тревога. С сопки топорщил рыхлые губы тигр, скалил клыки, чуть порыкивал, посматривая на множество огней. Ушел от шумного соседства изюбр. Ускакал за сопку табун пятнистых оленей. Убежали прочь косули. Еще и потому, что к этим звукам примешивался запах пота, густого дыма...

На бухту осели туманы, незаметные, мягкие. Закрыли воду, небо, табор пермяков. Тихо покачивались, ползли мимо, в сопки. Спит тайга.

Но не спит табор кочевой: новая земля, новые тревоги, заботы. Не приходил сон. Он стоял у изголовья пермяков, не спешил усыпить. Думы одна за другой всплывали в мозгу, будто шли они из глубины моря, с тихим шелестом накатывались, тревожили. Эти думы продолжились и во сне. Уснули пермяки, во снах обживают эту землю. Лишь не спят капитан Бошняк и старший матрос Кустов.

— Ни пушек, ни матросов я тебе не дам. Пороху и свинца привезли достаточно. Твоими солдатами будут мужики. Это бунтари, беглые, но эти люди, не жалея живота своего, строили Николаевские укрепления, Чныраxскую крепость, случись бой, они тоже бы не стояли в стороне. Во всем держись Феодосия и Пятышина,— ровно говорил Бошняк,— первый горяч, второй спокоен. Понимаю, что трудно будет отбиться с двумя пушчонками, например, от фрегата, но ваша сила в том, что вы всегда можете отойти в тайгу, переждать смутное время. Иноземцам не с руки здесь долго торчать на якоре. Уйдут, и снова земля ваша.

Скоро в капитанской каюте потухла свеча. А тут и рассвет рядом. Загомонили чайки, закрякали утки, загоготали припоздавшие гуси. Зашевелился пермяцкий лагерь, зашумел в тумане. Крики, звонкий смех, шумные шлепки по воде — все это разбудило туман. Он начал отползать от неспокойных людей, стекать в море.

— Ой, бабоньки, какой я сон видела,— сочным грудным голосом говорила Харитинья.— Быдто вышел из воды добрый молодец и стал звать меня в подводное царство, чтобыть я там царицей стала. Сам глазастый, чернявый, борода в колечки завилась, ласкает теплущими руками.

— Отъелась, заскучала по Ивану,— бросила Меланья.

— У голодной куме — хлеб на уме.

— Похож на Лаврентия, да? — хохотнула Софка.— Бороды только нет, а усы колечком.

— А ну вас, дайте досказать. Зовет этот молодец к себе,— мол, в золотом дворце будем жить, на перинах спать, нежиться, любиться,— а сам целует, целует, да жарко, ажно под животом

захолонуло. Едва отбилась,— досказала сон Харитинья, начала чесать льняные волосы густым гребнем.

— Вот почнем поднимать землю, то забудешь про своего молодца, силушка в землю уйдет.

— Да будет тебе, Меланья, ить то сон, а можно ли снам верить. Пустое. Знамо, приятственно, когда тебя красавец целует. Мой-то бородач совсем закосматился.

— Бес то, бес, а не добрый молодец,— с налетом зависти сказала Марфа.

— Ежли и бес, то все равно — к добру он приходил,— разгадала сон Варя. Но почему-то потупилась и затаенно вздохнула. Устало поглядела на Андрея, который стоял на камне и смотрел в даль моря. Вообще бабы давно стали примечать, что Варе неприятны разговоры о ворованной любви, измене, вообще о чужих мужиках. С Варей согласились, что сон, должно быть, в руку. Эта баба легко вошла в жизнь женщин, к ней прислушивались, верили, любили. И было за что: каторга, сибирская маета, спасение мужа сделали ее мудрей и многих баб добрей. Вчера она Софке сказала:

— Ты, душенька, не мечи свои жаркущие глаза на матросов. При муже живешь. Не хватало нам еще того, чтобы наши мужики с матросами подрались. Нам здесь надо жить одним миром, два ни к чему...

Софка другой бы бабе ответила дерзостью, но здесь смолчала и ушла в палатку.

Варя смотрела в спину Андрея. Ей давно хотелось рассказать, как и почему согласился их спасти Евдоким, а там будь что будет... Но мудрость брала верх. Зачем выдавать свою тайну? Живут хорошо, а что было, то быльем поросло. Андрей обернулся на ее взгляд, улыбнулся и сказал:

— Уж сколько лет прошло, как мы бежали с каторги, а все не забывается она. Но здесь-то, наверное, о нас не вспомнят?

— Не должны,— кивнула головой Варя.— Да и отработал ты ту каторгу: Невельскому помогал, работал, как все, ежли не лучше.

— Мне тожить приснился сон,— заговорила Парасковья Пятышина,— будто иду я по небу и собираю звезды в подол. Они тепленькие; звенят в подоле-то, пересыпаются, искрятся. Полнющий подол набрала и шасть домой. Сереге показала, а он и скажи, что, мол, для ча ты простых камней набрала. Я глянула в подол, а там и взаправду речная галька. Варь, а Варь, иди разгадай мой сон?

— А че тут разгадывать, разбогатеете вы, а потом снова станете бедными. А вот почему, того не знаю.

Варя редко кому нагадывала плохое. Зачем? Плохого в жизни и без того много; хорошего—как крупиц золота в пустой породе. Нагаданное может свершиться через год, два, спасибо скажут Варе, мол, праведно нагадала. А вот Пятышихе нагадала на зло. Не любила она Пятышиху, которая часто корила Сергея за то, что он сорвал их с места, детей сгубили, будто у других не умирали дети. Жадновата, высокомерна, мол, ее Сергей кузнец, а кто ваши мужья.

— Чевой-то ты мне, девонька, сон никудышний нагадала?

— Да уж как вам приснилось, то и нагадала.

— Ну, ну, поживем — увидим. Не обернулось бы это супротив тебя, дорогая Варюша,— елейно пропела Пятышиха.

— А я видела во сне тятеньку, будто ругал он меня, что бросила его одного в холодной могиле. А пошто он ругал? Скажи, Варя?

— Это хороший сон, Марфа Карповна; когда ругают, то все случается наоборот. Значит, хвалил он нас, просил любить энту землю, быть бы ласковыми с ней. Быть вам с Митяем счастливыми. А могилы — здесь ли они, там ли — все одно в земле.

— Вот и я подумала, что ругать меня не за что, теперича эта наша земля, мы ее выстрадали, ногами вымеряли, не однова горючей слезой омыли. Спаси тя бог, Варя, всех-то ты приласкаешь, всех-то утешишь. Ангел ты наш утешитель.

Туман рассеялся. С гор дул легкий ветерок. Фрегат поднял паруса и пошел в море. Пермяки, как человека, провожали судно, знали его участь, отдавали последний поклон. Поглотит корабль морская пучина, умрет, но в памяти этих людей он останется навсегда.

— Ну вот и все, давайте, мужики, отабориваться, место под деревеньку выбирать,— хмуровато сказал Феодосий, вяло побрел на яр.

— Выбирайте место, а строить и мы поможем. Но надо выбрать поближе к посту, далеко не след забираться, мало ли че? — проговорил Лаврентий Кустов.

— То так,— согласился Феодосий,— случись беда, скопом легче ее отвести. Андрей, Иване, коней седлайте, поедем посмотрим места тутошние.

— Недалеко от поста, в том углу бухты, есть поляны. Это рядом, можно и пешком добежать.

— Нет, поедем вершной, с коня лучше землю видно,— не согласился Феодосий.— Вот там речушка, как вы ее прозвали? — показал с яра на небольшую речку Феодосий.

— Ольгой. Это заглавная речонка, что впадает в бухту.

— Там и осмотримся.

Всадники проехали берегом бухты, выехали в долинку речки Ольги. В устье были полянки, но не столь много, чтобы можно было сразу соху пустить. Поехали дальше, в надежде подыскать чистые места. Не проехали и версты, как мимо них проскочил табун кабанов, несколько косуль ускакали в сопку.

На небольшой полянке стоял изюбр, увидев людей, сердито фыркнул, ушел в орешник. Андрей быстро сдернул с плеча кремневку, но зверь уже скрылся с глаз.

— Что говорить, землица будет трудной, полянок кот наплакал, кругом орешники да дубняки. Это не амурская земля. Придется немало покорчевать,— уныло проговорил Иван.

— Буде, Иване, не пускай вселенскую слезу, осилим. Сколь сможем нонче посеять хлебов, столь и посеем. Зверей ты сам видел,— не перевелись. Рыбы тоже много, бухта ажно кипит,— ровно говорил Феодосий. Хотя сам тоже с тревогой посматривал на эти непролазные чащи. Поработать придется.— А може, где есть земли почище? — повернулся он к Лаврентию.

— Может, и есть, скажем по Аввакумовке, но это далеко от поста, да и мы туда всего раз хаживали.

— Эх, вы, просидели год сычами, а землю не прознали! — проворчал Феодосий.— Ладно, с божьей помощью осилим. Глянем еще чуток и будем вертаться назад.

На поляне, которая была не больше цветастого одеяла, возился бурый медведь. Он огромными лапищами перевернул валежину. А под ней муравьи. Положил лапу на муравейник, ждал. Скоро муравьи облепили лапу. Этого и хотел старый космач, начал длинным языком слизывать муравьев. А они кислые. Лизал, от удовольствия кривил морду, закрывал глаза, громко чавкал.

Всадники остановились, медведь увлекся, не слышал их, смотрели на работу медведя. Лаврентий не удержался и закричал:

— Эй ты, варнак, ты для ча валежины сушишь? А ну, катись отселева!

Медведь рыкнул, воровато повернулся на крик, присел, на секунду застыл от недоумения: откуда, мол, здесь столько людей? Затем сложил тело вдвое и рванул в чащу, только тайга загудела. Ломал все на своем пути, ухал от испуга.

— Ха-ха-ха! Ну и трусишка. Амурские будто похрабрее. Помнишь, тятя, как на нас прыснул белогрудка, когда мы вот так же набрели на него? Едва ить отбились от черта косматого! — хохотал Андрей.

— Да, но тот свою тухлую кету защищал. А потом, он слышал нас, как мы шли, этот прослушал.

— Здешние медведи тоже не мед,— сказал Лаврентий.— На Дионисия вот такой же навалился, чуть не поломал. Добро, я был рядом, так штыком добил, а нет, то задавил бы.

— Да, зверя много, ежли не варначить, то долго можно будет бить за околицей,— проговорил Феодосий.

— А для ча здесь варначить? Лишнее продать некому,— пожал плечами Иван Воров.— Будем брать только в дело.

— Нонче некому будет продать, а через год-другой будет кому. Потому надо сразу порешить, что и как. Раз мужицкое царство, то и радеть о нем должны все охотники, чтобы не скудела, а множилась дичь таежная.

Повернули коней назад. Феодосий сказал:

— Выбора у нас другого нету. Время в обрез, вона уже трава в рост пошла. Прочухаемся, еще труднее будет подымать целину. На первых полянах будем ставить деревню. Как вы на то смотрите?

— Согласны. Пост рядом, бухта рядом и речка под боком,— согласился Пятышин.

— Хорошую невесту нам просватал Невельской. Жить будем ладно.— Молодо спрыгнул с коня, разгреб землю руками, понюхал.— Пахуча и жирна, руки угоят,— улыбнулся Феодосий.

Возвратились в лагерь, рассказали своим, как и что, и тут же все пошли смотреть место под деревню. А после смотра, всем понравилось, начали прорубать дорогу и перевозить скарб мужицкий, бабьи горшки и лопотину, ставить палатки там, где должны стоять дома. Звенели топоры, вжикали пилы, расчищались места для палаток. Глаза боятся, а руки делают.

Пришла вторая ночь в суровый край. А сколько их проползет над этой землей, хмурых, звездастых, прокатится над сопками? А? Пока мужики обретут силу, уверенность, сумеют устоять в боях. Вторая ночь... Тихая, вкрадчивая. Под ее вздохи присела на бревно Лушка Ворова, склонила голову набок, задумалась. Нескладная у нее выходит жизнь: Ларька подкатывался, Софка не допустила, затем полюбился матросик в Николаевске, но ему не разрешили жениться, скоро угнали в Петропавловск. Служба есть служба. Нравится Лаврентий, так и жрет глазищами, а что толку, он тоже служивый.

За спиной сторожкие шаги. Медленно повернулась, уж не зверь ли скрадывает ее. А пусть, все равно жизни нет. Засмеялась, рассыпался смех в ночи.

— Лаврентий, ты? Чего это ты бросил пост?

— Наши на посту, я в отгуле.

— Тогда садись, вместях поскучаем. Теплынь, тишина, душа млеет.

— Теперь уж нет той тишины, шумнее стало. Раньше была такая тишь, что хошь вой. Выйдешь, бывало, из казармешки, встанешь на яру и слушаешь, как перекликаются звери. Не люди, а звери. Там гуран лает, там волки воют, в забоке речки ухают филины, совы. Жутковато делается. Сейчас вы под боком, свежие сказы, свежие люди.

— Пойдем в тайгу? Сейчас!

— Нет, сразу тигру в пасть попадем.

— Трусишь?

— Может быть. Зверей и верно боюсь. Убили мы однова с Викентием тигра, здоровущий, страсть! А потом долго боялись, что тигры за него отомстят. Есть такой слух, что они за своих мстят.

Сзади громко треснул сучок. Лушка ахнула и подалась к Лаврентию и тут же оказалась в его объятьях. Рванулась, но, почувствовав силу, затихла...

Ночь плыла, ночь нашептывала сказки. Хлюпала роса по старой листве. Размеренно ухали волны...

Утром тишину разбудил дружный перестук топоров, пение пил, людские голоса. Густо задымили костры. Все, кто мог держать топор, хотя бы поднять хворостину, чтобы бросить ее в костер, вышли на будущие пашни. Горят костры, отступает тайга.

Рыбаки забросили в заводь невод. Невод полон рыбы. Здесь была красноперка, ленки, таймени, кунжи. Отбирали только самую крупную рыбу, мелочь бросали обратно, пусть растет для будущего замета.

Скоро густо запахло шарбой. Сели утренничать. Затем короткий отдых и неспешный разговор.

— Главное — посеять чуток хлеба. Рыба и мясо — энто хорошо, но без хлебного не сдюжим,— заговорил Иван Воров.

— Будет хлеб. По земле видно, что не обидит хлебом. Надо бы дать имя деревеньке-то? — спросил Феодосий.— Чтобы поновее, почище, что ли?

— Новинкой и назовем, чего же новее-то искать,— предложил Сергей Пятышин.

— Точно, была Перминка, теперича будет Новинка,— согласились пермяки.

— Кого же изберем большаком? — повел глазами Феодосий.

— Тебя. Кого же ище? А божьим наставником пусть будет Ефим.

Иван Воров тут же поднялся и дал представление, как большак идет по деревне. Расправил плечи, распустил бороду, взял в руки палку и, точно копируя валкую походку Феодосия, прошагал по воображаемой деревне. Закричал:

— Иване, дружище, а ну подь на час, подь, сволото ты беспутная, это от ча же у тебя так страмотно супротив дома? В ограде грязища! Чтобыть сегодня же посыпал песочком, все угоил! Нет, то розгами посеку! Эй, Фома, ты опять тащишь дрова из чужой поленницы? Брось, живоглот ты этакий! Тебе туточки не Осиновка, быстро руки-то укоротим! Софка, Софка, ах ты сволотень, ты чего ляжки-то заголила, гля, Митяй слюной исходит. Опусти подол-те. Митяй, блудник ты треклятый! Убери слюни, не пяль зенки! Вона Марфа с колом идет, хлобыстнет — и поминай как звали, очки одни останутся. Харитина, будь ласка, не жмись к Ивану, завидки берут. На меня посмотри, я ить краше твоего лохматобородого. Ну, глянь хошь разок!

— Ты о чем глаголешь, пес старый? — визжал Иван голосом Меланьи, хватал кол.— Поди, поди сюда, хоша ты большак, но колом отхожу, расчешу косма-то. Худа ему стала!

— Дэк ить я шутейно. Рази можно друга забижать? Для красного словца сказано,— снижал на полтона Иван, подражая басу Феодосия.

— Митяюшка-а-а-а! — вопил Иван.— Поди сюда, родный! Софка, кобылища, не сомущай Митяя. Сгинь, нечестивица! Ларьки тебе мало!

— Софку не трожь! Это Митяй ее сомущает, мерин старый! — орал Иван Ларионом.— Это у нее глазищи сомустительны, а сама она чиста.

— Плевать мне на твоего Митяя! Таких сухостоев и в лесу полно! — отвечал за Софку Воров.

Вся деревня, все ее пороки укладывались в представлениях Ивана Ворова. Голоса, походку, мимику — все успел перехватить Иван. Представления дает,— значит, рад, значит, ожил. Давно их не было.

Катались пермяки в диком хохоте. Не обижались, а пусть его, пусть мелет, язык без костей. Кричали:

— Будя! Иване, будя!

— Кончай, Иван, уморил, силов больше нету. Робить не смогем! — просил Ворова Феодосий. Вскочил, смял. Иван напоследок заверещал зайцем, смолк...

И снова загудела тайга. Падали столетние тополи, кедры, ели. Все просто, вначале пермяки подрубали корни, те, что помельче, затем парни влезали на дерево, обвязывали вершину волосяной веревкой, кони рвали с места, дерево нехотя начи-

нало клониться, потом с грохотом падало на землю. Потные спины, размах во всю силу. Работа нелегкая, но близкая сердцу мужицкому. Своя земля. И не впервой поднимать пермякам целину. Дело привычное. Сноровка есть, и смекалки не занимать.

А потом, всем как-то полюбились эти сопки, долинки, тишина первозданная. И знали еще пермяки, что это последнее пристанище. Дальше ходу нет. Надеяться не на кого: ни купцов пока, ни соседей добрых. Поэтому работали дружно. Больше поднимут целины, больше посеют хлеба, а с хлебом сытность и покой. Рвали корни с мужицкой жадностью, спешили.

Заросла эта земля лесами, потому что без мужика земля пустыня, земля-неродиха. Работали пермяки и сравнивали эту землю с пройденными землями, и все находили, что это самая добрая страна, таежная страна. Все здесь мягко и округло: округлы сопки, округла бухта, долины и распадки, даже речки и те звенят не так резко и назойливо, а тоже мягко и округло. Было чему радоваться, на чем остановиться глазу, потеплеть сердцу.

Взять Сибирь — там тоже тайга, сопки, но все это выглядит более сурово, резко и — главное — холодно и как-то неуютно. Нет мягкости и округлости. Или Амурский край, с его широкими долинами, скалистыми берегами, озерами, болотами, неисчислимыми островами,— все это подавляет, вызывает робость перед широтой и могуществом. Человек чувствует там себя песчинкой, робеет перед стылыми ветрами, теряется перед далью.

Здесь же все к месту, все близко и по-человечески понятно. Недаром амурские гольды в своих легендах вспоминают этот райский край.

Сопки здесь оборвались у моря, скалистые, суровые, а уже дальше, до самой линии горизонта, ушли мягко и знай себе ласкаются с небом. Очень голубым, высоким и неназойливым. И нет давящего чувства, страха перед этими дебрями, а, наоборот, зовут те дебри к себе, чтобы люди познали их, полюбили их.

Все это обворожило пермяков, заставило полюбить сразу. Может быть, еще и потому, что в мечтах они хотели видеть таким Беловодское царство, которого так и не нашли, в дальних дорогах таким его представляли. Нет Беловодья, но мечта зажить здесь широко и вольно жива в сердце каждого. Будут и хотят быть мужики здесь рачительными хозяевами...

Ночь. Крадутся по небу звезды, мигают ярко над сопками, подмигивают людям. Другие запутались в мягкой хвое и тоже

подмигивают пермякам, будто что-то хотят сказать, о чем-то предупредить. Хотя бы о том, чтобы тайге верили, любили бы ее, но об опасностях, какие таит она в себе, не забывали.

Послушайте... Вот во тьме прокричала ночная птица. Незнакомая. Голос у нее мелодичный, зовущий, в то же время тоскливый. Пронзительно заверещал кабан, раскатисто рыкнул тигр. Заметались тучи по небу, косматые, тревожные. Долго, на высокой ноте кричала косуля. Ее крик был похож на крик человека, предсмертный крик... Тайга... Может быть, она и добрая, может быть, она и мягкая, но все же это тайга, где нельзя быть беспечным. Всегда быть настороже, всегда при оружии. Тем более что тайга стоит рядом с палатками, тайга в изголовье людей...

Но уже не страшатся тайги Лушка Ворова, Лаврентий. Может быть, потому что любят, осмелели. Тайга добрая, не должно случиться беды.

Вот и Феодосий с Иваном Воровым сидят на сутунке, не спится, мнут землю в руках, молчат. Что-то необъяснимое родилось в их душах, запеть бы, что ли? Но надо спать, завтра снова трудная работа. На прощанье Иван гудит:

— Воспоем аллилуйю! Не вечен человек, вечна земля, вечны деяния людские. С нас здесь все почнется, а о нас будут люди сочинять сказки. Аллилуйя! Доброго тебе сна, большак!

Добрых вам снов, люди!..

2

Чуть свет, а уже все на ногах.

— Но, милая, трогай!

Грохот падающих деревьев, крики людей, дым костров, прокопченные лица, пар от голов.

— Навались! Лето не ждет. Пашня ждет! Вона земля млеет, духом исходит. Нажимай, милаи! — орал, косоротясь, Феодосий.— Аниска, а ну вертайсь с дерева, рази наши парни разучились туда лазить! Все сам норовишь сделать! Пуп сорвешь!

— А мне ча, я как белка, шасть — и на дереве! — кричал в ответ Аниска, белкой забегал на дерево. Так же быстро сползал вниз.

На помощь пришли матросы. За них послали на Крестовую парнишек. Пусть с детства привыкают беречь эту землю. Да и матросы разомнутся. Засиделись. Отвыкли от мужицкой работы.

Лаврентий рядом с глазастой Лушкой. Видят это пермяки, не осуждают. Баба свободная, чего же осуждать.

Присмотрел себе зазнобу и Викентий Чирков. Тоже матрос

молодой. Не то что Дионисий, который тянет эту лямку пятнадцатый год. Викентию приглянулась Аганька Плетенева. Тайком ласкают друг друга глазами, но дальше ни шагу.

В двойственном положении Прокоп Саушко. Понравилась ему Софка. Но баба замужняя...

Ведь солдаты или матросы, те, кто забыл на службе девичью ласку, любят раз и навсегда, если что-то не помешает этой любви. Здесь мешал Ларион. Вредный мужик. Он работает в паре с Софкой, ворчит, брюзжит на нее. От этого делается еще страшней, противней. Прокоп едва сдерживал себя, чтобы не броситься на Лариона с кулаками. Отошел от греха подальше. Не хватало еще, чтобы подраться из-за бабы. Софка смотрела вслед Прокопу, будто просила не уходить, мол, легче будет слушать брань ненавистного мужа, переносить издевку. Ларион тоже ворчит вслед:

— То на Андрея пялила шары, теперь на Прокопа перекинулась! Обоим кости переломаю!

Молчит Софка. Нет у нее греха. Она с Прокопом даже словом не перемолвилась, просто сердце подсказало, что нравится она Прокопу. Ну и что? Зато Прокоп ей не столь нравится. Она любит Андрея Силова и, наверно, больше никого не полюбит. Не стерпела, повернулась к Лариону и сказала:

— Ларька, ты укороти свой язык, я ить тиха и покладиста до времени. Выпрягусь, тогда берегись. Все припомню!

Ларька приутих. Жизнь сложное дело, когда-то он в Софке души не чаял, но скоро надоела. Все в ней кажется некрасивым: и этот нос, прямой и тонкий, которым она уже второй день шмыгает, и эти губы, красные, пухлые, даже противен стал ее поцелуй. Обычно он кричал: «Хватит тебе слюнявиться, корова! Надоело!» Отворачивался.

В мире нет ничего постоянного, мир жил и будет жить в поисках и кипении. Тем более не может быть постоянной любви у Лариона, который так много принял ласки ворованной. Тянет его снова на то же, но здесь не Осиновка, а на пути стоит еще Софка. Сейчас полюбилась ему Галька Силова, самая младшая дочь Феодосия. Малышка, попрыгунья, что говорить, поскребыш, откуда большой-то быть...

День был тихий, без ветра. Сонмища мошки и комаров навалились на людей, коней, даже дыми были бессильны. Все это жалило, кусало, сосало кровь, лезло в глаза, в уши, прилипало к потным лицам. Продыху не было. Но и этим пермяков не испугаешь, видели пострашнее. Это — цветочки...

— Ничего,— пыхтел большак,— поднимем пашни, обтопчем болотинки, помене будет гнуса. Навались, люди!

И снова шарба. За мясным сбегать некогда. Матросов тоже втянули в эту работу, и им не до промысла. Картошку берегли на посадку. Каждый клубень на счету. Здесь без картошки не обойтись. Мало ли что — могут хлеба не уродить, их заменит картошка.

Усталые землеробы присели к кострам и большими деревянными ложками начали хлебать шарбу. Фома тоже среди общинников. Вначале, когда они пристали к берегу, то Фома заявил, мол, забирает своих коней, сам будет поднимать целину. Но Феодосий спокойно сказал:

— Не выйдет, твои кони самые добрые, потому не рыпайся. Будешь робить в общий котел. А когда обживемся, можешь уйти из общины. А счас и не помышляй.

Лениво ест, посматривает на Аниску, Лариона, Фроську и Софку. Право же, они и вчетвером могли бы себе пашню сделать. Да еще баба Василина в силе. Значит, впятером. Три коня, запрягай в плуг и пошел. А так все колготятся в одной куче, а кое-кто норовит и проволынить. Например, Митяй. Но зато Марфа за троих работает.

— Зря я тебя испужался, Феодосий, надо было бы мне отделиться от вас,— тянул Фома.

— Зря, тятя, ты такое задумал,— оборвал его Аниска.— Мы бы с Фросей не пошли с вами. Ларька тоже не пошел бы. Как ты, Ларька?

— Вместях веселее,— бросил Ларька, и еще быстрее замелькала его ложка.

— Напрасно ты нудишься, Фома, ну ушел бы, а ить невод-то у нас общинный, даже этот котел и тот общинный,— значит, тебе бы нечем было рыбу ловить. Жил бы мясом? Но ить на мясо надо отсылать охотника, а это потеря двух рук,— резонно говорил Феодосий. — Потому не корчи из себя царя Гороха. А ежли что, так могем и вышвырнуть из общины, дадим одну лошадь, и будя.

Фома молчал. Он чувствовал правоту слов Феодосия. Без общины пока и ему не прожить. А вот чуть обживутся, тогда он первым уйдет от них. Держать не будут, но зато всех коней заберет.

Мелькали топоры, хряскали по корням тяжелые мотыги, дзенькали о камни ломы, с хрустом входили в дерн острые лопаты. Работа шла.

— Навались, Фома! Земля не баба, баба не могет быть обчей, а земля обчая.

— Верна! — шумел Иван.— Бабу поначалу надо полюбить, обходить, а на земле надо просто работать. Любить и работать.

— Не то, не так, земля тожить как баба: ее надыть не только полюбить, но и угоить, сделать своей. Нажимай! Завтра пошлем ребят за мясом. На рыбке слабеть стали. От мясного прибудет сила! — корчуя пень, кричал Феодосий...

Запуржила черемуховая метель над поймами речек, как-то враз, в ночь. Еще сильнее заголубели сопки, нежатся в жаркой истоме. И речки затренькали чуть глуше, но зато звонче, на разные голоса, затрезвонили пичуги. Приятно шагать по тайге! Пружинит шаг. Под ногами старая листва, из-под листвы травы. От них дурман, и шемящее чувство чего-то несбыточного.

Впереди шел Андрей, чуть сбоку Роман, следом тянулся Ларион. Они цепкими взглядами смотрели на сопки, искали зверей. Но после такого грохота на пашнях зверь куда-то отошел. Не должно быть, что далеко. Где-то он здесь, рядом.

— Как тут тихо и блаженно, будто вошли в божий храм,— проговорил Роман.

— Тайга — это и есть храм,— тихо сказал Андрей. Его тоже подавило таежное величие. — Но только этот храм не угоен. Людей бы сюда побольше, да все почистить, уладить... М-да! Какая здесь красота! Кто ее создал?

— Э, в тайгу надо ходить не за красотой, а за добычей.

— Оно-то так, Ларион, но одно другому не должно мешать, можно здесь добывать зверя, а есть время, то и полюбоваться этим храмом. Но главное — это беречь храм, радеть о его процветании. Всего поровну: добывать, беречь и любить. Когда у нас стало пороху и свинца вдосталь, то мы за зиму на двадцать верст в округе перебили всех сохатых, изюбров, гуранов. Ружье не стрела, далеко достает. Здесь можно то же сделать, потому прав тятя, что сразу надо думать, как и что.

— Ты да твой отец только и заняты тем, что пугаете людей,—мол, ежли без разума, то все можно загубить. Этой тайги на мильен людей хватит.

— А ты по ней ходил? Ты ее познал? Нет, тогда чего же говорить.

— Зато ты много говоришь, на каторге научился молоть языком.

— Кое-чему научился, и не только на каторге,— Андрей присел, поставил длинное ружье между колен, сели и охотники, — в дороге тоже многое посмотрел. Понимаешь, Ларион, мужик сир, убог, надо и его когда-то пожалеть. Другие говорили, что мужику надо дать полную свободу, чтобы он стал головой на земле: все ему — и власть и землю. Не согласился я ни с теми, ни с другими. Неможно давать полную волю мужику. Нет и нет.

Дай, то он сведет на нет леса, перебьет зверей, земля станет пустыней. Другой сказ, что мужик должен быть грамотен, обут и одет, давал бы полезность земле, но не рвался бы в богатеи, а жил бы ровно, без надрыва.

— Больно умно и непонятно. Тиша! Вон идет табун оленей.

— Красивы,—прошептал Роман.

По склону брело стадо пятнистых оленей. Олень поднял голову и тихо свистнул, наверное, это был вожак стада, вскинули головы и другие. Насторожились.

— Стреляй, Андрей, твое ружье метче бьет,— зашептал Роман.

Андрей не спеша положил ружье на сошки, поймал на мушку бок крупного самца, выстрелил. Грохот выстрела разорвал тишину, качнулись сопки, загудела тайга.

Феодосий распрямил спину, прекратили работу общинники, прислушались. Раскатистое эхо разлилось по сопкам. Первый выстрел сделан. Пермяки добыли первого зверя.

— Вот и распочали,— уронил большак.

— Стало быть!

— Ну и с богом! — перекрестился Ефим.

Парни бегом перебежали ложок, вылетели на сопку, где бился золоторогий пантач. Цену пантам они знали еще по Амуру. Тут же вырубили панты. Выпотрошили добычу. Связали ноги и понесли к табору.

Пятнистые олени были незнакомы охотникам. И тут Ларион вскинул свою винтовку, выстрелил вверх, тоже по незнакомому зверю. Хотя уговор был добыть одного зверя. Соли мало, мясо скоро портится. Но, как позже охотники узнали, в этой воде мясо можно хранить неделю и больше. С отвесной крутизны скатился горал. Охотники остановились над добычей.

— Чудно, баран не баран, козел не козел. А тоже красивый,— удивлялись охотники.

— Бери на плечи, не тяжел, покажем нашим в целости,— попросил Лариона Андрей. Андрей не отец, он так и не научился приказывать, а просил.

Охотники вернулись. Сбежались все посмотреть на диковинных зверей, удивлялись солнечным пятнам на шкуре пятнистого оленя, коротким рожкам горала. Бабы народ жалостливый, кто-то из них сказал:

— Таких красивых и убили?

— Не тараторь! — оборвал большак, присел на корточки, гладил упругую шерсть горала, оленя.— Хороши, ниче не скажешь. А много ли видели?

— Много. Табун голов в сто. Самого крупного выбрали,— ответил Андрей.

— М-да, ну свежуйте, бабы заварят, на вкус испробуем.

Испробовали. Сергей Пятышин сказал:

— Вкуснее мяса не едал, чем этот козел аль баран. Хорошее мясо.

Еще ночь, еще день, и большак приказал:

— Запрягай коней в соху! Проведем первую борозду.

Тройка коней натянула гужи, блеснул, вывернутый сохой, первый пласт земли, жирный, емкий.

Первый выстрел, первый пласт земли, первая борозда. Земля, что много веков дремала нетронутой среди этих сопок, была вывернута наизнанку. Все земледельцы на первой борозде, которую провел ровно, будто по шнуру, Феодосий Силов. Это событие было более значительно, чем первый замет невода, первый выстрел. Землю разминали в пальцах, нюхали, пробовали на вкус. Добрая земля, вкусная земля.

— Можно и на хлеб мазать заместо масла,— засмеялся Сергей Пятышин.— Слышишь, Парасковья, теперича перестанешь меня ругать. Гля, сам бы ел, но хлеб сеять надо на этой земле.

— Теперь уж отсюда не уйдем. Так, друзья?

— Истинно так, Иване.

— Навеки остаемся.

И начала расти в ширину первая пашня. Пахали в четыре сохи. Следом шли бороны, бабы разбивали мотыгами пласты, которые не могли разборонить. А те, кто был не на пахоте, еще злее воевали с тайгой вековечной, готовили еще одну пашню. Тайга кряхтела, так просто не сдавалась. Может быть, не хотела поверить, что сюда пришли хозяева, рачительные, добрые. Славные люди земли русской.

В небе тучки, с моря туман, а затем теплый и мелкий дождик. От пашни пар, первой пашни, сизый, пахучий пар...

3

Снова солнце, а с ним и жара. Но утрами еще злее гнус. Лица опухли. Веки набрякли, глаза смотрят через щелочки. Если даже никто не хныкал, но все как-то стали раздражительны, однако с тем же упорством корчевали тайгу. Потны, косматы, некогда гребнем по голове провести.

Лариона и Романа отправили снова на охоту. С тем же наказом: зря зверя не калечить, добыть одного-двух, и хватит. Ушли. Скоро прозвучало два выстрела. Чуть позже еще один, за ним второй, третий. Феодосий прислушался, сердито проворчал:

— Чей-то они расстрелялись? Аль пороху не жаль? Вот варнаки!

Но скоро вернулись охотники. Феодосий набросился на них: что, мол, вы там порох жгете? Роман ответил:

— Я стрелил один раз. Это Ларька палил. Я ему говорил, что двух хватит, но ему показалось мало. А олени эти дурны, чуть отбегут и снова станут. Вот он и навалил семь штук, на одну пулю по два брал. Идут-то густо.

— Так, так! Он что, наказ наш забыл? А ну иди сюда, сволотень! Ружье подай мне! Андрей, Иване, ты, Сергей, берите брандахлыста и выпорите тотчас же. Всыплем щанку за непослушание, за упрямство, за гордыню. Двадцать розог наперво хватит. Фома, ты отец, ответствуй, че бы ты делал, ежли бы кто-то нарушил наказ общины?

— Порол бы, сукина сына.

— А ты, Аниска?

— Аниске жаль Ларьку, свояк ить,— нахмурился Аниска,— но ежли он, пари, не слухает, то как же быть?

— Пороть аль не пороть?

— Знамо, пороть! — твердо сказал Аниска.— И не надо его больше посылать на охоту. Я буду ходить, добуду сколь надо, да не маток, а пантачей.

— А вы попробуйте выпороть, ружье-то у меня заряжено,— зло усмехнулся Ларион.— Вы, Силовы, или придурки, или сволочи, зверей жалеете, а человека нет. Отца однова чуть не вздернули на сук,— ладно, сломался...

Фома подался назад, будто его ударили. Стиснул зубы. Прошипел:

— Замолчь, пес! Отца, хошь знать, праведно вешали! Я дал себе слово до конца жизни мстить Силовым, но давно его вернул. Жисть показала их правоту. Секите! Шибко секите, чтобыть из него не получился второй Фома. Я еще раз узнал наших людей, чисты и праведны, а мы сволочи, хапуги. Феодосий, прости меня, навек с тобой. Ты в огонь, я за тобой, ты в воду, я туда же. Прости, большак!

Всего мог ожидать от отца Ларион, мести, убийства, но покаяния — никогда. Попятился.

— Подай ружье! — рыкнул Феодосий, пошел на Лариона. Ларион вскинул винтовку, но тут же опустил.— Стреляй! Чего же ты. Когда дело касаемо правды, мне смерть не страшна. Струсил,— усмехнулся в бороду большак, забрал ружье у Лариона. Крикнул: — Меланья, распарь-ка в соли пару березовых розог, чтобыть раны не гноились, тута один сам под них просится.

Ларион было бросился бежать, но его тут же схватили, скрутили, положили на валежину.

Принесли розги и воздали должное виновнику. Молчал, лишь зубами скрипел да покряхтывал. Осиновских кровей мужик, чего уж там...

— Вот и первая порка. Думали, без нее обойдемся, не обошлось,— тронул усы Сергей Пятышин.— Иди полежи день-другой да за работу.

4

Из моря начала наплывать хмарь. Всклоченные тучи шли и шли. Несли сырость, холод. А гнус еще злее, и холод ему нипочем, хотя костры дымили, дым стлался по земле, тянулся в сопки. Тучи шли тяжелые, низкие, черные. Придавили собой сопки, которые, казалось, еще сильнее прогнули хребты. Им тоже тяжело. Вначале пошла нудная изморось, она шла день, второй. С пашен никто не ушел. Мокли, тут же обсушивались у костров. Под этот дождь вспахали вторую пашню. Осталось раскорчевать под огороды. Но их потом. Перестанет дождь, надо сеять хлеба. Изморось перешла в секущий дождь, пришлось уйти с полей. Есть причина чуть передохнуть.

Но Феодосий собрал мужиков на совет, он сказал:

— Мы только одной ногой ступили на эту землю, и дел у нас невпроворот с пашнями, строительством, но надобно решать и побочные дела. Все у нас пошло ладно и складно, но этот лад и склад порушил Ларион. Выпороли, чтобыть другим было неповадно. Мой сказ — энто надо отвести заповедное место, где можно было бы хорониться зверю. Ежли мы не оседлаем свои корыстные замашки, жадные думки, то скоро все сведем на нет. Зверя здеся добыть, что в загон сходить. Но во всем должна быть мера. Вот и думайте, мужики, мы уйдем, должны и детям что-то оставить. Им тожить надо будет есть и пить, тайгой жить. Но ежли мы будем думать и жить одним днем, тогда давайте делать кто во что горазд. Решайте, быть здесь заповедному месту аль нет?

— А че думать, сказано, как прибито,— подал голос Аниска.— У нас тожить были в Даурии заповедные места, счас порушились,— знать, можно и нам здесь их отвести. Но не рушить. Кто будет рушить, тех сечь аль гнать в три шеи.

— Верна, нам жить, нам здеся пускать корни, тайгу эту пестовать. Я — за,— согласился Пятышин.— А как ты, Фома?

— Я тоже за. Но я, как вы сами обо мне говорите, Фома неверующий, таким я и остаюсь. Отведем мы заповедное место.

Хорошо. Дадим заповедь, тоже хорошо, но надолго ли. Люд сюда поедет, и скоро его будет много. Сможем ли мы его удержать от соблазна?

— Попробуем! — твердо бросил Феодосий.

— Дуська пробовала, пробовала и семерых народила.

— Ладно, Фома, и верно ты неверующий, однако не сбивай. Я бы отвел место под заповедник по правой стороне реки Ольги, чтобыть туда ни одна нога не ступала, хватит нам и левой.

— Мне хоть по обе стороны, пустое это все,— стоял на своем Фома.

— Не понимаю я тя, Фома, то ты за, то ты против, ну чего мотаешься-то? Ларьку сечь согласился, даже покаялся, счас снова супротив нас.

— Покаялся, не покаялся, какое дело, но душой дохожу, что пустое этот сказ. Я сам, ежли что, ту заповедь нарушу. Эко дело. Дети, чем они будут жить? На картошке проживут. Я ростил, ростил тех детей, а они мне плюют в душу и не спрашивают. Одна Фроська человеком оказалась. Когда ты вешал, все дети убежали от отца. Словом, не заводи эту комедь!

— Ларька не убежал.

— А теперича на меня зверем смотрит. Потому правду сказал. Другое дело — это запретить бить через меру.

— Ладно, что вы скажете, други?

— Делать заповедник, матросов сюда же звать, всем и целовать евангелие.

Дождь поутих, созвали сход. Первым заговорил Ефим:

— Человек про то и живет, что грешит и кается. Вот и я, грешен и перед вами, и перед Феодосием, а уж перед богом и того больше. Скажу одно, что большак наш давно святой человек. Святой по разуму, по душевности. Я подвел его в Осиновке под анафему, хулил за безбожность, а зря. Безбожен тот, кто не пекется о тех, кто в утробе матери. Феодосий же за всех радеет. Зовет нас устроить заповедное место. Это божий помысел, в этом божьи думки.

— А что делать с тиграми и медведями?— спросил Кустов.

— Стрелять, коли встретятся, но в заповедном месте не трогать. Туда ни одна нога ступать не должна. Разреши там бить тигров и волков, то вместе с ними будут бить и других зверей, — ответил Феодосий.

— Все согласны аль кто против? — спросил Ефим. Он божий наставник, ему наставлять людей в божьем деле.— Тогда дадим клятву, чтобыть она шла не от ума — от сердца. Все это богом создано, все должно быть по-божески и охраняться.

— Верна, дадим клятву заместо молитвы, пусть все ее затвердят и носят в душе и уме,— загалдели бабы и мужики.

— Тогда почали,— сказал Ефим.— Вторите за мной... Я даю обет перед богом и людьми, что не ступит моя нога в заповедном месте ради корысти и охоты, не трону там зверя, птицу, дитя птичьего и звериного; ежли порушу эту заповедь, то пусть посекут меня праведно и безжалостно розгами для просветления ума, для появления кроткости. Аминь! — закончил клятву Ефим, позвал к целованию евангелия.

Целовали евангелие все, кислую и пропахшую воском и ладаном кожу. Даже дети. Им тоже жить на этой земле, быть скоро здесь хозяевами. Украшать ее и охранять от врагов...

По подволоку холщовой палатки монотонно постукивал дождь. Андрей лежал на жесткой постели и смотрел в темноту. Он понимал, что клятва была наивной, но она шла от чиста сердца. Каждый верил в себя, в то, что он сдержит обет, данный людям и богу. Видел Андрей, что эти люди стали иными, чем были в Перми. Там они ходили как-то крадучись, боялись урядника, помещика, могли у того же помещика украсть лес, а если поймают, то с пеной у рта будут доказывать, что не крали, кто-то другой украл, они тут случайно оказались. А здесь стали смелее, хозяевами стали. У себя воровать не должны. Ларька, тот все может. Даже Фома и тот изменился в лучшую сторону. Но Ларька — нет, этот не изменится, мстителен и мстить будет до конца жизни. Не зря столько приняли маеты люди, пока прошли через Сибирь, Амур, Николаевский пост. Жить здесь можно, край добрый и теплый. Жить здесь и первенцу Ваське, который родился в Николаевске. Скоро и второе будет дите, Варька брюхатой ходит, там, смотришь, и третий, четвертый. Всем надо место на земле, а к месту еще кусок хлеба, мяса...

Пятышин и Феодосий тоже не спали, сидели под коряным навесом, у ног теплился костер. Растравили души клятвой, верой в то, что это их Беловодье, их земля, что им здесь жить и умирать.

— Каждому явственно, что все это создано богом, не без его разума. И человека бог создал не для райской жизни или украшения, а для обихаживания земли. Чтобыть человек эту землю холил, чесал, как хороший хозяин коня.

— Но ведь в писании сказано, что бог создал Адама и Еву и больше не хотел создавать человеков,— ввернул Пятышин.

— Это наговор на бога, на Адама и Еву, я понимаю так — когда он их создал, то тут же послал на землю и сказал: «Творите добро, рожайте человеков, будьте сами человеками».

— Ну а ты же бога отринул?

— Это кто тебе в уши надул? Не отринул, чуть трекнулся его — энто да. Но другой сказ, что я бога стал принимать иначе: мол, бог есть, он голова всему сущему, но тот бог участие в нашей житухе не принимает. Создал нас и сказал нам, что, мол, не уповайте на меня, а делайте на земле свой рай, второго рая не будет. Ежли есть разум, то вы его сотворите, ежли нет, то уж не обессудьте. Я бог, но в людские дела не мешаюсь. А гривастые попы все перепутали и пустили сказку, что, мол, бог над людом голова, всеми помыслами его правит. Враки все то. Нет. Ежли так, то он должен вмешиваться и в птичьи дела, зверины тож. От такой работы и заботы ноги не долго протянуть, ежли ты и бог даже. Бог нам дал дом — землю, мы и должны в своем доме порядок блюсти. Не могем, тогда надо на себя и пенять. Вот и пеняем, дом рушим, в доме порядка нету, потому как хозяин того дома недоумок. Нам с тобой ить осталось жить мало, как ни верти, а смерть будет. А дома строим не для себя, а для внуков уже. Могли бы и не строить, могли бы и не радеть о тайге. Все умрем. А ежли все сделаем не безрассудно, то нам наши внуки земно поклонятся. Каждый ради этого и должен жить,— философствовал Феодосий.— Всем здесь хватит на века, ежли каждый будет зрить дальше и глыбже.

Все это так, но нудьга скребется мышонком в душе. Придут другие, придут чужие, смогут ли они сдержать свою жадность? Фома и Ларион тожить евангелие целовали, но ить не от души, для блезиру, для народа. Они у ближнего кусок хлеба вырвут изо рта. А таких может нахлынуть сюда множество, не удержим. В этом есть правота у Фомы. Каждый будет хапать, что плохо лежить.

— Сдается мне, что с Фомой чтой-то случилось. Говорить-то он говорит, но в душе другим стал. С чего бы это?..

Фома тоже не спал, думал: «Вот уже под шестьдесят годов подбирается. Всю жизнь только тем и занимался, что хапал, рвал, а что получил? Люди не верят мне. А пошто? А пото, что всегда против них иду. А зачем? — себя же спрашивал Фома.— Боле того, убивал, крал, сутяжничал. Так не пойдет. Жизнь к закату, надо подумать и о загробной жизни...»

5

Хороший дождь прошел над горами Тигровыми. Большое, тоже омытое дождем, вышло солнце, окатило землю лучами и пошагало в поднебесье. Отряхивалась от рос тайга. Тут же парной дух, как от хлеба из печи, начал подниматься над паш-

нями. Даже не верилось пермякам, что это они сделали, что их руки смогли урвать у тайги такие поля...

Сегодня сев, а это значит праздник, поэтому все оделись по-праздничному: мужики в холщовые рубахи, подпоясаны расшитыми поясами, бабы — в длинные цветастые сарафаны, на головах яркие платки. И конечно, все в новых лаптях. Они могли обуться в ичиги, но так уж повелось исстари, что хлеба сеют в лаптях, и обязательно в чистой лопотине.

Феодосий Силов с благоговением опустил волосатую руку в берестяный короб, широко размахнулся и веером уложил первое зерно. Сделал несколько шагов, и снова разлетелись золотые брызги пшеницы, легли в пуховую землю. Следом Иван Воров, Сергей Пятышин, Ефим Жданов, пошли сеятели, пошла пермяцкая Русь. Светлые лица, светлые мечты, так же светло на душе. Широкие улыбки щедрому солнцу, земле обетованной. В небе тот же перезвон жаворонков, и кажется пермякам, что у этих птичек голоса звонче, чем в Перми. Следом черные вороны, спокойно и деловито выискивали червей. Знать, эти пашни такие же, как на далекой и уже забытой родине. Ворона на пашне — быть хлебу, пашня без ворон — не пашня. В забоках бжикали ронжи, суетились сороки, для них все это необычно: мужики, пашни. Все любопытны и говорливы.

— Вона, такая же сорока! Может, сродни той, что пожгла наши сена.

— Все может быть, Сергей, — улыбнулся Феодосий, смахивая капли пота со лба.— Думаю, Митяй здесь шутковать не будет. Пошутковал, и будя. Ишь как трещит. Нет, эта не видала здесь такого.

— Где им понять. Полмесяца назад здесь дыбилась тайга, а нонче пашни, хлеб мужик сеет. В новинку им такое. Пусть летят да обскажут всем, что мы сотворили здесь чудо. Летите, расскажите о людях пашенных! — кричал сорокам Иван Воров.— Летите, сороки-белобоки!

— Парнищи, пускайте следом бороны! Ишь сколько фазанов-то налетело, поклюют зерно. Гоните их! — кричал Феодосий.

И пошли бороны, подпрыгивают по пашне, зарывают зерна. А следом еще бабы с граблями, чтобы каждое зернышко было в земле. Быть хлебу, большому хлебу.

Сеяли день, второй. Сеяли пшеницу, овес. Сев подходил к концу. Бабы пораньше ушли в деревню, пока палаточную, ушли, чтобы обмыть доброе начало. Ведь всякое доброе дело на Руси обмывается. Тем более что все сеятели знали, что у Феодосия припрятана заветная четверть спирта, которую подарил

пермякам Невельской. А потом бабы сварили пиво, крепкое, пенистое. Мужики потому и спешат, поглядывают на солнце, скорей бы досеять овес.

И вот солнце тронуло сопку, вспыхнул кленовый закат, закатилось. Но еще не смолкли голоса птиц, еще не уснула тайга. Багрянится закат, полыхает гигантским кострищем. Мужики бросили по последней горсти зерна, следом прошли бороны, заспешили в деревню. Все говорили громко и возбужденно. Голоса их слышны далеко. Дзенькают ботала на шеях коров. Аниска гнал их в деревню. Его очередь была сегодня пасти. Рановато гнал, но первый пир можно ли упустить, пир под звездами, пир в тайге.

— Эх и шелканем же мы сегодня! — чуть приплясывает Иван.— Заробили! Подумать страшно, что смогли такое сделать! Хорошо!..

— Ежли бы было плохо, то на кой ляд хребет ломать,— усмехается Феодосий.

На поляне дубовые столы. На столах таежная снедь. Тут тебе мясо варено, парено, жарено, рыба копченая, соленая, пучки дикого лука, черемши. Но хлеба в обрез. Когда-то еще будет свой хлеб, придержать стоит мучицу. Мало ли что? С кряканьем, веселыми улыбками садились за столы мужики, расправляли усы: черные, рыжие, сивые, оглаживали бороды. Заскорузлые руки потянулись к кружкам, обняли их, утонули кружки в широких ладонях. Все встали. Феодосий только и сказал:

— С богом, за землю, за добрый урожай!

Задрались бороды, бабьи подбородки. Все пили за счастливую жизнь в этом краю, за новую землю.

Враз заблестели глаза, зазвенели голоса. Крепок спирт, сразу пронял души, говорить захотелось. А когда бабы подали по кружке пива, то и вовсе гомон поднялся над столами. Говорили о прошлом, настоящем, мечтали о будущем. Земля по нраву, тайга тоже, чего же желать больше. Работать, остальное приложится.

— Ефим, распротак твою бабушку, запевай! — загремел Феодосий.— Не без бога творятся песни. Пой, Ефим, грех беру на себя!

Ефим повел узкими плечами, подоил свою козлиную бороду, усмехнулся и... Все знают, что Ефим поет только в подпитии, трезвого под ружьем не заставишь петь... запел любимую им песню про Ермака. Так запел, что враз стихли люди, слушают Ефима. Пел он чистым и высоким тенором, рассыпал трели по тайге, бросал песню к звездам, ронял ее на волны морские. Каждый по-своему видит этого разбойного атамана, слышит рев

бури, грохот громов... Песню подхватила Варя. Слились их голоса, сплелись, то падали вниз, то взвивались вверх. Затихла тайга, затаились звезды, не ухают волны, замерла в своих берегах речка. Все слушают дивную песню, дивных певцов. Ефим пел слишком правильно и чисто. Варя же пела с каким-то надрывом, плачем. В ее голосе то бурный Иртыш, где она едва смерть свою не нашла, то шум тайги, по которой они брели и брели, полоскалась пыль под звон кандальных цепей. А к концу не утерпели Харитинья, Меланья, вплели в песню свои подголоски, будто кто-то тронул кленовой палочкой звезду, которая зазвенела хрусталем, серебряным переливом отозвалась. Выглянула старушка луна, не вытерпела, выползла послушать песню, не поленилась. Любопытно ведь слышать песню в горах...

Пермяки пировали на этой земле тоже первый раз. Пировали, где небо было крышей, стенами были горы, а полом земля. А ночь, тихая и лучистая, кутала их, ласкала теплым ветром, обнимала легкими туманами. Свои, чего уж там. Подмигивали звезды — снежинки, добра желали. Корявилась луна, поклон свой посылала. Хорошо поют пермяки и пермячки. Ладно поют. Раскрыли свои души, а также свои голоса. Поют люди, хочется им петь,— значит, на душе хорошо, значит, есть в жизни радость. Пусть их слушают сопки, небо, земля. Так могут петь только счастливые. В Сибири им не пелось, не пелось от морозов, от трудной дороги. Теперь поют, пришли в свое Беловодье и уже не уйдут отсюда. Главное — песня, а стоны и плачь, кажется, позади. О них надо забыть, больше не вспоминать. Так легче, так жить проще.

Поет Ефим, а завтра он будет отмаливать свои грехи, сегодня они забыты: и грехи и бог. Сегодня песня, и только песня. У Ефима две души: одна для бога, другая для песни. Жаль, что он теснит песенную душу на задворки, только в добром разгуле даст ей прорваться, мог бы стать любимым запевалой в трудных дорогах. Но...

— А что, Феодосий, ить живем, песни поем, спиртным балуемся,— орал Иван, задрав бородищу.— Здорово будем жить, в рот те медузу! — ввернул морское ругательство.— Живем и ни у кого ничего не просим. А? Хорошо будем жить!

— Затем и пошли, чтобыть жить хорошо, ермацкой дорогой пошли, пришкандыбали. Прав Бошняк, что без мужика земля ничто. Мужик ее обживает и делает родной...

Плакала Софка, уронив голову на стол; сбоку шипел Ларион. Ребенка бы ей, ребенка. Ведь этот медведь бьет ее каждый день по больному месту. Неродиха!

— Ну, че распустила слюни? Поди вон! — толкнул Софку под бок Ларька.

— Пей, гуляй, Расея! Вот еще подбросят нам тягла побольше, то мы туточки развернемся, захромустят энти долинки.

— Слышь-ко, Серега, я костьми лягу, но буду здесь богачом,— снова заговорил о наболевшем Фома.— Кто однова был им, тот и второй раз станет. Не могу быть средним человеком. Хочу жить, как жил в Осиновке: каждый день пиво на стол, сапоги со скрипом, кафтан и рубаха новые. Чтобыть все мне в ноги кланялись, а не я людям.

— Снова ты за свое, Фома Сергеич. Ить давно ли говорил, что надо жить ровно. В отступ пошел?

— Э, говорил, говорил, а душе-то не прикажешь. Хочу быть богатым, и точка!

— Только и всего? Не спеши, может, нам еще придется здесь девятый хрен без соли доедать. А ты о богачестве! Эх, Фома, дырявая у тебя душа. Понял, сквалыга! Не стать тебе добрым человеком, потому как за старое держишься.

— Степка, будя тебе лизаться с Любкой. Боже мой, вот лизуны, только и целуются, а ить уже двое ребят,—поди, должны надоесть друг другу! — кричал через стол Феодосий. — Доставай свою гармозу и жарь нам «Барыню»! Хочу «Барыню»! Разобью лапти вдрызг. Эх, лапти мои, грязи не боятся, через грязь перейду, стану отряхаться. Выходи, Аниска, хочу тебя переплясать...

Грянула заливистая «Барыня», затолкались пьяно мужики на лужайке, втянулись бабы, загудела земля от лаптей.

— Софка, Софка, аль у тя мужа нету, ты чего трясешь подолом перед служивым? Прокоп, остерегись, огня бы не было! Софка, не трави душу матросу!

— Не травлю. Может быть, и есть у него душа, а у вас нет! Сволочи, только и знаете, что бить нас и терзать. Брысь, хошь ты и большак, а брысь, не путайся под ногами, стопчу!

— С огнем шутишь, баба! Убьет Ларька!

— Он только и ищет причины, чтобыть убить меня, захомутать вашу Гальку. Мы с ним не венчаны, прогонит, и заступиться будет некому.

— Аганя, Аганя, милая, пошли отселева.

— Не пойду, снова будешь приставать? Нетушки, вот женись — тогда и зови.

— Пошли, не буду.

— Не пойду, — смеялась глазенками Аганька Плетенева.

— Митяй, гля, нашу Аганьку Викентий повел.

— Пусть себе. Одним ртом меньше.

— Да ты глянь, ить в тайгу повел. — Не хочу, чтобыть они венчались под кустом, как Степка с Любкой.

— Мне ба такое венчанье. Ить живут душа в душу. Такого бы каждому желал. Я отец и завидую дочке. Не гони, пусть и эта венчается.

— Ну и отец, мосталыги переломаю! Иди досмотри!

— Василиса, а твой Фома уже под столом храпит. Хлипок до спиртного стал. Был раньше в силе.

— Ты мне ранешное не вспоминай. Был в силе, в богатстве, а нам житья не было, всех бил, колотил, счас хоть ожили чуток.

— Да, дела, живности много, а вот чем будем солить? Рыбу, мясо? Соли-то нет. На едому чуток осталось.

— А мы тут с Аниской кое-че придумали. Аниска, ходи сюда,— отвечал Пятышин.— Мы, кузнецы, для вас лекари, стригаля, колдуны, что-нибудь да наколдуем. Будет соль! Аниска, будет ли соль?

— Будет. Солнышко нам ее напарит.

— Непонятно! — мотал головой Феодосий.

— Трезв будешь, то и поймешь,— поблескивал узкими глазами Аниска.— Все поймешь. Вы займетесь огородами, а мы с Серегой солью.

— Вам я верю, а тебе, Аниска, и того больше.

— Варюша, плесни пивка чуток.

— Будет, Андрей, ты уже пьян.

— Эх, Варя, не от вина я пьян, а от радости. Сгнил бы на руднике, ежли бы не ты. Ты моя беда и выручка. Сурин сгинул, это точно. Зря Ермила пошел домой. Зря. Плесни, давай вместях за наше счастье выпьем.

— Эх, Андрюша, Андрюша, чистая твоя душа, — вздохнула Варя. — Ладно, давай дерябнем по кружке. Что-то тоскует душа. Не к добру.

— Эх, Марфа, откель у тя столь силы? — пытал Иван Воров.

— От земли, от репы,— похохатывала Марфа.

— Душой ты царевна, а на вид страшнее пугала огородного.

— С лица воду не пить, а была бы душа добрая.

— Хорошая у тя душа! Хорошая!

— А Софка-то совсем взбесилась, виснет на шею Прокопу. Чего смотрит Ларька? — возмущалась Марфа.

— А чего ему смотреть, он уже усигал в кущи с Галькой Силовой. Давно снюхались. А Софку ты не замай. Хорошая баба, но счастья бог не дал. С Андрея глазищ своих не сводит.

— Сволочь Андрей, распочал и бросил.

— Э, то дело старое, а вот у нее любовь не киснет. Что-то будет! Обязательно будет. Помянешь меня,— доказывал Иван Воров.— У меня на таки дела чутье есть...

А с моря катились, катились тугими жгутами волны, тихо шуршали галькой, песком, ласкались с берегом. Обнимали его своей соленостью, мягкостью, даже щедростью.

Выбрасывая широко журавлиные ноги, к костру подбежал Митяй: глаза навыкат, рот свело набок, трясется, не то от смеха, не то от страха.

Полыхали костры, гудела земля от неистовой пляски, волновалась ночь. За кострами во всю силу целовались влюбленные. Жизнь вела свою стежку по земле, жизнь продолжалась. Тайное прикрывала ночь.

— Марфа! Марфа, черт тя дери, наш кот Васька съел Викентия и Аганьку, а теперича доедат нашу корову. Я хотел его отпугнуть, а он на меня как зафырчит, как замяукает!

— Рехнулся мужик, откель тут быть нашему Ваське, он еще в Сибири исдох.

Вокруг Митяя собрались мужики, тоже спьяну хохочут и не поймут, откуда могла здесь оказаться кошка.

— Пошли глянем.

— А может, тигр пожаловал? — усомнился Аниска.

— Какой те тигр, наш кот Васька,— шумел Митяй.

— На такой шум и верно не должен прийти, потом огни,— чуть трезвели мужики.

— Кот, грю, наш Васька,— стоял на своем Митяй.

— Гуляй, мужики, Митяй спьяну врет.

— Пойду гляну. Чем черт не шутит, когда бог спит,— сказал Феодосий, вывернул из саней оглоблю и пошел с Митяем к хлевам.

Луна облила тоскливым светом тайгу, купалась на серебристых перекатах, кралась по небу.

Дружки подошли к хлевам, это были временные навесы для коров и коней. Навстречу поднялся гигантский кот. Он разверз кровавую пасть и раскатисто зарычал, кашлянул, присел на мягкие лапы, приготовился к прыжку, ударил по бокам гибким хвостом. Но пьянущий Митяй не понял смертельной угрозы, пошел на него. Закричал:

— Васька, эй, Васька, аль не узнаешь хозяина? Не щерь зубы-то! Слышь-ко, Васька?

— Аррррр! Кхы! Кха! Воу! — кашлянул кот и прыгнул на Митяя. Мощный удар лапы отбросил Митяя в сторону, он покатился по полянке и заверещал зайчонком. Тигр на секунду растерялся. Митяй вскочил и бросился бежать. Заорал:

— Ратуйте, тигр! Тигр Феодосия съел!

Тигр прыгнул на Феодосия, но Феодосий не растерялся, успел опустить оглоблю на голову зверя. Тот тихо рыкнул и закрутился волчком. Откатился, упал, захрипел. Феодосий еще и еще раз огрел оглоблей тигра. Затих зверь, убит. Присел на его теплую тушу, ослабли ноги. От костров неслись крики:

— Огня! Скорей огня!

— Бабы, собирайте ребятишек, заводите в палатки!

— Хватай ружья! Заряжай скороспелками!

— Пока зарядим, от нашего большака и косточек не останется.

— Хватай дубины, пошли! — кричала Марфа. Первой прибежала на полянку. Следом мужики с пьяным ревом, с перекошенными от страха лицами. Навстречу поднялся Феодосий и ровно сказал:

— Ну, чего всполошились? Уханькал я зверину. Вона, Митяй, твой Васька. Чего бояться? Зверь как все звери, хлопнул по башке — и был таков.

Заполошный и не ко времени крик Меланьи:

— Феодосий, вези назад, съедят нас тигры!

— Цыц, ты с чего это, мокрохвостая, зашумела? Кто нас съест? Тигры? Гляди, вот торскнул — и нет его. Уханькал я царя-то зверей, как сказывали нам гольды. Тигр — царь, и нет царя. Другое дело, что нам надыть немедля ставить хлева настоящие и скот туда ставить. Чтобыть не смог зверина пробить стены.

— А может, поначалу дома, а уж потом сараи? — робко посоветовал Сергей Пятышин. Тоже, видно, испугался тигров.

— Ты, советчик, подумал, что сказал? Зверь на людей не бросается, а вот на скотину позарился.

— А мы что, хуже скота? Рази на нас не могет позариться? — наступала Меланья.— Вези назад.

— Садись на заплечье, повезу. Аль погоди, новое судно построю,— хохотнул Феодосий.— Сказано, на людей не идет, а берет скот, скот и будем защищать. Молчать! Неси, стара, остатний спирт, догуляем.

— Снова не повезло Митяю, его корову загубил.

— Корову что, может быть, и Аганьку с Викентием съел. На людей не бросается! У Митяя на боку синячище — страсть.

— Аганька! Викентий!

— Мы тута! — раздались голоса с дерева.

— Чего вас туда лешак загнал?

— Не лешак, а тигр. Как загырчит да на нас, мы на дереве и оказались.

— Вот ястри его в корень, знать, и вас пужанул. Слезайте, расскажите, как дело-то было? — приказал Феодосий.

Викентий Чирков спрыгнул с дерева и снял Аганьку, коротко рассказал, как тигр вышел из чащи, рыкнул на них,— они на дерево, а он тут же бросился на корову, ударом лапы перебил хребет, и не пикнула, а другие коровы убежали в тайгу, кони тоже.

— А у вас там песни и крики, вы дажить рева коров не услыхали.

— Я будто слыхал, кто-то ревел, но покажись, что это снова Марфа орала на Митяя. Надо искать и звать коров, — сказал Сергей Пятышин.

— Это так, распустили мы уши, в тайге, мол, зверя много, на нас тигры не нападут,— проговорил Иван Воров, заряжая свое ружье.

Все протрезвели.

— Где искать? Куда пойти на ночь глядя?

— А вы пошто не кричали нас?

— Кричать бы надо,— шумели пермяки.

— Коровы орали, да вы не слышали, а что наш крик. Сами боялись голос подать, не влез бы тигр на дерево,— оправдывался Викентий.

— Эх, а еще служивый — махнул рукой Феодосий. — Заряжай ружья, пошли искать лошадей и коров. Аниска, можно ли в ночь пойти на поиски?

— Нельзя. Я уже осмотрел, это тигрица,— и тигрята близко. Уже не сосут, знать большие, могут еще кого порешить. А коровы и кони к утру придут. Испужались зверя, но придут.

Лаврентий ушел на пост, зарядил пушку и выстрелил. Грохот всполошил ночь, поднял на крыло птиц в бухте. Луна тут же нырнула за сопку, будто грохота испугалась. Еще и еще гремели пушечные раскаты, пугали тигров, подбадривали людей.

В лагере выставлены караулы. Одна за другой начали собираться коровы, они мычали и ярились от запаха убитого тигра, не шли в загоны. К утру пришли кони. Эти не рассыпались по тайге, а сбились табуном, так табуном и пришли.

Ночь прошла спокойно. А когда взошло солнце, то пермяки гурьбой высыпали из палаток, чтобы посмотреть убитого тигра. Ночью пострашились.

Зверь был могуч. Даже мертвый он внушал страх. Огромные лапищи лежали одна на другой, будто заснул, заснул в спокойной позе после трудной охоты.

— М-да, кошечка ниче. Как дела, Митяй? Бок болит. Вот те и Васька! Видно, не во всю силу шоркнул тебя тигр, мог бы убить.

— Я, кажись, увернулся. Я ить, когда надо, верткий.

— Знамо, верток, не успел земли коснуться, уж на ногах. Дунул, только тебя и видел,— трогая лапы тигрицы, говорил Феодосий.

Тигрица щерила вершковые клыки, стыла в последнем напряжении.

— Да, пастище, жамкнет — и нет человека.

— Убили тигрицу, другие тигры придут мстить за нее,— предупреждал Кустов.

— Уже слышали. Придут, то той же оглоблей и встретим,— оборвал служивого большак.

— Как ты вывернулся, Митяй? Это тебе не рыба-кит, коя утащила тебя в Амур. Придумай какую-нибудь байку, как там придумывал.

— Нет, здеся байки не придумаешь,— отмахнулся Митяй, прижимая локоть к зашибленному боку.

— Хватит пялить глаза, пошли утренничать и за дело. Пакостник убит, второй не придет,— проворчал Феодосий.

— Иване, покажи, как Митяй драпал от тигра? — попросил Сергей.

Иван круто развернулся, забыл, что у него в руках ружье, и дал стрекача к палаткам. Все засмеялись, думали, что это начало представления, но когда повернулись к речке, куда успел показать Иван, все подались назад.

Там в расслабленной позе стоял тигр и щерил клыки, ничуть не меньше, чем у тигрицы, сильно тянул в себя туманный воздух, тихо порыкивал.

— Вот те и не придут мстить! — жалобно крикнул Кустов.

Тигр напрягся, начал бить хвостом по своим бокам и пошел на людей скрадывающим шагом, припадая брюхом к травам, замирал, будто скрадывал зверей, которых он сейчас убьет мощными лапищами, а не людей.

Люди пятились, немо отступали. Хотя у многих были ружья в руках. Тигр перебрел речку все тем же скрадывающим шагом, выскочил на яр. Теперь тигра и людей разделяли каких-нибудь десять сажен. И все враз, и охотники, и служивые, и бабы, и дети, круто повернулись и бросились к палаткам, будто холщовые стены могли их защитить от этого зверя. И только трое: Феодосий, Аниска и Андрей — вскинули ружья и одновременно выстрелили в зверя.

Тигр резко остановился, будто наткнулся на преграду, и начал медленно заваливаться набок. Стало тихо-тихо. Только и было слышно, как приглушенно рокотал перекат, шептался

ветер с молодой и клейкой листвой да надрывно на сопке кричала птица.

Охотники подошли к добыче. А те, кто убежал, спасовал, теперь возвращались назад, шли молча, с ружьями и кольями наперевес. Прятали глаза от смельчаков. Но никто их не упрекнул, лишь Аниска улыбнулся и сказал:

— Всякое бывает, пари. Я от первого медведя так бежал, что ичиги с ног слетели. Голешеньким прибег домой. Бывает...

— Надо отвезти тигров на сопку, распять на дереве, чтобыть другие звери нас боялись. Для острастки.

— Нельзя, паря, ить это шальная деньга. Манзы нам за каждого тигра дадут по сто рублей. У них и шкуры в цене, и мясо, и кости.

— А где те манзы?

— На юге. Все пересушим, шкуры отомнем, при случае сбегаем туда. Только усы не выдергивайте, шкура цену потеряет.

— Все-то ты знашь, все ведашь.

— Поживете вы с мое здеся, тожить все будете знать и ведать. Почали, мужики, да сымайте шкуры так, чтобыть ни одного пореза не было. Сам буду выделывать их.

— Так что, дома аль хлева и конюшни будем строить?— спросил Пятышин.

— Знамо, хлева и конюшни. Без тягла и коров остаться — значит самим погинуть. Отбились от этих, отобьемся и от других.

Ефим отслужил молебен от тигровой напасти, долго ходил по табору и чадил кадилом, читая молитвы, гнусавил,— он всегда гнусавил, когда читал молитвы.

После завтрака Феодосий сказал:

— Сергей Аполлоныч, ты займись с бабами и парнишками огородами, а мы почнем валить лес. Строиться надыть во всю силу. Тигры — звери не шутейные.

Но с валкой леса в тот день ничего не вышло. Мужики мялись, ссылались, что после хмельного голова болит. Для вида запрягали коней, но вдруг оказывалось, что хомут надо чинить, у второго шлея порвалась, у третьего седелка пришла в негодность. Кто-то занялся правкой пил, точкой топоров. Волынили.

Феодосий не кричал, не ругался, а запряг своего меринка, за ним поехали Аниска, Андрей. Свалили по дереву, вывезли и тоже больше не поехали. Еще одного тигра видели. Пострашились рисковать. Пусть отойдут от страха мужики, тогда скопом,

дружно, может быть, от шума и уйдут тигры. Сколько же их тут?

Ночь снова прошла в тревоге. Караульщики ходили по трое, сменялись каждые два часа, добро, были часы у Пятышина и у Фомы. Будил ночь, рвал тьму из пушки Лаврентий. Ему не спалось тоже. Стреляя, между делом миловался с Лушкой.

Тигры не пришли.

А наутро весело застучали топоры, запели пилы, столетние кедры, сотрясая землю, падали. Из них будут построены дома, хлева, будущая деревня.

6

Не знал Феодосий Силов, какого страшного зверя убил он, а потом тигренка. Если бы знал, может быть, и задумался...

Старую куты-мафа знала вся долина, если не дальше. Она уже четвертый десяток жила в этих горах. Раньше она была к людям тайги добра, покладиста и по-мудрому спокойна. Но в последние годы люди перестали узнавать ее. Раньше, стоило охотнику принести извинение, что, мол, прости, если нарушил тебе охоту, пересек твою тропу, она уходила прочь. А в эти годы... Достаточно было увидеть след старой куты-мафа, как охотник сломя голову убегал за пять сопок.

Куты-мафа, так зовут удэгейцы тигров, за многие годы родила больше двух десятков тигров, выкормила их, и они ушли на свою тропу охоты. Теперь снова она водила двух тигрят, тигренка и тигрушку. Зверята росли сильными, смелыми, им уже шло по третьему году, когда куты-мафа вдруг озверела, стала нападать на людей, не только на тропах, но и в стойбищах. Убивала и уносила в тайгу взрослых, детей — словом, всех, кто попадался на ее пути. То же самое делали и тигрята. Будто в тайге перевелись кабаны, изюбры, олени, косули, волки. Куты-мафа все это легко могла добыть. Так почему же она стала добывать людей?

Долго гадали охотники: почему куты-мафа стала злой, немилосердной? Старый Календзюга шаманил, спрашивал духа гор, как им быть, что им делать? Ведь куты-мафа тоже дух гор, больше того, куты-мафа священный зверь; поедая человека, он как бы берет все его грехи на себя, очищает грешника через свой желудок. Сказал людям:

— Духи гор сказали, что у нас много накопилось грехов и во искупление их они послали нам куты-мафа. Не надо нам обижаться на куты-мафа, пусть она делает свое дело: съеден-

ный станет безгрешным. Не трогать ее, не пускать в нее стрелы и копья. Кто тронет, того еще страшнее покарают духи гор.

— Мы верим тебе, Календзюга, ты самый мудрый среди нас человек. Мы и без того знаем, что убивать куты-мафа нам запрещают духи гор. Но они запрещают убивать тех, которые не приносят нам зла. А эта несет зло. Если бы она убила первый раз меня, то я бы на нее не обиделся. Я много накопил грехов. Меня всегда может убить куты-мафа. Но она убивает детей, а, как говорят нам духи гор, дети безгрешны. Скажи ей, чтобы она не убивала безгрешных. Ты ведь тоже безгрешный, вот пойди и скажи все куты-мафа. Я не пойду, потому что я грешен, пусть она убьет меня потом.

Хорошо сказал Алексей Тинфур, очень хорошо. Народ зашумел. Старый Календзюга долго молчал, затем так же долго шаманил, сказал:

— Я пойду и все скажу куты-мафа.

Календзюга понимал, что не пойди он, самый безгрешный среди этих людей, то люди перестанут ему верить, не дадут больше мяса и рыбы, и он умрет с голоду. Ибо он давно уже не охотник...

Три дня ходил по тайге старый шаман, искал куты-мафа. Нашел. Встал перед грозной владычицей гор, начал упрекать ее за убийство детей:

— Ты, куты-мафа, большой медведь, ты великий из великих духов гор, ты знаешь все тайны неба и земли. Ответь мне, почему ты убиваешь наших детей? Мы грешны, а, как сказал Тинфур, так говорят и духи гор,— дети безгрешны. Они еще не успели грехи накопить. Ты стала либо стара, либо ты стала очень злой и не знаешь, кого и за что убиваешь.

Тигрица стояла на расстоянии прыжка от шамана. Губы ее дергались, она тихо порыкивала. Даже склонила голову набок, будто слушала человека. Раскатисто рыкнула, сказала тигрятам, чтобы они убили этого сумасшедшего. Тигрята бросились к шаману, сбили его с ног, начали с ним играть, как с мышонком. Наигрались, придушили...

— Тинфур, ты ходил по следам шамана,— спросил Техтомунка,— что ты видел?

— Шамана убила куты-мафа. Значит, он тоже грешен. А проще — все он врал нам. Куты-мафа такой же зверь, как все звери, и ее надо убить. Если бы был жив Иван Русский, то он бы сказал, что делать. Я же не знаю, что делать. Надо собрать большой совет и поговорить. Сам я не решусь убить куты-мафа. Боюсь духов гор.

На большой совет съехались все шесть стойбищ: Тинфуры, Бельды, Календзюги, Техтомунки, Намунки и орочи Заргулу.

— С ним пытался договориться наш шаман Календзюга, но и его убила куты-мафа,— начал свою речь Тинфур.— Иван Русский всегда говорил, что дух, который убивает человеков, плохой дух. Такого духа либо надо убить, либо изгнать с нашей земли. Иван Русский убивал куты-мафа, если она делала зло. Никогда не трогал тех, которые не убивали людей. Он убил куты-мафа, когда он напал на стойбище Бельды. Убил отца, мать и хотел унести в тайгу. Духи гор его простили за это. Он убил куты-мафа, которая унесла дочь Заргулу, духи гор снова простили его, не было у нас черной смерти, не было большой воды, и звери не ушли от нас, остались в горах. Если бы был жив Иван Русский, то он бы давно отомстил за смерть своих друзей, что пали у кумирни, он бы покарал куты-мафа за смерть наших детей и моей дочери, которую я так любил, за смерть шамана, за смерть многих людей. Их у нас и без того мало осталось в долине.

Долго молчал большой совет, люди думали, но все же решили: «Куты-мафа убить. И пусть ее убьет Алексей Тинфур. Убьет не из ружья, которое ему оставил Иван Русский, а копьем и ножом, как всякий смелый охотник»...

Алексей Тинфур долго шел по следам людоедки, с ножом и копьем, чтобы покарать ее. Отомстить...

Никто не знал, с чего куты-мафа стала людоедкой. А началось вот с чего: старая куты-мафа занозила лапу. Ту лапу, которой она так легко добывала кабанов, ломая им спины, ту лапу, которой она на полном скаку хватала оленя. Теперь лапа вздулась от страшного нарыва. Пыталась куты-мафа вытащить занозу зубами, но не смогла. Не могла добыть зверя, чтобы накормить двухгодовалых детей, которые еще не умели добыть зверя, хотя полумертвых уже пытались давить. Шла и шла по тайге, в надежде что-то добыть, но, хромая, усталая, была бессильна. Следом плелись исхудалые тигрята. Не будь с ней тигрят, она могла бы пролежать много дней без еды, но они требовали есть, больно кусали за лапы, бока.

Похрамывая, без всякой надежды, куты-мафа брела по лезвию Сихотэ-Алиня. От нее убегали кабаны, совсем близко подпускали изюбры, будто знали, что куты-мафа беспомощна. Однажды, на водопое, она пересилила боль и прыгнула на оленя, но тот легко ушел от нее, больше того, остановился на глазах и забавкал. Куты-мафа завыла от боли и отчаяния. Тигрята хватали за задние ноги, больно ранили, из ран сочилась кровь, они ее жадно слизывали.

Запахло людьми. Запах пота щекотал ноздри. От этого запаха всегда уходила куты-мафа: запах опасный, страшливый. На сопке высилась кумирня, под ней копошились люди.

Это были охотники, они шли на корневую охоту, на поиски женьшеня. И сейчас молились духам гор, чтобы они послали удачу на тропе трудных поисков. Еще просили куты-мафа, самого главного духа гор, чтобы он не убивал их за грехи малые, а если есть большие, то, так и быть, пусть убьет.

Тигрица постояла минутку в раздумье и пошла на людей. В пяти шагах остановилась. Тигрята куснули ее за хвост. Она рыкнула. Охотники услышали сзади рык, обернулись и тут же застыли от страха. Перед ними стояла куты-мафа с тигрятами, начальник и дух тайги. Упали ниц и начали молить куты-мафа, чтобы она шла своей дорогой, оставила бы их жить.

— Разве куты-мафа забыла, как добывать кабанов? Смотри, какой я бедный и совсем худой,— просил владычицу гор старик, старшинка артели.

— Иди своей дорогой, куты-мафа, начальник всех начальников. Ищи для себя и твоих детей жирного кабана, я тоже худ и голоден,— умолял другой.

— Разве тебе мало тайги, а в тайге зверя, что ты так грозно рычишь на нас! — кричал третий.

— Не грешен я, я молодой, не накопил еще грехов на тропе жизни! Уходи, дай мне жить!..

Но тигрица не вняла мольбам людей. Она и ее тигрята хотели есть. Бросилась на нежданную добычу, пересилив страх перед человеком. Забыла про боль в лапе. Рвала клыками, била лапами, так что гной и заноза вылетели. На помощь бросились тигрята, тоже давили, били, грызли и кусали. Люди катались, пытались отбиваться от наседающих тигров, но все тщетно. Визг, крики, стоны...

Алексей Тинфур был не столь набожен, он не стал уговаривать куты-мафа, а тут же бросился бежать. Защититься ему все равно было нечем, потому что охотники за женьшенем не берут с собой оружие. Он-то и принес страшную весть о старой куты-мафа...

Прошел год. Теперь Алексей Тинфур шел по следам людоедки. Он много раз видел куты-мафа, но не было возможности точно бросить копье. А потом, с ней были тигрята, которые уже сами нападали на зверей и людей. Тигры шли в сторону русского поста.

Как куты-мафа, так и Тинфур впервые увидели на берегу людской муравейник, более того — пашни, палатки. Люди работали и не думали об опасности.

Куты-мафа два дня ходила вокруг русского поселения, а в ночь напала. Но приняла корову за человека и убила ее, ведь корова тоже несла на себе запах человека.

А утром Алексей Тинфур увидел с сопки убитую куты-мафа. Затем он тоже видел, как эти бородатые люди убили ее тигренка.

Алексей побежал к своим, чтобы принести людям радостную весть. Принес. Снова собрались люди, но уже не на совет, а на праздник. По случаю избавления от людоедки они много ели мяса, курили трубки, плясали у костров, хвалили бородатых людей.

Охотники начали собираться в тайгу. До этого они перестали ходить за зверем, боялись куты-мафа. Сейчас некого бояться. Но Алексей Тинфур предупредил:

— Там еще остался куты-мафа, он тоже людоед.

— И его тоже убьют бородатые люди. Он не сразу уйдет от убитой матери, нападет на русских, и они его убьют. Теперь наши животы снова будут полными, а мы сильными.

Охотники смело ушли в тайгу. Алексей Тинфур тоже, но жил надеждой на скорую встречу с русскими...

7

Дело, как всегда, шло споро. Сваленные деревья тут же шкурили, заваливали бревна на салазки-медведки, гнали коней в деревню. Там тоже вовсю стучали топоры, деревня строилась. Но пермяки пока ходили с ружьями, снова они видели тигра. Побаивались. Он мог напасть и отомстить за смерть матери. И все же не может жить человек в вечном страхе, через неделю были оставлены ружья, скоро и в одиночку гоняли коней из деревни в тайгу.

А плотники рубили хлева, конюшни, крепкие, надежные, которые и медведь не раскатает. Тайга. А она уже показала, что здесь не до шуток. И как только было построено несколько хлевов и конюшен, туда сразу перебрались матери с детьми, скот и кони за стенами, а люди на сеновалах. Не должен забраться тигр. А медведей как-то не боялись. Мужики немало их добыли еще на Амуре. Дело знакомое, привычное. Хотя Аниска предупреждал, мол, медведь свирепее тигра. Из них каждый может сожрать человека, а тигр редко нападает на людей. Эти тигры из людоедов, не иначе.

Первый воскресный день, когда большак разрешил отдохнуть, а так работали без отдыха. Бог простит, не в пьянстве

провели божьи дни, а в деле. Да и можно было уже и передохнуть: огороды вспаханы, овощи посажены, скот и кони за толстыми стенами.

Молодежь ушла водить хоровод на полянку к берегу моря. Старшие сидели на бревнах и щелкали кедровые орехи. Софка, а это видели все, ровной походкой прошла мимо, вышла к речке и исчезла в кустах. Ларион тоже подался туда.

Прокоп Саушко сидел на валежине и ждал Софку. Подошла, села рядом, тихо сказала:

— Зряшное это дело, Прокоп. Ну знаю, любишь, но ить я еще с Ларькой не разошлась. Я понимаю Ларьку-то. Он и ненавидит меня, но и не хочет отпускать меня. Я же его видела несколько раз с Галькой Силовой. Даже говорила, чтобыть он бросал меня и шел к Гальке. Ежли любит Гальку, ну чего тогда канитель разводить? Так что, прошу тебя, Прокоп, второй раз прошу, пока не приставай. Уйдет Ларька, буду твоей. Счас нет и нет. Не хочу слышать о себе дурного разговора. Не хочу, и все тут.

— Я не навязываюсь, я могу подождать,— так же тихо отвечал Прокоп, смоля свою пахучую трубку.— Прощай, не то!

— Прощай! Скоро все станет на место, аль наоборот, полетят мои черепки с полок.

Прокоп ушел. Софка еще долго сидела одна, устало перебирая косу. Но тут зверем вылетел из чащи Ларион, ударил по лицу Софку, схватил за косу, намотал ее на руку и с ревом поволок в деревню. Остановился среди улицы и начал бить свою жертву. Орал:

— С Прокопом путаться! Тайком к нему бегать? Гадина, убью!

— Ты пошто бабу бьешь, сволота! Отпусти, не бей! — закричал Аниска и бросился на Лариона.— Хошь ты и свояк, но не дозволю зряшно бить бабу.

— Брысь, пичужка! — рыкнул Ларион, широко размахнулся и ударил Аниску в ухо. Аниска охнул и покатился по траве.

— Ах ты, падло, Аниску бить, совсем распоясался! — крикнул Андрей, метнулся на Лариона, коротким ударом сбил его с ног.

Вскочил Аниска, тоже бросился на Лариона, помог Андрею скрутить драчуна. Связали поясами руки. Подошли к Софке, она лежала распростертая на траве. Лицо в крови, кофта изорвана, на груди синяки и царапины.

— Ты тоже хороша, все видели, как Прокоп обстреливал тебя глазами. Счас от него? Ларион на грешном деле прихватил?

— Поди ты к черту, святоша! — выплюнула кровавую слюну, отвернулась. — Чиста я! Чиста! Чище твоей Варьки! Ты не знаешь о ее грехе, я знаю. Палатки-то тонки, исповедалась она Ефиму, ненароком подслушала. Но молчала, не хотела тебе душу травить. Но ежли ты не веришь мне, то получай!.. Господи, уж прибрал бы ты меня, что ли! Житья нет. Каждую ночь щиплет, толкает под бока... А Прошка любит, он бы так не сделал. Да только... Пошли вон, собаки! А Варьку спроси, что и как было! — кричала Софка, давилась плачем.

Андрей и Аниска подняли Софку и повели в палатку. А тут сбежался народ, спросы, расспросы. Андрей остановил крики, сказал:

— Отстаньте, баба побита, а за что и про что, в этом счас разберемся.

Подошли мужики и большак.

— Что случилось, Андрей? Пошто Ларька связанный валяется? — спросил Феодосий.

— Софку бил, отняли, связали,— хмуро ответил Андрей.

— Его баба, может бить, может миловать, — сказал Феодосий.

— Но он бил ее смертным боем,— вставил Аниска.— А потом, паря, ежли бы Ларька был бы сам чист, може, было бы дозволительно бить бабу, а он сам грязен и порочен. За работой мы не видим, как он тута прелюбодействует. Ларька плохой мужик. Давно приметил.

— Развязать; не прознавши дело, нечего обижать мужика,— заступался Феодосий.— Этак вы скоро каждого почнете скручивать, коли бабу кто поколотит? Развязать!

— Ну, Андрей, такого заступничества я тебе не прощу. Знаю, пошто заступился за бабу. С Перми у вас еще были шашни, — заговорил, поднимаясь, Ларион. — Навеки враги. Я тебе уступил полюбовно Варьку, а ты мне моим же салом и по мусалам. А Софку пусть забирает Прокоп, она мне уже не нужна. А нет, то я ее убью! — прорычал Ларион.

Прибежали с поста матросы. Встали перед плотной стенкой мужиков.

— Ну, Прокоп, пошто ты замужнюю бабу совратил? — насупился Феодосий. — Ответствуй!

— Греха не было, могу евангелие и крест поцеловать — не было. Люба мне Софка, а что с того? Не изменила она Лариону. Не изменила! Зряшно бита. Это Ларион ей на сто рядов изменил. Зови свою дочь, большак, да спроси ее, как она с Ларионом бегала в сопку кедровые шишки искать? Спроси, спроси! Тогда и суд будет праведен!

— Надо еще спросить с Ларьки, пошто он досе не назвал Софку своей женой? Ить живут без божьего благословения,— подалась вперед Марфа.

— А пото, что досе детей нет. Для ча мне пустая баба? Пусть ее забирает Прошка. Больше она мне без надобности! — кричал Ларион.

— Щедр, с чего бы это? А ну сюда Гальку! Ну-ка, дочка, отвечай всенародно, каки твои дела с Ларионом? — гремел Феодосий.

— А что, и отвечу,— гордо вскинула Галька голову.— Люб мне Ларька, брюхата я от него. И что?

Феодосий побледнел. Сжал кулаки, сейчас бросится на Гальку. Сомнет, за наглость, за заносчивость, за непочтение к отцу. Галька и верно не любила отца. Да и мать тоже. Похоже, она только себя и любила. Была не однажды порота, но от порки делалась еще злее.

— Бей, тятя, не зашибить бы тебе в утробе дитя,— кривилась в злой усмешке Галька.— Мало раньше бил, так счас еще хочешь кулаки почесать.

— Уйди, стерва! Брысь, сволото!

Гальку как ветром сдуло. Феодосий повернулся к Лариону.

— Объявился еще один зятек. Ладное дело! — цедил сквозь зубы большак.— Твоя взяла. Софка неродиха, а Гальке уже сделал живот. Тем и спасен, не то смял бы, как куренка, растоптал бы, ако жабу. Брысь и ты с глаз моих, брандахлыст ты этакий!

Ларион не стал ждать, когда его еще раз погонят, вышел из толпы и ушел в тайгу.

— Ну, а ты, Прокоп, что думаешь делать с Софкой? Ответствуй нам!

— Ежли Софка пойдет за меня, то заберу.

— Ежли и не пойдет, то тоже надо забрать,— сказал Кустов.

— Добре. А ты, Лаврентий Кустов, долго ли будешь зряшно миловаться с Лушкой? Тожить будете блудить, пока живот на нос не попрет?

— Благословляйте, и мы хоть счас под венец.

— Иване, благословляй! — приказал большак.

— Благословлен,— буркнул в бороду Иван Воров.

— А ты, Викентий Чирков, долго ли будешь валандаться с Аганькой Плетеневой?

— Я что, я готов тожить хоть счас под венец,— заулыбался Викентий.

— Митяй, благословляй.

— Благословляю,— бросил Митяй.

— А теперича забирайте своих баб и всех на пост, чтобыть и духу ихнего здесь не было. Не хватало еще нам с вами сцепиться,— махнул рукой в сторону поста Феодосий.— Где жить будут? Рубите для них светелки, и пусть они там и живут,— резко говорил большак.— Все. Ни пива, ни аналоя не будет. Ефим, запиши, что повенчаны, и будя.

— Но ить они служивые, им нельзя жениться? — подалась вперед Лушка.— Вам лишь бы нас выдать замуж, а там что будет, не подумали. Со мной уже было такое.

— Ладно, служба не вечна. Давно ходит слых, что уменьшат им срок службы. Авось вам и повезет. Пошли вон с глаз наших! Никто вас не гнал любиться со служивыми. Тьфу! — плюнул под ноги Феодосий и поспешно ушел в палатку.

Долго шумел лагерь пермяцкий, всяк по-своему обсуждал и драку и скорое благословение. Одни ругали Ларьку, мол, наблудил живот девке, другие были за Ларьку: сколько живут, а детей нет. А какой мужик согласится жить с такой бабой, коя детей не рожает. Каждому после себя хочется оставить семя. А Софка пуста, как бочка из-под капусты.

— Будь по-другому, то Феодосий бы так просто не простил Ларьке.

— Матросики тоже хороши, девок водят, а о женитьбе ни слова.

— Им не приказано жениться. А бабу тожить надо...

— Только и делов большаку, что наши блудные дела разбирать.

— На то он и большак...

А большак сидел в палатке и тягостно думал: «Велика ли община, а сколько забот и хлопот с ней. Что ни голова, то свое Беловодье. Каждого рассуди, каждого вразуми. Нет, что ни говори, а не может мужик прожить без розог и без наказаний. Значит, надо пороть и пороть. А то все погрязнут в блуде, воровстве, стяжательстве. Без узды мужику нельзя... Тогда как же люди жили бы в Беловодье? М-да...»

Тяжко было и на душе у Андрея. Почему такое сказала Софка? Ведь зря она не сказала бы? Значит, что-то было у Вари? А что?

Софка собрала в узел свою лопотину, уходила на пост. Сплевывая кровь, шипела:

— Всем отомщу! За жизнь свою паскудную — отомщу!

— За что мстить-то, ить выручили тебя мужики, убил бы

Ларька,— говорил Лаврентий. — Иди, не злобись. Скажи спасибо Аниске и Андрею, быть бы убийству.

Пришла ночь. Пришла неспешная, чтобы залить своей чернотой бухту святой княгини Ольги, обволочь туманами вершины сопок, хохотнуть филином, рыкнуть тигром, простонать сонной чайкой на бухту, прозвенеть соловьем.

Андрей стоял на берегу речки, смотрел на темную гряду сопок, которая глыбастыми волнами расползалась от моря, мешалась со звездами. Страшные слова сказала Софка. Может быть, отомстила за свой стонливый крик, который так и застыл в травах земли пермяцкой. Давнишний крик, но он слышен и сейчас: «Андре-е-ей, не уходи!»

— Ну, чего закручинился, паря? — тронул за рукав Аниска.— Баба в злобе всякое может наговорить. Забудь. Чиста твоя Варька. Лучше твоей Варьки никого нет, я те говорю.

— Может, и нет...

— Но ежли нет, то чего же нудиться. Слышали только мы двое, а Аниска могет держать язык за зубами, паря.

— Спасибо, Аниска, иди спи, я еще повечеряю.

Евдоким, только он мог совратить Варю. И тут же наплыли глаза Евдокима: жадные, блудливые, злые. Нет, тогда почему же согласился Евдоким спасти Андрея и друзей? Варя просила. Ага, убить Андрея, вернуть назад Варю. Может быть, он, когда сплавлял их на лодке, и не думал убивать Андрея. Позже его душу захлестнула петля-удавка. Решился. Андрей мертв, Варе ничего не останется, как вернуться к Евдокиму. Что только не делает с людьми любовь. Варя умолила Евдокима спасти Андрея...

— Степа, а ты побил бы меня, ежли бы я с матросиком спуталась,— слышит Андрей голос Любки.

— Убил бы, а не токмо побил бы.

— Знать, любишь. Сибирские ветры нас повенчали, а разведут эти, у могилы,— слышно, как целует Степана Любка.

— Снежным было наше венчание. Снег был чист, такой же должна быть жисть каждого.

— Ларька не любит Софку, а ить побил? Тожить на снегу венчались. Пошто он ее побил?

— Это надо спросить его. Спи, завтра снова работать.

— Завтра снова работать,— тихо проговорил Андрей.

К нему подошла Варя, ей тоже не спалось, спросила:

— А ты смог меня так побить, ежли бы...

Андрей вздрогнул, напрягся.

— За что же тебя бить-то? Столько маеты вместях приняли, спасала нас, не предала... Ить так? — круто повернулся Андрей.

— Может, так, а может быть, нет,— вырвалось у Вари.

Андрей подался назад.

— Не боись, ты мой единственный. Не предавала я тебя,— зачастила Варя, так она быстро никогда не говорила.— Теперь Ларька нам родня. Но знай, Андрей, Ларька будет похуже Фомы. Фома будто стал добрее, а этот тебе за Софку отомстит. Зачем встревал? Ударил его. Галька тоже тебе будет врагом. Тугоносая она, злюка, — начала уводить разговор в сторону Варя. — Пошли спать.

Андрею не спалось. Он плечом чувствовал, что и Варя не спит, хотя дышала ровно, как будто спокойно. Что-то здесь не так?

Андрей не мигая смотрел в подволок палатки, через малюсенькую дырочку заглядывала звездочка. Спросить бы ее, может быть, она что-то рассказала?..

8

В тайге заполыхала зелень, щедрая, клейкая. Она затопила все сопки, распадки, волнуется от ветра. А в этой зелени идет своя жизнь. Пичуги перестали щебетать, сидят на гнездах. У зверей тоже забот немало: сохранить бы своих зверят от хищников. И у хищников зверята, их надо кормить, им надо жить. Идет борьба: слабые погибают, сильные выживают.

С подсиненного неба плескало свои лучи солнце. От земли, как от банной каменки, шел пар. Земля млела в этой парильне и гнала травы в рост, хлеба в колос. Пермяки чуть свет бегали на пашни, чтобы потрогать руками темные всходы. Должен родиться хлеб, всходы тучные, всходы густые. Труды не должны пропасть даром. Трудная земля, но она послала радость.

Гладили, стряхивая со стрелок колосьев росу, и там, где притрагивалась рука пахаря, спадала роса,— зелень становилась еще темнее, сочнее.

— Живем, пари,— шумел Аниска, такой он уж радостный человек,— поедим своего хлеба, пивка попьем. Вона ячмень-то как прет, удержу нету. Ажно слышно, как шуршат колосья, зерно соком наливается.

— Живем! — орал Воров, ворошил свою бородищу, давился в заливистом смехе, росистом и добром.

— Надо думать, пудиков по двести должны взять с десятины. Эвона какая пшеница, такой отродясь не видал. Сыты будем,— радовался и большак, трогая хлеба. — Пошли! Бабы кличут — хлебово стынет.

Срубы росли, как грибы после теплого дождя. Вставали рядками. Окнами к солнцу, дверьми к речке, чтобы за водой было ближе бегать. Дома широкие, прочные, с размахом.

Посредине деревни будет дом большака, рядом дом Андрея, с другой стороны дом Ивана Ворова, Ефима Жданова... И пошло. Зачем колготиться в тесноте? Лесу здесь хватит, хватило бы силы. Должно хватить, если строиться общиной. Всем работы по-за глаза: бабы и дети месили глину, и в тех домах, над которыми уже высилась тесовая крыша, Ефим с Романом били печи. Феодосий с Андреем распиливали плахи, тес. Пятышин руководил плотницкой артелью, Фома с Митяем вывозили срубленный лес. Здесь же матросы. Один на Крестовой, трое в работе. Из-за тигров не стали пускать детей на пост. Матросам тоже решили срубить дома в деревне. На посту несподручно жить бабам.

Дом считался готовым для новоселья, если посредине стояла печь, в проемах — рамы, вместо стекла промасленные холстины, потолок над головами и пол под ногами. Остальное достроится, угоится.

По молчаливому соглашению первым вошел в свой дом Аниска. Фроська была на сносях. Хотя Ларька было заворчал:

— Пошто Аниске такой почет? Моя Галька тожить брюхата.

— Галька еще подюжит, а почет Аниске такой пото, что он сделал в сто раз больше, чем ты, лодырь.

И конечно, Аниска, свойский человек, забрал в свой дом всех детей, че им мерзнуть на сеновалах. Колготно, шумно, но зато весело.

— Мне ба столько детей! — похохатывал Аниска.— Вот бы зажил! Фрося, ты того и этого, шевелись, до трех десятков старайся.

— Дурачок ты мой, чем кормить будешь?

— Ха, выгоню всех в забоку, и пусть пасутся на черемше. Было бы кого кормить, прокормлю! Аниска еще не ослеп и стрелять не разучился.

Вторым хотели вселить Феодосия, но он сказал:

— Я войду последним. Большаку не след забегать вперед. Пусть он в таком деле идет позади и другим дорогу показывает, чтобыть никто пальцем не ткнул, мол, большак о себе радеет.

— Мудрено, но в дело,— согласился Пятышин.— Верно сказал. Ить совсем немного надо, чтобыть люд полюбил большака, а еще меньше, чтобыть разлюбил его. Землю меряют саженью, а дела свои — по большаку. Лады!

Фома и Митяй тоже старались во всю силу. Они часто, меняя коней, волочили бревна в деревню. Фома уже давно стал

другим: в работе, в делах, но в душе он еще злобился, что мало его замечают, еще меньше привечают. Был почет, и нет его. Злобился на то, что не стало той хватки, на то, что еще не нашел силы оторваться от общины, может быть совсем не оторвется. А ведь Фома был сильный человек, смелый человек. Сколько он в молодости душ загубил, чтобы быть в почете, жить в богатстве. Куда все это ушло? То желание быть первым, та хватка брать все, что плохо лежало. Что говорить, земля здесь хороша, но нет на ней размаха. Общинка, и больше никого. Нагнать народу бы сюда,— может быть, и развернулся. Ларька не помощник. Этот будет жить сам по себе. Может статься, злее окажется отца. За порку не простил. А ить праведная была порка. Затаился, как тигр для прыжка. Э, а к чему все это,— раздумывая, махал на все Фома рукой и продолжал ворочать бревна вагой.

Суббота. Над банями висел дым. Пермяки давно уже не моются в печах. Им полюбились настоящие русские бани-каменки. Есть где развернуться, веником размахнуться, напарить себя так, чтобы от пара покачивало.

Замолк перестук топоров, положили свои маховые пилы распиловщики плах. Все готовятся к бане, чтобы отпарить недельную соль с тела.

Митяй тоже уже распрягал коня, но Фома уговорил его еще сделать одну ходку за бревнами.

— Ить никто, акромя нас, не вывезет лес, чего же мешкать-то? Сбегаем и в баньку. Трогай!

А вот и порубь. Накаты шкуреного леса. Но кони враз захрапели, попятились. Навстречу шел тигр. Вдруг он припал на лапы, прыгнул, распрямился, распластался в жутком полете. Тигр нацелился на Фому, который ехал вершной. Но Фома щуренком нырнул под брюхо коню, оттуда за дерево. Конь встал на дыбы, сбросил с себя тигра, ломая медведку, развернулся, поскакал в деревню.

Конечно, прыгни на Фому старый тигр, то не жить бы ему, но это была та самая тигрушка, которая после смерти тигрицы и тигренка осталась одна. Умения еще не было. Но тигрушка не хотела отпускать добычу, Фома задал стрекача, а тигрушка за ним...

Трудно поверить, что мог такое совершить Митяй, тот Митяй, который «умер», когда его сбил с ног медведь, тот Митяй, от которого никогда и никто не ждал подвига, да что подвига, хоть бы смелого шага, не растерялся, хлестнул вожжами Воронка, вздыбил, заставил его пойти на тигра. И Воронко пошел, с налету сбил с бега тигра, Митяй слетел с коня, прокатился по

боку сопки, но тут же вскочил на ноги. Успел. Тигрушка уж пришла в себя и нацелилась на Митяя. Митяй схватил кол и пошел на тигрушку. Фома, не будь дураком, белкой залетел на дерево, теперь сидел на суку и ошалело смотрел на тигра и Митяя.

Митяй закричал, заверещал, затопал ногами, затем завизжал поросенком, залаял собакой, оглушил тигрушку. Она растерялась, попятилась, щеря страшные клычины. Прыгнула в сторону, побежала. Митяй за ней. Рычал, лаял, догнал тигрушку и огрел ее колом. Она, голодная, усталая, не могла убежать, прижалась к выворотню и начала защищаться. Прыскала, скалила пасть, хакала, рычала, отбивала кол лапой, который совал ей Митяй в пасть.

Рев тигрицы и крик Митяя услышали в деревне. А тут еще кони прискакали. Мужики похватали ружья и бегом на порубь, на крики и рычание.

Прибежали. Увидели, как Митяй дразнит тигра. Опешили. Но тут же грохнули выстрелы. Тигрушка сунулась мордой в землю, обмякла. Митяй смахнул пот со лба, спокойно сказал:

— А ить она нисколечко не страшная. Гыркает, а проку нет. Зря вы прибежали, я бы ее сам добил колом.

— Митяюшко-о-о! — с воплем бежала Марфа.— На кой ляд ты связался с энтим зверем? Ить сгинуть мог. Дай я тебя обниму...

— Э, загундосила! Дура баба. Шасть домой! Не лезь в мужское дело! Сами разберемся! — насупился Митяй.— Она, значитца, хотела Фому слопать, да я перестрел с конем, вот и погонял ее ладно.

— От тебя и конь не убежит, а такой тощей тигрушке и подавно, — осмотрев зверя, сказал Аниска. — Кожа и кости. Отощала совсем. Это, видно, из той семьи. Одно скажу, чтобыть ты вдругорядь, паря, так с тиграми не баловался. Эта не сегодня, так завтра бы исдохла с голодухи, потому и далась тебе запросто.

А Феодосий хлопнул Митяя по плечу, сказал:

— Молодец, Митяй. Мужиком и охотником стал. Земно кланяюсь, — шутливо поклонился в ноги Митяю. — А где же Фома?

— Ха, игде же ему быть, как не на дереве,— усмехнулся тонкими губами Митяй. — Сымайте, не расшибся бы.

Фому сняли, сам не мог сползти с дерева. Руки и ноги ослабли.

— Эко напужала, каждая жилочка дрожит, и ноги не держат. Спасибо, Митяй. Должник я твой по гроб.

У всех в глазах тревога. Тигры снова начали досаждать.

— Ниче, теперича все кони и коровы за стенами, мы тожить. Не боись, мужики,— подбадривал Феодосий. — Берите ее за лапищи и поволокли в деревню. Че зря шкуре пропадать. Аниска приберет. Сызнова придется ходить с ружьями.

— Нет, эта последняя, коя напала на человека. Семьи той нет, другие не нападут,— успокаивал Аниска.

— Богу мало молимся, вот и наплывают на нас беды,— говорил Ефим.

— Что там богу, продохнуть некогда. Придет час, помолимся и богу.

— То так, Феодосий Тимофеевич, но не было бы большей беды. Зверь здесь норовистый, злой.

Прав был Ефим: оттуда, из-за сопок, катилась на них большая беда. Тигры — это малый испуг. Он через день-другой забудется, но то, что придет, — не забудется многие годы...

Снова ходили сторожа по деревне. Изредка палил из пушки Лаврентий. Страхи улеглись. Жизнь пошла своим чередом. День и ночь. День и ночь...

9

Тайга притихла от зноя и безветрия. Парко в тайге. В чащах запах прели. На пашнях запах зреющих хлебов. Пошла в колос пшеница, выбросил метелки овес, начал зреть ячмень, кукуруза вымахала в рост человека. Все росло буйно, сочно. Васильково цвел лен. Дурманящий запах конопли пьянил. Репа выросла, крупнее, чем брюква росла в Перми. Бабы уже подрывали картошку. Каждый куст удивлял.

— Пошла подкопать картошку, а там каждая картошина с поросенка малого. Эко дивная земля!..

Лаврентий шел с охоты. Гнулся под тушей добытого оленя. Забот и у него прибавилось, надо семью содержать. На двоих пайка матросского не хватит. Он, как никто другой, решил здесь остаться навсегда. Ему тоже заложили дом. За женитьбу могут и взгреть, но он говорил, мол, ежли что, то уйду в тайгу. На это Дионисий отвечал:

— Присягу порушишь! Честь русского матроса порушишь! Не дозволим, так тепленького и сдадим властям. Эко, все переженились, один Дионисий ходи в холостяках? Придут вот наши, то все обскажу.

— Ничего-то ты не обскажешь. Завидуешь. Прошла твоя молодость на службе, а что потом делать будешь?

— На старухе женюсь.
— Только и осталось.
Кустов сбросил тушу с плеч, присел под вербой. Над пашнями гулял редкий туман. Вон и Лушка бредет к нему на помощь. Над туманами видна одна голова. Сбивает прутиком росу перед собой. Все зря, все равно будешь по пояс мокрая.
Сбоку треснул сучок под чьей-то осторожной лапой. Лаврентий круто повернулся. И обмер. В трех шагах стоял медведь, не обращая внимания на человека, загребал лапами овес и жадно его обсасывал. Лушка почти натолкнулась на медведя, ойкнула, медведь присел, ухнул, сжался и, выбрасывая комья земли из-под лапищ, сиганул в чащу. Лушка бросилась к Лаврентию. Дунул ветерок и отнес туман. И супруги увидели до десятка медведей, которые деловито бродили по овсам, садились на землю и тоже смачно жевали молочные метелки.
— Батюшки, Лаврентий, ить они овес топчут. Побежали в деревню, надо народ полошить! — закричала Лушка. — Киш! Киш! Загубят овсы.
В деревне переполох. Мужики за ружья, бабы за вилы и топоры, а у кого были ружья, тоже начали заряжать. Уже и солнце взошло, туман припал к травам, а медведи спокойно паслись, будто эти овсы для них сеяли. Посмотрели на кукурузу, а там паслись кабаны. На льнах разгуливали изюбры, пятнистые олени.
— Боже, что же это творится-то, ить губят наши хлеба, наши заботы зверь жрет. Пали! — закричал Феодосий.
Десяток ружей раскатисто прогремел над полями. Несколько медведей покатилось по овсам, забились смертельно раненные кабаны, затем из кукурузника вылетел весь табун и широкой полосой промчался по пшенице, все стаптывая на своем пути. От выстрелов ускакали олени и изюбры со льнов.
Мужики заметались по полям, в овсах наброды, в кукурузнике все измято и изгажено. Кабаны посекли стебли, пожрали початки, перетоптали широкими копытами, перемололи.
— Кто здесь бывал в последние дни?
Все молчали.
— За стройкой забыли и за пашнями доглядывать. Знать, никто не был.
— Кабаны перерыли всю картошку, что посажена у леса,— подошла Марфа.
— Беда, мужики, что ж делать-то?
— Местные кабанов отпугивают стуком в тазы, доски. Мы же могем еще и выстрелами их попугать. Должны уйти,— сказал Аниска, но как-то неуверенно.

— А ежли не уйдут, тогда что?

— Тогда не знаю.

— И ты, Аниска, не знаешь?

— Видит бог, не знаю. Вот здря собак бросили в Перминке. Они бы быстро их отвадили. А то для ча собаки, самим бы было что поесть. Поедим, ежли стравим зверью хлеба.

— Аниска, как всегда, прав, не послушали, собаки и верно надобны. Обмишулились мы с собаками-то. Теперича игде их искать?

— Здешних людей надо просить. В тайге живут, должны быть и собаки. Найдем,— успокоил Аниска.— Но испробуем поначалу отбиться без собак. Ежли не отобьемся, то пойдем с Андреем к таежным людям.

К ночи готовились, как к бою. Вокруг пашен, по совету Аниски, сложили кучи хвороста, валежника, сушняка, смолья, создали огромное кольцо из огня, через которое, как думали пермяки, звери не пройдут. Огонь отпугнет их.

Так прошел день в работе, тревожном ожидании. Дома не строили, не до них, хлеба бы спасти, зверя отогнать. Лаврентий с матросами построили помост среди поля, перенесли и установили пушку, зарядили картечью. Охотники тоже сооружали лабазы, с них лучше зверь виден, точнее выстрелы.

Вначале пришла предвечерняя тишина. Слышно было, как звонко переговаривались перекаты. Вздыхали дубки. Шептались осинки. Всем тревожно, а людям и того больше: каждый слышал перестук своего сердца. Что-то будет?

Пришла ночь. Далекие созвездия осыпали переспевшие гроздья. Но тут начали наплывать тучи, замазывать звезды, будто кто-то водил кистью по небу. Чуть покачивались сопки. Сильнее запахло росой, хлебами. Густо звенели комары, заедала мошка. Не продохнуть. Кузнечики сделали малую передышку, теперь снова зазвенели, мешали слушать тайгу. Играли час, другой. В болоте надрывались лягушки, эти и вовсе не давали услышать шаги зверей.

И вдруг все смолкли, и кузнечики, и лягушки. Ухнул в пойме филин. За ним раздался раскатистый рык тигра, затем визг кабана. Снова тишина. И крик филина, и рычание тигра были каким-то сигналом. Тут же дрогнули сопки от топота звериных копыт. Затрещали чащи. Звери шли на пашни не таясь. Повизгивали от нетерпения поросята, чухали кабаны, чушки. У кромки пашен остановились. Нанесло ветром запах людей. Постояли с минуту и темной лавиной пошли на кукурузу. Выплеснулись из тайги. Треск, визг, чавканье, гул земли.

— Зажигай костры! — завопил Феодосий.

По табуну, где можно было насчитать за сотни голов, грохнула пушка. Изрыгнула огонь, смрад и картечь. И сразу несколько зверей закувыркались на поле. Вспыхнули костры. Бабы, дети застучали в доски, тазы. Охотники били зверей с лабазов. Но кабаны лишь посторонились от огней, казалось, не собирались уходить с кукурузника. И выстрелы их не столь пугали, прогремят они в одном конце поля, они потеснятся на другой, жрут пшеницу, овес, кукурузу. Раненые даже бросались на людей. Навстречу им факелы, вилы, косы.

Снова попали кабаны под картечный выстрел. Еще несколько штук осталось лежать на пашне.

— Бейте! Стучите! Стреляйте! — орал Феодосий, взлохмаченный носился по полям.

Ефим, воздев руки к небу, стонал:

— Боже, помоги отвести напасть зверину! Боже, изгони этих тварей с полей.

А позади спокойно паслась чушка с поросятами. Обернулся, чертом бросился на чушку. Выстрелил в упор. Покатилась, сминая хлеба.

Иван подпалил свою бороду факелом, выпучив глаза, гонялся за чушкой.

Гремели выстрелы, орали люди, визжала ночь поросячьими голосами. В чащах ухали медведи, эти были осторожнее, не шли под выстрелы.

Начал накрапывать дождь. Сырел порох на полках, стрелять стало невозможно. Звери, похоже, победили людей. Но люди брались за руки и шли цепью на зверей, оттесняли с пашен. Звери отошли. Победа! Но еще никто не знал, какова цена той победе.

То, что истоптаны поля, конечно, беда, но оказался раненым Фома, секач вырвал из ноги клок мяса. Чушка сильно помяла Митяя, Марфа уносила его домой. Но вот подошли матросы, они несли Прокопа.

— Что случилось? — метнулся к матросам большак.

— Секач распорол Прокопу живот. Умирает.

— Батюшки, а как же Софка! — у кого-то вырвался невольный вскрик.

— Где она, страдалица?

— Бежит. Лица нет. Вот ить как, навалится беда на одного, не отпугнешь, как кабанов.

— Как случилось, что Прокоп попал под кабана? — спросил Феодосий.

— Сунулся с помоста, а на него кабан. Хватил клыком и был таков.

— Загубили молодца. Пропала Софка. Пропала! — завопили бабы.

Софка сидела над Прокопом. Нет, она не плакала. Положила голову Прокопа на колени и нежно гладила волосы.

— Ефим, прими покаяние, — подтолкнул Ефима Феодосий.

— Поздно, уже отходит. Господи, его-то за что?

— Уведите Софку, трекнулась баба. Отведите в деревню.

Сергей Пятышин и Прасковья взяли под руки дочь и повели в деревню.

Долго умирал Прокоп, но без стона и крика, что-то говорил в бреду, кого-то о чем-то просил. Умер служивый...

А люди, живые люди, одни стояли над Прокопом, другие бродили по полям, поднимали сломанные стебли, подбирали сбитые колосья. И мертвый Прокоп, и истолченные поля тоже смяли людей: в глазах отрешенность, в теле вялость. А многие просто ложились на землю и засыпали бредовым сном.

Из-за сопок выползла туча. Прошипела молния, грянул гром. Рванул неистовый ветер, но не заволновались хлеба, а лишь жалко гнулись под ветром. И люди не побежали от дождя, они, грязные, косматые, затравленные, встали над Прокопом, чтобы прикрыть его тело, молчали. А те, кто уснул, поднялись, отрешенно смотрели на поля.

Гроза очистила небо от туч. Взошло солнце.

Ефим Жданов смотрел на небо, губы его что-то шептали, и если бы услышали люди, что говорил Ефим, то не поверили бы ушам своим. Он ругал бога, не просто ругал, а матом крыл.

Матросы унесли Прокопа на пост. Туда ушли Иван Воров и Ефим Жданов, чтобы обмыть и одеть усопшего. Феодосий же приказал всем подниматься, но никто не поднялся.

Мимо людей воровато проскользнул медведь, забрел в овсы. Феодосий посмотрел на медведя, бросил свой зипун и тоже лег. И он устал. Тут же уснул.

Звери не боялись людей. Их притягивал запах овсов, кукурузы.

Первым проснулся Аниска, растолкал Феодосия, сказал:

— Мы пойдем за собаками, а вы тут ставьте поскотину, делайте завалы из валежника. Зверя меньше пройдет через поскотину, хотя и она не преграда. Ну же, проснись, паря! Кабанов хоть чутка придержим.

— Проснулся. Эй, мужики, бабы, подымайсь! Пашни будем огораживать!

Солнце палило во всю мощь. Люди просыпались, смахивали бусинки пота со лбов, упарились спать на солнце. Устало смотрели на большака, и, может быть, впервые в жизни, за все

время странствий по земле русской, они почувствовали, как устали жить, как тяжка жизнь и как в ней мало радостей. Смотрели тупо, безразлично. Каждый взгляд говорил, что, мол, оставь нас в покое, большак. Однова помирать.

— Очнитесь, люди! Еще остались хлеба, не все загублено, еще можно многое спасти, себя спасти. Здесь муки не купишь. Сгинем, ежли что. Ну, очнитесь же! Много сделали, еще много сделать сможем. Прошу вас,— молил Феодосий усталых от жуткой ночи людей.

— Э, что говорить, Феодосий Тимофеевич, завел ты нас на погибель. Сгинем все! — простонала Марфа, от которой этого стона никто не ожидал.

— Не сгинем. Только не надо капуститься. Подымайсь. Пока бабы заварят хлебово, мы уже многое сделаем. Андрей, посчитай, сколько мы их наколотили?

— Э, что считать. Всех не съедим. Вытаскивать надо на закрайки, и пусть тухнут — может, вонь отгонит зверя,— вяло махнул рукой Андрей.

— Погиб Прокоп, кого же завтра засекет зверь? — тихо проговорил Митяй.

— Прокоп погиб, как в бою. Он защищал нас, хлеб, значит и энту землю. Живые должны о живом и думать.

— Может, и так. Бьемся за свои жизни, с нашей жизнью подымаем и землю,— согласился Митяй.

— Теперь, поди, откажетесь от заповедных мест? — ехидно спросил Ларион.

— От присяги и заповеди не отказываются. А кто откажется, тот изменник. Потому молчок! — рыкнул Феодосий.

— Могу и помолчать. Но ежли так пойдет, то скоро зайцы почнут нас убивать. Вы меня секли, теперь звери вас секут.

— Нас, Ларион, нас,— поправил Феодосий.— Тебя же за дело секли. Поставим поскотину, и отойдет зверь. Сами виноваты, ворон просчитали, за просчет наказаны. Пошли делать засеки, авось помогут.

— Пошли, не впервой робить,— поднялся Фома.— Жить захочешь, еще не то сделаешь.

10

Аниска и Андрей наспех пожевали мяса, запили молоком, заседлали коней и тронулись берегом моря в тайгу. Тропка то вилась по самой кромке прибоя, то поднималась к седым скалам, вдруг падала вниз, наконец круто отвернула от моря и по-

вела в тайгу. А впереди сопки и сопки, с причудливыми изгибами вершин. А на них темная зелень кедров, чуть светлее дубов и уж совсем светлая зелень берез, кленов, ясеней. В долине речки Аввакумовки покосы, пахучие травы, ковры цветов. Кони ходко шли по тропе, пофыркивали. Тропа металась по берегу речки, падала на перекаты, уходила на прилавки сопок, брела через бурные ключи, уводила в таежную хмарь. А там дрожало знойное марево, там стыла легкая синева.

— Вот здесь и будем косить сено,— показал на покосы Аниска.— На сто деревень хватит,— с большим преувеличением заключил он.

— Зря мы так сразу поехали, надо бы похоронить Прокопа, а уж тогда и ехать,— сокрушался Андрей.

— Без нас похоронят.

— Знамо, без нас, но чтой-то душа нудится, жалко мне Софку.

— Есть слых, что она была твоей первой любовью. М-да, а от первой-то любви так просто не отмахнуться.

— А здесь места веселей, солнечней,— перевел разговор Андрей.— Гля, там еще туманы, а здесь их нет. Может, поспешили с выбором деревни-то?

— Может, и поспешили, но и от поста нам не след отрываться. И не спешить было нельзя. Апосля можно и здесь пахать, ежли дорогу прорубить. К покосам-то так и так придется рубить дорогу.

Звонко цокали подковы по камням, друзья зорко посматривали на сопки, тропу. Ведь они ехали без оружия. Одни ножи, а что с них толку? Так висят, для успокоения на ремнях.

Подъехали к широкому валу, что высился на прилавке. Остановили коней. Спешились. Взошли на вал. С интересом смотрели древнюю крепость. Здесь торчали остовы каменных фундаментов, круглые каменные ядра, валялись ржавые чугунные котлы. Аниска ковырнул носком землю, поднял наконечник бронзового копья. Проговорил:

— Когда-то здесь тоже жили люди. Жили, а кто-то пришел и всех убил. Скоро убил, даже каменные ядра не успели бросить на головы врагов.

Андрей тоже прошел за вал. Под ногами была мощеная дорога, которая терялась в зарослях ольховника. На валу же росли многоохватные дубы, каждому по двести лет, если не больше, тополя были еще шире. Когда-то здесь бурлила жизнь. Давно умер город. Но почему он умер? Может быть, его убили враги? А может быть, его просто бросили, чтобы построить новый? Но тогда куда ушли те люди? Андрей не согласился

с Аниской, что этот город умер враз, вдруг. Если на него напали враги, то он умирал долго, умирал в одиночку. И некому было помочь ему, ударить с тыла по врагу.

Постояли, помолчали. Тронули коней дальше.

— Здря мы не взяли ружья. Опасливо как-то, — проговорил Аниска.

— Может быть, и здря, но уже вертаться не будем. Как ты думаешь, есть ли еще здесь такие деревни? — кивнул на городище Андрей.

— Думаю, что были, но сейчас нет. Такой вал построить — надо много люду. А где он? То-то. Нет здесь столько людей. Крохи остались.

Ехали долго. Но никого пока не встретили. Не было видно признаков жилья. Но тропа-то есть; значит, есть и люди? Должны быть люди?

И там, где сливается Аввакумовка с речкой Минеральной, друзья увидели тигра. Еще раз пожалели, что не взяли ружей. Тигр стоял на перекате и жадно лакал воду. Видно, славно поохотился, теперь мучила жажда. Кони захрапели и встали, запрядали ушами, попятились. Тигр поднял голову, посмотрел на всадников, тихо рыкнул, вышел из речки, отряхнул лапы и лениво побрел по берегу.

Кони не сразу пошли на брод. Заупрямились, боялись тигрового запаха. Но все же их заставили перейти перекат. Но на берегу они понесли всадников в галопе, не сбиваясь с тропы.

С трудом придержали коней. Тропа взяла круто вправо. Зашла под тень ильмов и верб, здесь пахло прелью, грибами и цветами.

На косе речки Аввакумовки сидел человек. У ног его лежали лук, колчан со стрелами, копье. Незнакомец был похож на амурских нанайцев. Вот он заслышал топот копыт, цоканье подков, вскочил, схватил копье, но тут же бросил его на гальку. Улыбнулся. Показал пустые руки.

Друзья остановили коней, спешились. Тоже показали пустые руки, даже отстегнули ножи с поясов, бросили их на землю.

Неизвестный был одет точно так же, как одеваются амурские гольды: куртка из замши, рыбьи штаны, обут в унты, на голове длинноухая шапка из камуса. Низкоросл, коренаст. Добродушно смотрел на пришельцев. Еще раз показал пустые руки, отошел от своего оружия.

— Пошли. Предлагает мир. Кто показывает пустые руки, тот хочет мира. Пошли,— почему-то шепотом проговорил Аниска.

— Боишься?— усмехнулся Андрей.

— А кто его знает, какешный он.

— Свой, тебе ли бояться, счас хала-бала, хала-бала, и все поймем.

Андрей первым подошел к незнакомцу, подал руку, сказал:

— Здравствуй, друг!

Незнакомец молча пожал руку, усмехнулся.

— Ну, Аниска, начинай говорить, ежли что, так на руках договор поведем. Верно дело.

Аниска заговорил по-маньчжурски, затем по-бурятски, погольдяцки, но человек молчал, лишь светло улыбался.

— Не понимает ни по-какешному,— развел Аниска руками.— Знать, совсем другой породы человек. Почну говорить на руках, ить я с немыми-то запросто разговариваю,— могет быть, он немой. Попытаюсь таким манером договориться.

Аниска начал показывать, как кабаны роют землю, съедают кукурузу, чавкают, но незнакомец вдруг заговорил на маньчжурском диалекте.

— Вы пришли сюда друзьями, я это вижу. Когда к нам приходят чужаки, они не улыбаются: грабят, убивают, забирают жен, детей. Они приходят сюда тайком, как рыси, мы не всегда успеваем убежать от них. Они увели мою сестру, я хотел найти и выкупить. Но не нашел. У вас тоже есть плохие люди. Когда они пришли сюда на большой лодке, мы пошли к ним, чтобы попросить защиты от грабителей, ведь у них ружья, большие ружья, они могли бы нас защитить, но ваши люди прогнали нас.

— Они больше не будут прогонять. К ним приплывал большой начальник, сильно ругал,— успокоил Аниска.— Как тебя звать?

— Олекси Тинфур.

— Значит, Алексей Тинфур.

— Можно и так. Алексей даже лучше. Вы сделали хорошо, что убили куты-мафа. Она унесла у меня дочь, она много людей убила. Мы будем с вами дружить.

— О чем вы там? — нетерпеливо спросил Андрей.

— Да вот говорит, что дружить надо, друг друга защищать.

Три человека стояли на галечной косе, кони отошли пощипать травы. Было солнечно. Сбоку лопотала речка Аввакумовка. Если бы эти трое прислушались к ее голосу, смогли понять друг друга, то, наверное, и речка смогла бы что-то рассказать. Прислушайтесь, голос ее не столь монотонен, как кажется. То она понизила голос свой до шепота, то вдруг заклокотала, забурлила, гневаясь...

Тинфур, это дитя природы, кажется, понимал голоса тайги. Он кивнул на речку и сказал:

— Она как люди, могу сердись, могу смеяться,— сам не замечая того, что вставил в свою речь несколько русских слов.

— Э, дружба, так ты по-нашенски говоришь,— посветлел Андрей.

— Я хорошо говори по-вашенски, — улыбнулся Тинфур. — Здесь живи много-много лет русский. Он был совсем хороший человек. Иван был моим отцом. Он взял меня к себе совсем маленьким. Мы с ним много говорили, и говорили на его языке. Иван Русский, он так назвал себя, также хорошо знал язык моих предков. Он прожил бы у нас еще дольше, если бы...

— Погоди, погоди, паря, ты говори по порядку. Значит, сюда забредал русский?

— Да. Он был сильный. Ивана любили все наши люди. Но Ивана не любил наш шаман. Иван был сильнее шамана. Когда наш человек болел, то Иван его лечил лучше, чем шаман,— торопливо говорил Тинфур, путая русский язык с удэгейским, маньчжурским. Но понять было можно.

— Да не торопись ты,— остановил Аниска,— вспомни, как говорил Иван, так же и говори, чтобыть понял тебя и Андрей. Значит, Иван заболел и умер?

— Нет, его убил шаман.

— За что? — спросил Андрей.

— Болела дочь Бельды, шаман сказал, что он ее вылечит. Но Бельды не послушал шамана и привез дочь к Ивану. Иван все сделал, чтобы вылечить девочку, поил травами, медвежьим жиром, но она сгорела от жара. Умерла. Шаман долго камлал, потом сказал,— теперь уже ровно говорил Алексей,— что русский убил дочь Бельды, мол, такое ему дух гор сказал, дух гор еще сказал, чтобы Бельды взял большой лук, из которого он убивает медведей, смазал бы стрелу ядом и пустил бы ее в Ивана. Если Иван большой шаман, то стрела пройдет мимо, если он обманщик, то стрела его убьет. Бельды пустил стрелу, стрела не прошла мимо, она убила Ивана.

Речка вдруг загремела, забуянила. Алексей кивнул на речку, сказал:

— Речка тоже сердится, в ней душа Ивана. Потому что речка нас кормит, поит, она такая же добрая, каким был Иван. Она всегда нам говорит, когда будет большая вода, когда маленькая. Но и я вам скажу, что вы плохо поставили свое стойбище из деревянных чумов. Будет большая вода, вы все пропадете. Там, где стоите вы, всегда бывает вода, большая вода.

— Ты хорошо говоришь по-русски, Алексей. Не забыл еще?

— Не забыл; когда я один, всегда говорю, как говорил Иван, чтобы не забыть его язык, не забыть Ивана.

— Откуда пришел Иван?

— Оттуда, куда солнце спать уходит. Он пришел к нам с большим ружьем. Он хотел дождать на берегу большую лодку и уехать в другую землю. Много лет ждал, я тоже ходил с ним на берег ждать, но большая лодка не пришла. Остался жить у нас. Навсегда остался.

— Рассказывал ли он о себе? Как попал сюда? Почему он хотел уйти в другую землю?

— Он только один раз сказал, что поругался со своим царем, тот хотел его убить, он бежал сюда, отсюда в другую землю. Вот и все. Он шибко был хороший человек, большой человек, бородатый и беловолосый человек. Когда его убили, я долго плакал.

— Пошто же ты не отомстил за отца шаману?

— Шаману нельзя мстить.

— Много ли здесь живет народу?

— Мало.

— Зови к себе в гости,— проговорил Аниска,— кажи, как вы живете.

— Когда был жив Иван, у нас все было, мы ели пшеницу, кукурузу, гаолян. Теперь все пропади. Шаман сказал, что наш народ должен жить тайгой, а не землей. Все его послушали. Теперь наши дети часто бывают голодны.

— Откуда вы брали семена на посевы?

— Иван ходил в Корею и все там покупал. Он хороший был охотник, много соболей добывал. Потом мы вместе охотничали, еще больше стали добывать соболей.

— Значит, мы плохо поставили деревню?

— Шибко плохо, можете пропасть.

— Речонка-то маленькая, с чего воде-то быть?

— Вода будет, когда много дождя будет.

— Давно убили Ивана?

— Пять зим уже прошло. Пошли в наше стойбище, там будем курить трубку, думать. На могилу Ивана зайдем. Там тоже подумаем. Иван говорил: когда с человеком сломаешь лепешку пополам, он твой друг, выкуришь трубку — совсем друг.

— Затем и пришли, чтобыть разломить лепешку пополам.

— Хорошо пришли. Мы вас ждали. Пошли, Ивана надо спросить: как нам жить дальше?

Тропинка запетляла по прибрежным зарослям, перепрыгнула полянку и вышла на крутой обрыв речки Минеральной.

— Тут Бельды убил Ивана, тут его я и похоронил, в землю закопал, так просил Иван. Мы своих людей не закапываем в землю, мы их отвозим в тайгу, и там их съедают звери. Иван не хотел, чтобы его съели звери.

Подошли к камню. Тинфур сказал:

— Под этим камнем спит Иван. Тут мы варили рыбу, Иван любил варить рыбу на этом берегу. С той стороны речки Бельды пустил стрелу. Иван упал. Бельды тоже плакал, жалел Ивана, зря убил. Я хотел убить Бельды, но Бельды старше меня, старших у нас не убивают, пока они сами о том не попросят.

Тинфур послушал рокот речки, шелест листвы, перезвон птичек, склонился над камнем, заговорил:

— Иван, я к тебе привел русских людей, твоих братьев привел. Ты слышишь меня? Они пришли без ружей, они хотят быть друзьями. Слышишь? Он сказал, слышу. Он сказал, что я хорошо сделал, что привел вас сюда. Вы хорошие люди. Он сказал, что шаман врал и молодой шаман тоже врет, русские не отберут у нас тайгу, не прогонят с земли предков. Они будут нам друзьями. Хорошо сказал Иван. Спасибо!

Аниска и Андрей стянули картузы с голов, замерли у могилы. Странно было слышать, как разговаривает Тинфур с покойником. Но в то же время понятно, зачем он затеял этот разговор.

— Будут ли они моими братьями? Иван сказал, что будут. Он еще сказал, что нас было мало, теперь будет много. Врагов будем гонять, хорошо жить, мирно жить.

— Правильно он сказал,— кивнул Аниска.— Мы пришли к вам с чиста сердца. Мы будем братьями.

— Хорошо и ты сказал, вместе мы будем сильными, порознь нас побьет и маленький отряд. Купцы говорят, что вы хотите отобрать наших богов, дать своего бога, какой был у Ивана. Иван не отбирал у нас наших богов. Вы будете отбирать или нет?

— Нет. Живите вы со своими богами, а мы со своим. От нашего бога больше маеты, чем радости.

— Слышишь, Иван, они такие же, как ты. Ты не умел обманывать, эти тоже не будут. Пошли в чум. Там мы будем много говорить, много думать.

Скоро горьковатый дымок пахнул в лицо. Залаяли собаки. Кони всхрапнули и зашагали бодрее. Там, где дым, там люди, там отдых.

Молодой шаман стоял в отдалении, опершись на копье. Ду-

мал. Затем широко пошагал к русским, бросил копье на землю, сказал:

— Я был не прав. Воевать с русскими не будем,— чем немало удивил соплеменников.— У нас и без того врагов много, больше, чем листьев на старом дубе.

— Добре,— удивился и Аниска.— Впервые вижу такого шамана, коий бы пересилил самого себя. Ладный шаман, не дурак, ежли что...

Курили трубку мира. После чего Аниска рассказал о своей беде. Удэгейцы заволновались, заговорили наперебой, готовы хоть сейчас идти и помочь русским. Но их прервал Тинфур-старший, он сказал:

— Зачем ходить всем? К русским пойдет мой сын, он возьмет самых хороших собак, и они разгонят кабанов, медведей, оленей. Скоро пойдет сима, тогда каждый будет нужен. Потом мы сходим к русским.

Все согласились с мудрым стариком.

— Хорошо сделал, мой сын, что привел сюда русских. Война никому не приносила радости. У нас из рода в род передается легенда о злом и жестоком Чингузе. Он пришел сюда с войной, он убил городищи, он затоптал все посевы, убил почти всех людей. Все наши люди также помнят страшную легенду о жестокой Хаули. Алексей, ты расскажешь русским о наших предках, им ведь пока непонятен наш язык. Расскажи.

Алексей затянулся едким дымом из своей трубки, тихо начал рассказ...

Конница Чингуза, как страшная лавина с гор, как густой снегопад, обрушилась на бохайцев. Нет силы, способной удержать ее. Пали крепости, исчезли народы. Кони монголов брели по кровавой реке, тонули в ней люди. Смерть, всюду смерть. Густые колонны пленников брели по мощеным дорогам, уходили мастера и красавицы. Простых людей и некрасивых женщин Чингуз не брал в плен, предавал огню и мечу. Стон на земле, стон в небе. Все было повергнуто в прах. Редкие воины смогли убежать в тайгу, уйти от плена или смерти...

Прошло триста лет, а может быть, чуть больше, от бежавших родились новые люди, новые племена. На реке Уссурке поставили новую крепость, в долине возродилось племя гольдов, или нанаев, то есть земных людей, снова поднялись стены крепости в древнем городе, там жили племена мулунь. Правили ими мудрые князья. Люди снова начали жить и работать с песней. Всюду поля риса, пшеницы, гаоляна, чумизы. А тайга была полна зверем, а реки рыбой. Охотники искали корни женьшеня,

добывали панты, лутай, этим и торговали с Китаем, Кореей, Японией.

Но вот в жизнь этих людей вторглось золото. Кваюнге, вождю племени нанаев, принесли питаузу золота, зашитого в шкуру.

Золото в этом краю добывали издавна, но только для украшений.

Кваюнга приказал своим соплеменникам добыть много золота, чтобы этим возвеличить себя перед другими вождями: отлить из золота любимого коня и его сидящим на коне.

Нанаи рыскали по тайге в поисках золота. Сын Кваюнги, Айжинь, нашел столь много золота, что его можно было выгребать из ям лопатами.

Кваюнга и его конь были отлиты во весь рост. Тысяча воинов занесли статую великого вождя и бога этой земли на самую высокую сопку, водрузили на золотой постамент. Кваюнга стал так велик, что его скоро назвали Исцеляющим. Шли к статуе больные и немощные, молили золотого Кваюнгу исцелить их. И он исцелял, возвращая людям здоровье и силу.

Айжинь, который нашел золото, просил отца, чтобы и его отлили в золоте у ног отцовского коня. Но отец обругал сына и отправил в крепость, где он бы охранял землю и покой великого князя.

Вождь племени мулунь был болен глазами. Поехал к статуе Кваюнги со своей красавицей женой, чтобы тоже исцелиться. Но как только посмотрел Хунла на статую, тотчас же ослеп.

Кваюнга, увидев эту статную, высокую женщину, упал к ее ногам, стал просить, чтобы она была его женой.

— Я прикажу отлить тебя из чистого золота у ног своих, ты своим прекрасным ликом будешь озарять всю долину.

— Я хочу, чтобы ты лежал у моих ног, как лежишь сейчас, а я бы сидела на твоем золотом коне,— ответила с усмешкой Хаули.

— Я тебя возьму силой! — закричал Кваюнга.

— Силой можно брать только крепости, но не женщин. Или ты у моих ног, или я не твоя жена.

Уехала Хаули и увезла своего слепого князя. И скоро собрала большое войско и объявила войну Кваюнге, чтобы самой сесть на золотого коня.

— Когда женщина берет меч, она может обрезать свои нежные пальчики,— засмеялся Кваюнга.

Но один из его мудрецов возразил:

— Когда женщина берет меч, а к мечу прикладывает свою красоту, она может покорить весь мир.

Кваюнга приказал отрубить мудрецу голову. Хотя позже об этом пожалел. Хаули шла войной. Ворота главной крепости, что высилась на перевале, без боя открыл Айжинь. Он сразу полюбил Хаули, согласился лежать под копытами золотого коня.

— Хорошо,— сказала Хаули,— ты будешь моим мужем, когда принесешь неразумную голову своего отца, чтобы я могла повесить ее на свой жемчужный пояс.

Хлынули воины Хаули в долину, сокрушая все на своем пути. Кваюнга пребывал в страхе и смятении. Он приказал снять с горы Кумира-Исцелителя, затем приказал перекрыть русло реки, закопать туда золотого истукана, снова пустить воду в старое русло. И те, кто отводил воду, и те, кто хоронил статую, были убиты, а тех, кто убивал работников, зарезал кривым ножом Кваюнга. Теперь о месте захоронения золотой статуи знал только он один.

И все же Кваюнга решил дать сражение. Но оказался плохим воином, красавица Хаули разбила его наголову и погнала остатки войска на большую реку. Воины, самые преданные и влюбленные в Хаули, искали тем временем золотого кумира. Все перерыли, но не нашли. Айжинь был с ними.

Хаули не догнала Кваюнги. Вернулась назад. Айжинь припал к ее ногам, ждал ответной ласки. Но Хаули выхватила меч и отсекла голову предателю. Подняла ее перед воинами и сказала:

— Кто изменит своему народу, того ждет такая же позорная смерть. Смерть от руки женщины! — бросила голову под ноги воинам.

Вождь Удага тоже пошел войной на Хаули, посчитал, что она ослабла от войны, победит, сделает ее женой. Но ошибся. Когда женщина терпит неудачу, она делается злой и сильной.

И в первом же открытом бою побежали воины Удага. Страшно было видеть Хаули, мечущейся по полю брани, разящей своим мечом побежденных. Взят был в плен Удага, Хаули отрубила ему голову и повесила на пояс. Еще бы повесить рядом голову Кваюнги!

Пошла Хаули по большим и малым крепостям удага. Защитников убивала до единого. Если Чингуз Великий щадил мастеров и красивых девушек, то Хаули никого не щадила. Она решила перебить всех удага, затем пленить Кваюнгу, вырвать у него тайну захоронения золотой статуи.

Хаули брала последнюю крепость, что стояла в этой долине. Хоть и не было в живых Удага, но крепость долго не сдавалась. Здесь ее ждали, поэтому натесали гору каменных ядер, приготовились к долгому бою. И был бой. На головы воинов лили смолу и горящий жир, который матери вытапливали из тел детей, погибших от жажды, метали катапультами ядра.

Внезапно, в разгар осады, заболела черной оспой Хаули. Она знала, что умрет. Приказала своим воинам убить ее, отрубить голову и передать в осажденную крепость.

Обрадовались удага, передавали из рук в руки голову злой Хаули, не зная, что и мертвая, она несла им смерть.

И пошла косить людей черная смерть. Разбегались воины Хаули, бежали в тайгу и защитники крепости, разносили по всей земле черную оспу.

— Так загубили свой народ Кваюнга, Удага, Хаули. Никто не убирал трупы, уцелевшие сидели в тайге и ждали смерти. Заросли пашни, сровнялись с землей крепости. Остались только мы. Но нас так мало, как шишек после бури на кедре. Мы слабы и трусливы, как дети. Десять хунхузов легко могут ограбить нас, увести жен. Перед сильным всегда робеет слабый, но стоит слабому победить сильного — и он станет сильным,— закончил легенду Алексей.

— Вместе мы будем сильными. Будем друг другу помогать,— поклонился Андрей.— Две руки — не одна.

11

Тинфур принес длинное кремневое ружье и разные принадлежности к нему, сказал:

— Иван завещал вернуть вам ружье.

— Мы дарим тебе, Алексей, это ружье, на вечную дружбу, на память долгую, пусть оно разит врагов наших.

Тинфур с поклоном принял подарок. Отнес ружье в избу. Русские пообещали дать пороху и свинца.

В полночь друзья ушли по тропе. За ними трусило пять собак.

Шли долго, подсвечивала луна, тоскливо кричали ночные птицы, всхрапывали кони, высекая искры из камней подковами, шаркали легкие ичиги, улы.

С зыбким рассветом подошли к стенам мертвого города. Рассвет ширился. Дрогнули туманы и скатились с сопки...

И тут что-то неуловимое дзенькнуло, проплыл тихий звон. Затем послышался чей-то напев. Слух едва улавливал рождаю-

щуюся мелодию. Потом полилась тихая музыка. Музыка рассвета, музыка в память тех, кто спит долгим непробудным сном... Тихо. И в эту музыку ворвался вдруг протяжный стон. То ли простонало надломленное бурей дерево, то ли стенали души тех, кто не был предан земле...

Вспыхнула заря. И снова прокатился стон. Даже собаки зарычали. Кто-то призывал к мщению. Но кому мстить, когда смерть сравняла всех.

Выползло солнце из-за косматой сопки. Полыхнуло своими лучами по земле, затопило ее светом, теплом. Затихли стоны. Кто-то неведомый сильно тронул смычком солнечные струны — и они запели, запели радостно, запели чисто. Музыкант смелел: шире размах руки, просторнее песня. Она, как половодье, залила тайгу, долину, речку, что змейкой вилась по низине, поднялась в небо. За песней пришел ветер. Свежий, с таежным настоем, отоспался и, румяный со сна, прошелся по тайге. Прошелся робко, а в той робости таилась ласка. Тронул росистую траву, уронил росы, полыхнули те бусинки всеми цветами радуги, растаяли. Залепетала осинка, забеспокоилась, потянулась к солнцу. Тихо, чуть скорбно вздохнула березка, тонкая, голенастая, как девчушка в весенних веснушках, вскинула руки к солнцу, даже на цыпочки привстала. Степенно, с раздумьем качнул кудлатой головой дуб. Лениво пошевелил упругими листьями, умолк, отдался во власть музыки, солнечной музыки.

Повернула к солнцу свою головку лилия. Вспыхнула и зарделась красками восхода. А может быть, она впитала в себя кровь убитых.

Оборвалась музыка. Легла на тайгу утомительная тишина. Даже птички умолкли. Тихо-тихо, ничто не шелохнется.

А солнце все выше и выше. Оторвалось от сопки, тронуло своим краем тучку-бродягу, разметало и растопило ее.

Друзья замерли, каждый по-своему воспринимал и ту музыку и тот дивный восход. Все молчали. Да и о чем говорить? Умер город. Умер народ. Возродится ли?..

И тут затрезвонили кузнечики, заменили собой небесного музыканта. Солнце уже поднялось на несколько сажен над сопками.

Андрей представил, как по этому городищу сновали люди, бежали по узким улочкам. Мастера ковали мечи, кольчуги, другие наносили тонкую вязь из золота на рукояти мечей, делали украшения. Кто-то звал отведать крепкого вина, другой предлагал поесть сладких пампушек и лепешек. Лекарь поил больного дорогим лекарством, чтобы оно возвратило ему силу и здоровье. В восточные ворота вползал караван с рыбой и морской жив-

ностью. В западные — выходил обоз с таежной добычей — корнями женьшеня, пантами, шкурами тигров, барсов, медведей... Вдали слышны протяжные песни, это пели пахари-огородники, собирали урожай, чтобы отнести его и продать в городище.

Богатый радовался жизни, бедный скорбел, что мало дал ему земной радости бог, не удалось познать сладости славы и богатства.

И никто не ведал, что скоро, совсем скоро бедный и богатый будут умирать на этих стенах, защищая свои очаги.

По мощенной камнями дороге скакал всадник на низкорослом коне. В спине его торчала стрела. Влетел в ворота, крикнул:

— Чингуз идет! — и тут же умер.

Тревога! За оружие!..

Бросил свою мотыгу землероб, опоясался мечом мастер, взял в руки меч бедняк, богач, даже женщины поднялись на стены крепости, чтобы отбить нападение Хоули Кровавого.

Но мало кто успел метнуть копье, пустить стрелу, бросить ядро. Конница Хоули затопила долину, смела собой городище и его защитников...

Легкий туман поднялся от рос. За ним бродили чьи-то тени. Может быть, там была тень и злой красавицы Хаули? Все может быть. Те, кто не предан земле, навсегда остаются тенями, тенями в ночи, тенями в тумане...

— Это место наши люди обходят,— прервал молчание Алексей.— Отсюда еще никто не взял куска железа, бронзы. Здесь живет черная смерть. Кто возьмет отсюда что-то, тот обязательно умрет.

Друзья постояли у городища еще немного, пошли по тропе. Морщилась старая земля сопками, а в распадках молодо звенели ключи, глухо ворчала река. Это была та музыка, к которой давно привыкли люди и перестали ее слушать...

12

Показалось море, в зелени волн, с пенным прибоем, с гомоном чаек. Друзья миновали Узкую косу, затем пост. На посту все спали. В деревне тоже стояла тишина, и здесь спали. Люди снова сторожили поля всю ночь. Намаялись гоняться за зверями.

Навстречу бежал, взбрыкивая, теленок. Собаки бросились на него, подняли неистовый лай. Загрызли бы теленка, но Тинфур прикрикнул на них — и они вернулись к хозяину.

Лай собак разбудил людей.

Вышел заспанный Феодосий.

— Привели гостя? Рады,— подал руку Алексею.— Нонче нам было легче. Чуток поскотина спасала. Но все одно была война с кабанищами. Скоро будем поднимать людей, догораживать. Я уже, грешным делом, подумал, не торскнули ли вас инородцы,— повернулся большак к Андрею.

— Плохо думал, тятя. Чего нам с ними делить? Они люди простые, мы еще проще. Побратались, чего же больше?

— Тхе, нашел брата,— ехидно усмехнулся Фома.— Нехристи чумазые, только и смотри, чтобыть чего не уволокли. Простить не могу, что вот через такого едва живота не лишился.

— Ежли бы не разбойничал, то не было бы того. Потому заткнись! — рыкнул Феодосий. — Непозволительно гостя ругать. Внял?

— Его зовут Алексей Тинфур...— сказал Андрей.

— Ха-ха-ха! Имечко-то наше. Откель он такое подцепил? — не унимался Фома.— Харя немытая, а туда же — Алексей.

Алексей сузил и без того узкие глаза, раздельно сказал:

— Когда собака лает на хозяина, он ее бьет. Когда змея хочет ужалить человека своим двойным жалом, ее убивают. Я не думаю, что у такого народа, как русские, столь много безумных собак и злых змей. Они не должны порушить дружбу, не должна порваться она, как гнилой ремень.

Если бы грянул гром средь ясного неба, то мужики бы просто перекрестились, если бы протрубили трубы архангелов, оповещая людей о втором пришествии Христа, то все бы пали ниц, но тут они застыли с открытыми ртами, долго не могли ничего сказать.

— Свят, свят, свят! — часто закрестился Фома, попятился.

— Я забуду обиду, потому что плохо говорил один. Этот человек похож на росомаху, которая всегда крадет добычу у охотника, отбирает у слабого зверя. Если бы язык не сказал этих слов, то все равно бы их сердце сказало. Я так думаю.

Фома круто повернулся, прихрамывая пошел в дом.

Посыпались запоздалые упреки в спину Фомы. Хотя и сам Феодосий чуть не ляпнул, чем, мол, нам может помочь этот щуплый, маленький человек, это же пигалица. И у других готовы были сорваться злые слова. Ночь вымотала силы.

— Прости, Андрей, я думаю, что не прошла по нашей тропе мингуза?

— Нет, нет. На Фому не обижайся. Раньше он был шибко богатый человек, потом все прахом пошло, теперь вот мыкается

с нами тоже. Вот и злобится порой, что надо ломить хребет со всеми.

— Я прощаю Фоме, я понимаю, как ему трудно. Он стал одноруким, а такому добыть зверя тяжело, — проговорил Алексей.

— Ну, вот и ладно. Отдыхайте, а мы пойдем поскотину ставить, — устало сказал Феодосий.

— Вы сегодня хорошо отдыхайте,— светло улыбнулся Алексей.— Ночью мы погоняем мал-мало кабанов, медведей, далеко уйдут. Потом городьбу доделаете.

Алексей прошел по деревне, показал Феодосию на пень, сказал:

— Как ваши глаза не посмотрели, пень высокий, а вода была выше его. Когда будет большой дождь, то вас затопит,— волновался за переселенцев.

— Ниче, теперь уже построились, куда денешься.

— В сопку надо уходить, там деревню строить,— говорил Алексей.

— Легко сказать, парень, в сопку уходить. Деревня — это не чумы, снял и перенес. Да и речка воробью по колено. Нам бы хоть урожай спасти. Помоги,— отмахнулся большак.

Тинфур, как все люди тайги, спорить не стал, только и сказал:

— Помогу, собаки помогут.

Солнце коснулось краешка туч, затем сопки и ушло спать. Феодосий поверил Тинфуру, дал людям отдых, теперь снова суетился, мол, надо выходить на поля. Но Алексей его остановил.

— Ты совсем не поверил Тинфуру,— чуть с обидой сказал он.— Плохо думал — Тинфур обманет. Тинфур сказал, что звери убегут за несколько сопок, собаки их угонят.

Смеркалось. Аниска, Андрей и Тинфур ушли на поля. Развели костерок, стали ждать. Собаки мирно дремали за костром. Но вот они насторожились, потянули воздух, сорвались и наметом ушли в сопку. Послышался заливистый лай.

— Чушек гоняют,— бросил Тинфур.

Лай удалялся. Тинфур достал из котомки берестяную трубу, проревел. Скоро собаки вернулись. Чуть покрутились у костра, снова бросились в сопку. Затрещала чаща. Еще один табун кабанов в панике бежал от собак. Затем ревел медведь, которого собаки загнали на дерево. Тинфур их вернул. Истошно, оповещая тайгу о смертельной опасности, кричал изюбр, его давили собаки.

— Теперь будем мало-мало спать,— усмехнулся Тинфур.— Звери не придут сюда. Спите.

Тихо горел костер, друзья спали.

Утром Андрей заговорил:

— Ты, Алексей, на Фому не таи обиды. Запутался этот человек, случайно забрел в нашу компанию. Идет за нами, как теленок на веревочке. А человек он неплохой. Когда надо, то может и помочь. Прошли много земель. Были ссоры, споры, но Фома не оставил нас. Может быть, боится, что мы найдем что-то лучшее, жирные куски отхватим. Пустое то. Земли везде потливы, кругом маета.

— Э, чего мне на него обижаться. У каждого есть друзья и враги. Каждый может подумать о тебе плохо. На всех обижаться — скоро умрешь.

— Думать плохо — это еще не страшно, но когда человек все делает назло или готовится сделать зло, тогда страшно,— сощурил глаза Аниска.— Ларька на нас врагом смотрит, а ить сам виноват.

— И от одного врага может быть горько, как от осинового дыма.

— Назвать его врагом тоже нельзя, средь нас живет, но он может много бед натворить, паря,— рассуждал Аниска.

— Выпинать бы и Ларьку и Фому, но пока зацепки нет, живут и робят, как все,— вставил Андрей.

— Фома пообтесался, Ларька еще неотесанной чуркой ходит,— возразил Аниска.— И жизнь, ежли что, то сама их выпнет. Придет срок.

Андрей коротко рассказал о злоключениях Фомы, как он вошел в их жизнь, как выручил в сибирских походах, потом убил человека из племени буреть...

— Вот и пойми такого человека. То с нами, то против.

— Теперь с нами,— проворчал Аниска.

— Когда у человека такая путаная душа, шибко плохо жить. Один раз хорошо, другой раз плохо. У нас такой люди шаман: думает один раз так, другой раз так. И врагом не назовешь, и другом тоже. Путается в своих же ногах, сам их найти не может.

— Ты бы рассказал нам, что за диво-корень у вас тут растет? — спросил Аниска.

— Могу сказать, он молодость возвращает старику, больному приносит здоровье. Хороший корень стоит так дорого, что можно купить сто ружей и к ним порох и свинец на два года. Можно купить десять девушек и хорошо кормить их.

— А мог бы ты показать, как и где он растет?

— Нет. Это не могу. Наши дети как только начинают понимать слова и думать, то они дают клятву, что никому из других племен они не покажут тех корней. Если покажут, то будут убиты. Вы люди другого племени, вам никто не покажет корень-человек.

— Иван Русский видел те корни? — пытал Аниска.

— Корни Иван видел, но траву, по которой ищут корни,— никогда.

— Откель же появилось такое чудо на земле?

— Из души человеческой. Добрая душа — уйдет в добрый корень, плохая душа может стать колючим деревом. Иван говорил, что души русских уходят в небо, не так он говорил, хороший душа всегда будет жить на земле. Че делать хорошей душе в небе? Умрет человек, душа должна помогать живым, в небе помогать некому. Станет хорошей травой, лечить будет, плохой травой — отравлять будет. Какая душа, такая трава, дерево. А всех, кого убили враги, их души ушли в корень женьшень. Красная ягода на траве — кровь убитых.

— Э, сказочки ты рассказываешь, паря,— усмехнулся Аниска.

— Ты другие расскажи сказочки,— тоже с легкой усмешкой сказал Тинфур.— Души летят в небо. Э, плохие сказочки. В небе летают только птицы. Наши сказочки от отцов, а отцам мы верим.

— Не будем спорить. Не хошь показать корни женьшеня, не надо. Жили мы без них тыщу лет, еще столько же проживем. Это не должно быть помехой дружбе. У каждого своя секретность. Уже светает, пошли в деревню. Вот поставят наши поскотину, и все будет ладно.

— Нет, надо все равно чушек гонять, долго гонять. Хорошо пугать, чтобы больше сюда не ходили.

— Ты бы подарил нам сучонку для развода, Алеша?

— Я уже ее подарил, вон у той суки будут скоро щенки, много щенков, у вас будет много хороших собак. Чушки и медведи не будут к вам ходить.

— Спасибо, удружил. А мы-то думали!

— Зачем плохо думали? Надо хорошо думать. Траву женьшеня не могу показать, не обижайтесь. Все могу, но это не могу. Если я открою ту тайну, то все люди отвернутся от меня, а отец убьет. Сын не может убить отца, если отец о том не просит, но отец может сына убить.

Пашни огорожены. Тинфур забрал собак и ушел домой. Оставил пермякам суку, шуструю, остроухую, как и все собаки удэгейцев. А зверь отошел и больше почти не тревожил поля.

Не без того, что забредет в овсы медведь, но его тут же загонит на дерево Жучка. Но не трогали пермяки разбойника, и без того вонища стоит от брошенных кабанов, медведей. Да и медвежье мясо не ели, зачем же зряшно зверя колотить?

Спит мужик, спит под шепот тайги, под комариный звон, под рокот речки, под вздохи моря. Спит, но не засыпается. Работы край непочат. Знай шевелись. Да и землю полюбил, землю щедрую, землю теплую. Сколько прошли, но эта больше пришлась к сердцу. Не разлюбят ее пермяки. Теперь уж не разлюбят.

13

Не останутся мужики без хлеба, хоть и побили его звери. Каждый колос пшеницы в четверть длиной, не может удержать тяжелую метелку, просо, овес. На толчках звериных посеяли мужики гречиху. Она тоже цвела густо, пахла душисто и медвяно.

В тайге тоже добрый урожай: грибы, ягоды, на кедрах зрели орехи кедровые, в зарослях — лещинные, бурел тугими кистями дикий виноград.

Все это надо собрать. Зима долгая.

Да и рыбой надо запастись. Прошла горбуша, свое взяли, затем повалила кунжа, тоже насушили и насолили добре, а после этих рыб хлынула кета. Это уже видели пермяки, когда в ход кеты речки бурлили, как вода в котле.

— Вот, пари, ежли развести костер под речкой, то и котлов не надо, подходи и прямо из речки черпай шарбу,— шутил Аниска.

Но для рыбы нужна соль, а в ней уже нужда была немалая. Аниска, Андрей и Сергей Аполлоныч занялись добычей соли из морской воды. Они понастроили ям из глины, запускали туда воду с приливной волной. Солнце выпаривало, получался густой и мутный тузлук, который выпаривали в котлах, оседала соль. Затем ее снова промывали в пресной воде и еще раз выпаривали. Конечно, и это соль, пусть с горьковатым привкусом, но этой солью можно рыбу солить, можно и в шарбу бросить.

Получилось. И загудел берег от детских и бабьих голосов. Рылись ямы, запускалась морская вода. Соль!..

Можно было и приловить побольше рыбы. Но пермяки брали от рыбин только брюшко и икру. Остальное сваливали в кучи, а по этим кучам бродили вечерами добродушные медведи, рылись кабаны, даже изюбры не прочь были пожевать протухшую рыбу. Прямо под ногами сновали колонки, харзы, выдры, последние ловили сами. Казалось, что все лесное население собралось на бесплатный пир.

— Пусть едят, пусть приваживаются к человеку,— похохатывал Аниска.

Был такой случай. Аниска с парнями выбирали из невода кету. Бросали на берег. К ним подкрался медведь, схватил рыбину и понес в кусты. Показалось мало, вернулся за второй. Аниска увидел воришку, медведь был небольшой, схватил хворостину и огрел медведя по спине. Медведь рыкнул и на Аниску метнулся, — мол, что жадничаешь?

— Эко, паря, ты удал! А ну, брысь отселева. Ишь моду нашел чужое воровать! А ты сядь на перекате и крючь ее, сколько твоя душенька восхочет,— отбивался от медведя хворостиной.

— Пужни из ружья, Аниска, че ты с ним возишься? — подсказал Роман Жданов.

— Э, заряд еще портить, пусть погырчит! Погырчит и перестанет.

Медведь долго фыркал, рыкал за тальниками, ушел обиженный.

— Эко хорошо-то, зверье помогает нам убирать гниль, а то ить задохнулись бы от вони. Чушки дикие, почитай, домашними стали,— говорили пермяки.

Помогали чайки, бакланы, вороны — всем хватало еды. Ожирели — ничего не боятся. Вороны, так те чуть посторонятся, лишь бы на хвост не наступили, снова начинают клевать рыбу.

— Ежли зверя не трогать,— рассуждал Аниска,— то можно с медведями и в обнимку ходить. Зверь ить понимает, что и почем.

Люди запасались рыбой, звери наедали жир впрок. Но главное теперь была соль. А соль здесь, по рассказам Тинфура, была дороже золота. Он говорил:

— На праздник медведя мы приносим соль из Шанхая, Чифу. А много ли человек может унести на плечах соли? Потом надо купить табак, рубашку, нож и подарки для детей и жены. Хорошо вы придумали, теперь не будем носить соль, не будем вместо соли бросать в муку ильмовую золу. Сами делаем соль,— счастливо смеялся Алексей, варил соль с соплеменниками.

Пермяков же ругал:

— Как можно бросать рыбу? Можно ловить, можно потом в яму бросать, чуть солить, совсем можно не солить, собак кормить, коров кормить. Рыбу варить, кости бросать, корова не подавится, будет есть. Так делают манзы. Нельзя рыбу бросать.

Пермяки согласились с доводами удэгейцев. Стали закапывать рыбу в ямы.

— Совсем голодные будете, есть будете, — ворчал Алексей.

Он же говорил:

— Большое море, большая земля. Смотрел я на море с самой высокой горы, край не увидел. Смотрел на землю, тоже край не увидел. Море на соль не переварить, землю сохой не перепахать. Воевать не будем, долго жить будем.

— Мы будем смотреть, хорошо будем смотреть.

Мир таежный жирел на рыбе. Разжирели и пермяки. В глазах сытный и довольный блеск. Походка снова стала валкой, как у медведей, говор певучий, плавный, нет в нем заполошного крика.

— А че, едят тебя мухи с комарами, теперича мне и пристав не сват, не брат, а так себе — человечишко. Где ему видать такое разносолье? Такую жратву? Не видать.

— Верна, королям и то, поди, не каждый день подают симовые брюшки? А? Может, и икорку он не каждый день ест? А мы едим и в ус не дуем.

— М-да, от такой житухи и помирать не захочешь,— говорил Аниска, поблескивая глазенками.— Бродил я по разным странам, но такой земли отродясь не видывал. Не видывал, пари, и боле не увижу. Осударями стали.

— Государи, а штаны-то холщовые,— похохатывал Фома.— Но ниче, и в таких проходим.

— Знамо, проходим, а вот как загудут эти берега, то и в сукна вырядимся. Не век же им дремать в этой тиши? — встрел Пятышин. Он был в молодости на службе у помещика, поэтому и знал больше, чем остальные мужики.— Потом мы приучим наших баб плясать кадрилью, то, считай, господами будем. Этак берешь за пальчик и по кругу. Одно плохо, что у наших баб фигурности нет.

— Нашим бабам не до фигурности, — гудел Феодосий. — Они и без фигурности хороши. Вона, растрескали задницы, стали шире, чем у Митяевой кобылицы. Не обнять в один присест. Мягкости пуда по два у каждой, ежли не больше. До костей не дощупаешь. Тут уж не до лаверансов и фигурности, Сергей Аполлоныч.

— То так, с такой едомы много не напляшешь. Но раз баба при жире — знать, при силе. Так я говорю, Митяй? — вставлял свое Аниска.

— Твоя-то Фроська уже Марфу догоняет. Ты ить супротив нее не боле как бздык.

— Господи, жердина стоеросовая, тебе бы уж молчать, жрет за семерых, а все равно одни мощи.

— Эх, мужики, мужики, ничегошеньки-то вы в бабах не разбираетесь,— вздыхал Пятышин.— Стар я уже такое говорить, но для молоди скажу. Ить как мы живем: напахался, пал на

койку и храпа. А то не дело. Бабу надо обласкать, може и поцеловать дажить, а уж потом дела творить. А мы, че говорить, потому и лезут дети на свет, как мошка. Обходительность нужна.

— Ха-ха-ха! — ржали мужики, задрав бороды.— Какая уж там обходительность? Ну Серега, ну потешил. Пошто же ты не приучил свою Парасковью к обходительности? Она ить у тебя злей зубинских собак. Знай на каждого лает, тебя тоже в покое не оставляет.

— Э, приучишь. Зря я не женился на Вассе. Фома как уж ни мурыжил ее, все такой же осталась: веселой, доброй, обходительной даже.

— Мастак заливать, мужик и обходительность. Ха-ха-ха! Барин-то день дрыхнет, а ночью обходительностью занят. Нам день дан для работы, а ночь для сна. Бог такое порешил.

— Но что ни говорите, а ежли бы наши дети обучились обходительности, то добрее они бы стали.

— Барин добр, ночь с бабами на балах, утром порет мужиков, днем храпит.

— Может, и так, но хитрая баба перед тобой змеей вывернется, лисой пройдет, а свое возьмет. Нашим бабам надо помнить, что ежли и вышла замуж, то нельзя при муже нагой быть, ежли светло, ночью храпеть, волосы чесать. Больше таинств, то дольше и любовь. Надо ко всему держать душу в доброте, а тело в чистоте. Для этого ум надобен, учеба ко всему.

— Умно ты говоришь, Сергей Аполлоныч, не много ли валишь на наших баб? В поле они с нами, на рыбалке с нами, на их руках дети, хозяйство. За собой и посмотреть некогда. Насмотрелся на горничных, теперича нам заливаешь.

— Баба должна держать мужика в чистоте и узде, ко всему,— не сдавался Пятышин.— Будь Софка мудрей, то не бросил бы ее Ларька.

— Софка умна, не лиши ее бог детей, то Ларька не бросил бы. А теперь без Прокопа вовсе задурила баба,— подал голос Митяй.

— Это как же задурила?

— Э, че говорить, гонит всех от себя. Подите, грит, вы все к дьяволу. Обрыдли... Андрюшку любит.

— Устрашилась грехов, вот и гонит,— проворчал Ефим.

— Ты снова за бога? — усмехнулся Феодосий.

— Без бога — ни до порога. Другое я приметил, Феодосий, что Андрей стал квелым, — уж не Софка ли тому виной?

Аниска стрельнул глазами в Ефима, но промолчал. Он-то знал, отчего Андрей погрустнел. Ревность и зависть — не лучшие друзья.

— Ладно, мужики, наговорил я вам много... Я ить к тому вел, чтобыть нонешней зимой начать учить детей грамотности. Пусть их учат Ефим и Андрей. Кошт положим, все как надо быть. Согласны?

— Для ча? Здесь мы и без грамоты проживем. Деньгу научим считать, и хватит.

— Нет, Митяй, деньгу считать — это мало. Надо еще знать письмена. А через то и ума прибавится у наших детей. Душа станет добрее.

— Э, пустое,— потянулся Фома,— мне бы тягла побольше, жил бы себе, а придет люд, то работников бы нанимал. Я ни разу псалтырь не прочел, а жил в Перми не хуже другого барина.

— Дело-то верное, Серега, но ить Андрею с Ефимом тоже надо кормить своих. А кто им такой кошт даст, чтобыть прокормились? — раздумывал Феодосий.— Пока не получится.

Спорили мужики. Жили не без мечты. Не без смешинки. Главная их мечта — это поставить здесь вольницу пермяцкую. Об этом они написали письмо в Осиновку, чтобы его прочитали в деревнях, чтобы ехали свои мужики, такие же злые до работы. Писали: мол, земель здесь много, на всех хватит, воли не занимать. Увез Бошняк письмо, обещал послать. Дойдет ли? Но и страшались: не было еще такого, чтобы мужик жил ради своего удовольствия. Если баба живет для мужика, богом то дано, то мужик должен жить для господина. Мужик — человек, но человек для услуг барских. Есть мужик, найдется для него и поклажа. Мужика и клоп сосет чаще, чем барина. Мужик и блохе нужен, без него и она не жилец.

14

Пришло бабье лето в край тигровый. Такой теплыни, такой погожести еще не видели мужики нигде. Тихо и бархатисто. Горит солнце, горят кострища кленов на сопках, золотом и самоцветами отливает тайга. Ни хмурости в небе, ни залетного дождичка.

Жатва. Трудное и доброе время. Пусть исколоты руки соломой, ноги стерней, натружена спина, но в душе песня. Хорошая песня.

Вышли на жатву и матросы. Теперь их трое, хотя нет, Софка заменила на посту Прокопа. Спит он один-одинешенек на высоком взлобке, что навис над морем, слушает шепот волн, может быть подсматривает за Софкой. Но Софка чиста перед людьми

и богом. Стоит Софка на посту: в руках ружье, подзорная труба за поясом. Матрос, чисто матрос.

Навела Софка подзорную трубу на жнецов. Вон Ларька жнет рядом с Галькой. Сочные Софкины губы сжимаются, глаза большие, оленьи глаза, прищуриваются. Ими Софка будто целится в спину Лариону. Нет, не любит она его. Давно не любит. До боли в сердце жаль Прокопа. Не успела разгореться любовь, как сгинул служивый. Знать, судьба... Ларька подошел к Гальке, положил руку на плечо, что-то говорит. Наверное, уговаривает Гальку идти домой. Прибаливает Галька.

Растут на жнивье суслоны. По стерне бродят дикие голуби, собирают опавшие зерна. В небе кружат коршуны. Все мирно, все тихо...

Жнецы сели обедать. Видела Софка мелькание ложек, будто слышала, как хрустели на зубах поджаренные корки хлеба. Усмехнулась...

Мелькание ложек прекратилось. Все разом посмотрели в сторону леса. Застыли с открытыми ртами. На высоком пне, у кромки пашни, стояло привидение. То звери, то привидения, что за земля? Волосы распущены так, что закрывали живот, бедра. Голым-голешенько, но черным-черно. В зубах трубка, которая густо дымила. Привидение взмахнуло руками, будто собиралось взлететь, завопило страшным голосом, завыло, зарычало.

Завизжали бабы, заплакали дети. Вскочили мужики, похватали детей на руки и дружно бросились в деревню. Бежали и матросы. Вслед дьявольский хохот, вопль.

Не побежал Ефим Жданов. Он пошел на привидение, в левой руке серп, а в правой крест, кричал:

— Изыди, нечистая сила! Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас, отведи напасть. Свят! Свят! Свят!

Привидение не отступило, пошло на Ефима. Он попятился, побежал. Запнулся, упал.

Андрей спустил с цепи Жучку. Та с лаем бросилась на пашню. Привидение спрыгнуло с пня, пошло в чащу. Жучка обнюхала ему ноги, спокойно затрусила рядом.

— Пра, ведьма! Ишь, дажить собака ее не берет,— заикался Митяй.

— А может, лесовик? А? — дрожащим голосом говорил Феодосий.— Вот, ястри ее, детей напужала!

— Это Софка с жиру бесится,— уверенно сказал Андрей.

— Вот сволота, ить детей можно под родимчик подвести. Айда на пост, отучим дьяволицу баловаться.

— Стыдно, поди, и на пост-то идти. Бабы голой напужались! — усмехнулся Лаврентий.

— Это, пари, она, у нас тожить одна вдовица людей таким манером пужала, пока ей охотник ногу не прострелил. Айда, дадим взбучку,— шумел Аниска, обидно, первый струсил, первый и бежал.

— Оставьте, герои. Медведей не боимся, а тут... Я схожу один и поговорю с ней,— махнул рукой Андрей, покривился, как от зубной боли. Варя пристально посмотрела на него, но он отвернулся.

Стыдно было мужикам смотреть в глаза бабам. Мужикам, которые шли с дрекольем на тигров, колотили дубинами кабанов, добывали рогатиной медведей. А тут испугались вымазанной сажей Софки.

Когда Андрей подошел к посту, из бани вышла Софка. Чистая, свежая. Спокойно сказала:

— Проходи, гостем будешь... Ну, что скажешь?

— Зачем дуришь? Для ча людей пугаешь?

— Скушно, вот и дурю. Одна как перст. Что мать, что отец? Отрезана от них, как ломоть от хлеба, не приставишь. Судьба, видно, такая удалась. Ты вот бежал от меня, там, в Перми, все спутал... Назло тебе с Ларькой повелась. Он не тем оказался. Не будь того зла, могла бы без заполоха выбрать парня и жить, как все. Потом Прокоп, тожить без любви пошла к нему. Еще остался Дионисий, зовет к себе, а к этому совсем душа не лежит. Противен даже. Любишь ты Варьку. Это каждому видно.

— А то как же!

— А вот она тебя — нет. Не любит она тебя, Андрей. Жалеет, то да. А жалость — не любовь. Ты любишь, а она просто жалеет. Может быть, это и есть любовь, жалость-то. Прокоп меня любил, а я его жалела...

— Хватит рассусоливать, ты мне ответствуй, ты пошто сказала, что Варька изменила мне?

— А так и было. Спроси Ефима, он тебе то же скажет.

— Ефим не выдаст тайну исповеди.

— Тогда спроси Варю. Она не должна соврать. Уходи, еще подумают люди, что привечаю тебя. Уходи, видеть тебя не могу, измотал ты мою душу! Уходи! Не то — стрелю! Я ить на посту, а ружье заряжено.

Варя душой почуяла неладное. Сжалась. Андрей был бледен. Капельки пота бусинками застыли на лбу. Враз осунулась. Опустилась на стерню.

— Ну, что?

— Нет, то была не Софка. Она стоит на посту и землю нашу стережет. То была нечистая сила,— зачем-то соврал Андрей.

Люди настороженно посмотрели на тайгу.

Ночь. Дозванивают последние комары за стенами дома. Не спит Андрей. Жесткой стала постель. Ворочается с боку на бок. Душно. Ох, как душно! Не удержался, спросил. Варя тоже не спала.

— Признайся, как на духу, ты жила с Евдокимом? Не через блуд ли ты нас вызволила с каторги?

— За деньги, Андрей, за деньги вызволила! — простонала Варя.

— Брал меня сумнив, что не все у вас чисто с Евдокимом. Гнал ту задумку прочь. Отпустил нас, потом пошел в погоню, пошто?

— Его спроси.

— Был блуд аль нет?

— Жалела я тебя, Андрей, шибко жалела. Сроднилась с тобой в Сибири, в тайге. Страшно было видеть тебя в кандалах, смерти людские. Ради твоей жизни пошла на такое. Не могла оставить тебя умирать в гнилой воде. Не могла! Все дети твои, все твое!

— Скажи еще об одном и честно — любишь ты меня? Без утайки скажи!

— Нет. Просто жалею, как все бабы. Раньше вроде любила. Теперича и ответить не могу.

— Но ить мы живем душа в душу?

— Живем, потому как ты покладист, не обижаешь, чего же не жить. А потом ить ты знаешь, что я выросла в тепле да неге. А что ты мне дал? Вечно в работе, вечно в заботе о тебе, детях, себя забыла. Терпели холод, голод. Какая может быть любовь? А ты-то любишь?

Андрей только вздохнул в ответ. Да, он любит. Даже дыхание ее любит. Все любит...

— Разве шла я за этим? Я шла за мечтой, которую ты мне дал. Но где она? Нет ее и не будет! Мечты нет, так чего же нудиться? Я работаю, как все, делаю все, что ты прикажешь, что совесть подскажет, и ни разу, как ты помнишь, тебя не попрекнула. Вот и все.

Варя, Варя, страшные слова ты сказала! Правду сказала? А поймет ли твою правду Андрей? И нужна ли такая правда Андрею? Ты растоптала Андрею счастье, украла любовь. И скоро ты поймешь, что не всегда можно говорить правду, даже самому близкому человеку. Правда обернется против тебя же, Варя!

— Вот и все!— тихо выдохнул Андрей, сжался в комок, да так и пролежал до утра без сна.

Нет, он не бросился с кулаками на Варю, не стал накручивать косу на руку. Застыл, занемел. Никак не мог постичь умом сказанное Варей, Софкой, что Варя его не любит, а просто жалеет, как всякая баба. За измену простил, кажется, простил, ради его жизни Варя пошла на такое. В голове путаница, в душе стон...

Утром Андрей, как всегда, принес дров, растопил печь, начал помогать Варе по хозяйству. Будто и не было того страшного разговора. Хотя оба избегали смотреть в глаза друг другу. Только и всего...

Однако Андрей метался, места не находил. Жизнь втягивала в болотную жижу, откуда нет выхода.

Андрей сходил на пост, уговорил Софку, чтобы не смела никому говорить про исповедь.

— А мне что, я и без того молчу. Молчит и Аниска. Вы двое слышали.

— Сволочь ты, Софка, вот кто ты!

— Может, и сволочь... Злая я. Столько зла накопилось, что унять себя не могу! Не хочу я Варю хулить. Святая она. Таких хулить неможно. Знай одно, что, акромя тебя, я никого не любила и не люблю. Все то было от беса, а с тобой от бога. Но ты не внял моим крикам, моим слезам. Теперь побудь в моей шкуре. Познаешь! — отвернулась Софка. Ладная, сбитая, по-крестьянски широкая в кости. Варя — тополенок против нее. Но тот тополенок не слабее Софки. Выжила, не сломилась, ни разу не пожаловалась людям на свою горькую судьбу. Жить и не любить — что может быть страшнее на свете?

— Целуй ей ноги, за доброту целуй. От богатства за твоей красой да белыми кудрями бежала. Дура! Но дура святая. Уходи, чего мнешься?

— Ухожу! Прости!..

— Прощаю. Все вы, мужики, сволочи! Не хочу хулить покойного Прокопа, но и он был хорош. Прижился чуток и начал ревновать к Ларьке. К прошлому, к отломанному куску ревновать. Ты тоже в своей ревности задохнешься. Видит бог — задохнешься! Уходи. Никого мне больше не надо, буду жить одна. Стрелять умею. Добывать зверя научилась. Проживу.

— Все проживем. Прощай!

Этот разлад в семье Андрея Силова не коснулся деревни Новинки. Да и никто не знал про него. Сжали хлеба, обмолотили, просушили зерно, честно поделили. Теперь решили построить мельницу, чтобы не молоть зерно мутовкой. Сергей Пяты-

шин сковал жернова. Пустили мельницу. Своя мука. Стосковались мужики и бабы по своей муке.

Сжали гречиху. Начали копать картошку. И побортничать надо бы. Иван Воров нашел дупла диких пчел. Выкурил, вырезал мед. Работы полон рот, не засидишься...

15

Годы выкатывались из моря, шагали через сопки, уплывали на запад. А жизнь шла. И в этой жизни все было: радости и печали, смех и стон. Ни один год не прошел, чтобы звери не убили коня или корову, не ранили бы охотника. Скот чаще воровали тигры, а охотников ранили медведи, барсы, рыси. Последние реже.

Шли годы, оставляли рубцы на земле, в памяти, на сердце. Но стоило ли обращать внимание на такие мелочи, как кто-то с кем-то поссорился, кто-то кому-то стал врагом. Время помирит, время сдружит. Тем более что ехали в эту землю люди, вначале прибыло десять семей тамбовцев, через год столько же вятских. Затем пришел на пароходе «Америка» адмирал Путятин, он прихватил несколько семей, тоже из вятских. Может быть, здесь и родилась пословица: «Если можно из тамбовца и пермяка сделать охотника и рыбака, то из вятского не сделаешь мужика хватского». Но община приняла и этих людей. Построили дома. Деревня Новинка росла.

Адмирал Путятин осмотрел деревню, русский пост. Суровый, резкий в суждениях и движениях, он тут же напал на старшего матроса Кустова:

— Почему баба ходит в форме русского матроса?

— Потому что она русская баба. Был убит ее муж Прокоп, так вот она, почитай, четыре года несет за него службу. Несет ладно и исправно, ваше превосходительство. Служит, не жалея живота своего за-ради царя и отечества.

— А ты женат?

— Так точно, ваше превосходительство, женат. Баба живет в деревне, свой домик, свое малое хозяйство. Ить подмоги-то не шлете, едома тоже не часто приходит к нам.

— Матрос должен служить и не думать о бабах! — шумел адмирал.

— Оно-то так, но ить и мы люди, ваше превосходительство.

— Ладно, прощаю. Бабу с поста убрать. Молодец, баба! Награждаю тебя боевым оружием, амуницией. Вот тебе десять золотых за радение.

— Спасибо, ваше превосходительство! Только зряшно вы, барин, гоните меня.

— Не барин, а адмирал. Чинов не знаешь?

— А нам, барин, чины ни к чему, могла бы стрелять да смотреть за морем, чтобы злой вражина не прошел тайком да не побил бы наших.

После изгнания Софки мужики не подали виду, что обиделись, но уже с адмиралом разговаривали насупленно, настороженно.

— Как родит земля, мужики? — заговаривал адмирал.

— Родит ладно, были бы руки да доброта в них.

— Земля не баба, можно и заставить родить.

— Все можно сделать, абы не пришли сюда притеснители.

— Это какие же?

— Баре, ваше превосходительство,— смело посмотрел в глаза адмиралу Феодосий.

— Отвыкли от бар, волюшкой заразились?

— Так точно, ваше превосходительство, совсем отвыкли. Вот пришли вы, и хошь убегай дальше: не пришли бы за вами баре?

— Верна, живем ниче, а придут баре, все похерят,— смело проговорил Пятышин.

— Вы о барах не думайте, а радейте за эту землю. Живите в ладах и дружбе. Бар тут не должно быть. Царь готовит вольную для мужиков. Прощайте!

— Прощайте, барин! — кланялись мужики, вприщур смотрели на адмирала.

Казалось бы, Путятин ничего такого не сказал, не грозил, но он принес в души мужицкие разлад, и больше того: община начала трещать по всем швам. Первым вышел из общины Сергей Пятышин.

— Выхожу из общины. Раз будет здесь царь и его ярыги, то все это будет похерено. Знать, надо жить каждый сам по себе. Копить деньгу на черный день. Мало ли что? И еще, другие шастают по тайге, а я парься в кузне. Теперь так — хошь починить телегу аль плуг, то неси деньгу, рухлядь пушную. Задарма и разу не ударю по наковальне.

— Ошалел! Ты уйдешь, то ить все за тобой потянутся,— возмутился Феодосий.

— А мне нет дела до других. Выделяй пай, и я ухожу.

Делить уже было что. Выделили Пятышину пару коней, двух коров, телку, десяток овец, хлеба, рыбы, мяса, пушнины.

И пошло: за Пятышиным пошел Ларион Мякинин, за ним Никита Арзамасов, десятки других переселенцев. Рассыпалась

община, будто ее и не создавали. Распалось мужицкое царство, будто о нем и не мечтали, ради которого столько лет месили снега лаптями, строили деревни, крепости, отвоевывали каждый клочок земли у тайги. В общине остались Феодосий Силов, Иван Воров, Ефим Жданов, Митяй Плетенев, конечно, с ними и сыновья.

Феодосия стало не узнать. Раньше был ровен в разговоре, в походке, крепок телом, румян лицом. Сейчас осунулся, стал злым, подозрительным. Мечта, которую он вынашивал многие годы, рухнула, как землянка без подпорок, раздавила.

А тут еще Никита Арзамасов, Ларион Мякинин нарушили заповедное место, добыли там несколько пантачей. Узнал про это Феодосий, подошел к дружкам, насупив брови, спросил:

— Вы давали клятвы, что там не ступит ваша нога? Давали. Так пошто отреклись от нее? Бей в железо, зови людей на сход! Судить всенародно, сечь розгами!

Судили, но как. Уже раздавались голоса, мол, надо попуститься заповедным местом, туда, мол, весь зверь уходит. Но все же большинство проголосовало за розги. Всыпали нарушителям по полста розог.

Ларион еще злее стал. А Никита грозился уйти из деревни, чтобы заложить свою,— мол, пермяки больше за свой живот радеют.

А скоро пороли вятских. Они спиливали кедры, чтобы снять с кедров шишки. Феодосий гремел:

— Рази вы вырезаете вымя у коровы, чтобыть испить молока? Кедр — это та же корова. Не упали шишки, то ждите, упадут, ваши будут. Кедр — это не подсолнух, кедр только в полста лет дает урожай. Всыпать под двадцать розог.

Через неделю пороли новичка-вятича. Он по весне стрелял белок, бурундуков и все это солил в бочку. Удивился, когда его спросили, зачем, мол, бьешь пушнину не в сезон?

— Для едомы, очень вкусна, ешь, и еще есть хочется.

— Бить шибко, бить каждого, кто порушит тайгу! — орал Феодосий.

— Охолонь, Феодосий Тимофеевич, неможно так. Каждому ясно, что белка не едома, но этот человек пришлый, не знал. Расскажи, а уж потом пори,— пытались старожилы вразумить Феодосия Силова.

— Потом, ты уже почал пороть без решения схода, будто царь аль еще кто там.

— Вон, перевертыши, порушили общину, порушили мир в тайге!

Сам выпорол вятича.

— Не по душе большак, то выбирайте другого. Вот и весь сказ. А пока я большак, то порол и пороть буду! — рыкнул Феодосий.

— Выберем другого, дюже ты злой стал, — сказал Пятышин.

— Через тебя. Все шло ладно, ты почал, ты все сгубил.

— А чего тебе так шибко душу травить? Ну ушли мы, вы остались. Кто будет жить лучше, то увидим.

— В общине люди были ровнее, добрее, сейчас всех жадность обуяла, будто идет к нам черная оспа. Будем сколачивать охранную команду, коя будет ловить клятвопреступника на месте и тут же сечь без суда сходного.

— Не быть по-твоему!

— Будет. Ты все смял. Ефима едва наладили учить грамоте и цифири детей, теперь кто будет учить? Нам не управиться, а без платы он не смогет жить.

— Будем учить. Попросим мужиков, чтобы платили за учебу Ефиму.

— Иди попроси. Они тебе заплатят! Эх, сгинуло наше мужицкое царство!

— Его и не было,— усмехнулся Пятышин.— Есть царство Российское. Оно и будет править нами. Адмиралы зряшно в гости не ходят. Да и Невельской бы зря не держал здесь матросов. Брось свои задумки и живи, как все. Нет, не было и не будет мужицкого царства.

— Выходит, надо звать сюда урядника, казаков и пусть они блюдут тайгу, нас в узде держат?

— Выходит, так, Феодосий Тимофеевич, без них нам не обойтись.

— Не блюсти будем, а воровать сами у себя. Как было ладно, все подчинялись и верили сходу, никто не посягал на общее добро. Враз все изменилось, потому как никто не стал считать тайгу своей, землю своей. Я живот свой положу, но не дам порушить тайгу, наше царство. Уходи, Серега, могу и зашибить! — ревел Феодосий.

— Тятя, плюнь ты на все. Каждый поротый мужик — это твой враг. Чего ставить себя супротив народа?

— Да не народа же! Начнется разбой в тайге, что оставим детям? Все шкурничают, хапают, будто им осталось жить один день. Сечь, вешать. На сук татей!

— А потом тебя. Взбунтуются мужики и смертный приговор вынесут. Ларька уже на это подбивает народ.

— А что делать?

— Жить. Пока горы не рушатся, в реках рыбы полным-полно.

— Тогда я не пойму тебя, Андрей. И ты супротив отца пошел? Может, власть у меня отобрать захотел?

— Вразумить тебя хочу. Сильничаешь, а такое не по нутру многим.

— Но ведь это наша земля. Наша, понимаешь? Нам на ней хозяиновать! И мужик, как я понял, не могет жить без крутой власти.

— Ты, Феодосий Тимофеевич, не шуми много-то, скоро сюда придут настоящие власти и тебя тут же скинут,— ехидно сказал на сходе Ларион.

— Пусть идут, я им сдам власть — может, они укоротят у вас руки-то. Потому прикуси язык.

— Могу и прикусить, но твой Андрей снова уйдет на каторгу, — выпалил зло Ларион. — Беглый он, туда и вернем его.

Об этом как-то уже все забыли, поэтому враз повернулись к Андрею, с недоумением посмотрели на него.

— А ну замолчь, щанок,— двинулся на Лариона Пятышин.— Ну, ушел я из общины, может быть виноват в этом, но в одном прав, что власть здесь нужна сильная, крепкая. В этом я согласен с Феодосием. Будем осаживать людей. Но чую,— уже тише сказал Сергей,— не удержать нам люд. Сегодня пороли пяток, завтра надо будет пороть десяток. Нет настоящей власти, нет нерушимой веры. Одно скажу, что пороть надо не от себя, а пороть от имени Расеи, общества. Не то убьют тебя, Феодосий, злые люди.

— Вот и сполошил я на то сход, чтобы сказать ему, что не гож я большак. В запал вошел. Выбирайте другого. А я буду как все. Может, и мне захочется хапать, как всем, тогда и мне портки сымете.

— Задурил старик, мечта порушилась,— тихо сказал Иван Воров.

Сход был крикливым, даже драчливым. Тамбовцы и вятичи, а их оказалось больше, ведь так и не приехали сюда званые пермяки,— может, письмо не дошло, отступились от клятвы. Будем, мол, добывать зверя и ловить рыбу в любом месте. Здесь не барские леса, а наши общие. Феодосий уже слушал это как не большак, даже больше — как посторонний человек.

Избрали большаком Андрея, сына Феодосия. Даже не большаком, а старостой, избрали сотских, десятских, как избиралось на Руси.

— Здесь тоже Расея, и надо жить по-расейски! — кричали сторонники Андрея.

— Андрей на каторге побывал, законы знает.

— Ежли и выпорет, то в дело, да с душой, сам видывал немало. Отец его стал зол и непокладист.

Феодосий подошел к Андрею, положил руку на плечо, сказал:

— Может, я был неправеден, сын мой, голова пошла кругом, но ты будь все же покруче. Наш народ не сможет жить с кротким старостой.

— То так. Но главная суть в том, чтобы защитить нашу землю. При беде встать плечом к плечу, чтобы не прошли недруги. Ты же разбодал народ, и случись беда, они не пошли бы за тобой, тая обиды.

— Хорошо, Фому кто вешал, — я или сход? Порол брандахлыстов — я или сход?

— Сход, тятя, но ты голова был тому сходу. Порол сход — ты в ответе. Потом ты порол без схода,— значит, еще в большем ответе,— спокойно отвечал Андрей.— Я знаю, ты радел за нас, за землю и тайгу, но, радея, можно убить святость, доброту, стать злым урядником. И люди правы, что нам в стороне от Расеи не устоять.

— Хорошо говоришь, но ведь ежли придут власти, то тебе снова надо будет собираться на каторгу.

— Не боюсь, ежли придут власти и по-доброму во всем разберутся, то признают мою невиновность. А потом, я перегорел любовью и каторгой. Ну буду знать, что с малым народом мы отстояли эту землицу. Без Расеи мы просто рой диких пчел, коих легко стряхнуть в туес и унести на свою пасеку.

— Ладно, веди людей, но будь честным и бескорыстным. Я вас сюда привел, а больше мне ничегошеньки не надо. Мои радения не будут забыты. Пусть я был не всегда прав, был злым, суровым, но я хотел только добра, большего добра для людей и новой земли. Я умру, ты умрешь, но наше начало не умрет. Нет, не умрет! Я свое сделал, сделай то же и ты.

Сын и отец медленно шли по улице деревни Новинки. Дома большие, с размахом, ставни крашеные, крылечки в резной росписи, ворота широкие, крепкие,— знать, живет в этих домах достаток. И во всем этом дела и думы Феодосия Тимофеевича Силова, теперь, если можно так сказать, отставного большака. У которого в глазах и радость и грусть перемешались...

16

Море... Вздыхает день и ночь море, то под ласковым солнцем, то под густой пеленой тумана, то под звездными ночами, то под грозами. Живет море. У моря своя работа, своя нужда —

накормить всех, кто живет в море, покачать тех, кто плывет по его волнам.

Из-за горизонта вынырнули паруса. Викентий дал сигнал на пост выстрелом из ружья, что вижу в море чужое судно.

Тревога. Тревога на посту, тревога в деревне. Все при оружии, все готовы к бою. Аниска и Андрей были посланы к друзьям, чтобы они бежали на помощь. Никто не знал, с чем идет это судно, с войной или с миром.

— Чарльз, а ведь эта бухта нам знакома. В этой бухте за туманом скрылось русское судно. Точно.

— Может быть, и здесь. Теперь здесь живут русские. Да сбудутся пожелания нашего президента, чтобы не было на этих берегах русских колоний. Их не будет. Мы должны исполнить высокую миссию, сделать эти земли американскими. Аминь,— перекрестился капитан Чарльз.

— Мы их увезем в Америку, Чарльз.

— Затем и пришли... Нашей родине нужны, очень нужны дешевые рабочие руки. Но если они не поедут с нами, то мы их одним залпом фрегата сметем с лица земли. Все средства хороши, чтобы достичь цели. Выполнить всего лишь долг. Смотри, Петер, кажется, эти дикари хотят с нами воевать? Смешные люди. Они не знают, что такое залп фрегата.

— Они все знают, Чарльз. Мы воевали с ними у берегов Камчатки. Мы днями и ночами бомбили тот дикарский город, но нам же пришлось и уходить оттуда. Пришлось бежать, Чарльз. Я это хорошо помню.

— Помню и я, Петер. Но там были солдаты, там была крепость, а здесь всего лишь деревня, мужики. Не трусь, Петер, мы пленим русских. Пусть кожей они белы, а душой черны, как негры, их даже можно продать.

— Может быть, сэр, все может быть. Но я русских знаю, очень хорошо знаю. Они не так простодушны, как может показаться на первый взгляд.

— Мы им так распишем жизнь в Америке, что они бегом побегут на наше судно. Знай бросай их в тюрьмы. Я не видел, Петер, еще человека, которому бы обещали райскую жизнь, деньги и он бы от этого отказался.

С прилавка прогремел выстрел, прервал разговор. Пушка трижды отсалютовала и смолкла.

— Ну что, капитан? Здесь есть даже пушки. Как бы не пришлось нам драпать отсюда.

— Трусишь, Петер?

— Нет, сэр, мне ли трусить? Мне, Петеру, которого моряки прозвали Змеей? Петер Змея. Петер объявлен во многих странах вне закона. В России меня ждет смертная казнь через повешение за шпионаж в пользу Англии, Франции, Америки. В Англии меня ждет вечная каторга. Во Франции гильотина. Лишь одна Америка со мной, и я с ней. Только ты, Чарльз, не горячись, я все сделаю мирно.

— Прикажи дать ответный салют из всех пушек, пусть эти дикари знают силу фрегата. Нашу силу.

Жуткий грохот потряс горы. Но салют фрегата не вызвал переполоха. Все собрались на берегу, чтобы встретить гостей. Ружья заряжены, пушки тоже. Лаврентий навел подзорную трубу на судно и тут же подался назад.

— Это тот фрегат, что был в эскадре, которая гналась за нашим «Иртышом». Это «Святая Луиза»... Капитан тот же, волосья на скулах, трубка в зубах. Он, сволочина! Ну, держись, мужики! Добра от этих людей не жди.

— Чего зря полошишь людей? — тронул за рукав Феодосий.

— То и полошу, что пушек-то у них не счесть. Ить это же фрегат! Ежли одним бортом пальнут по нашей деревне, от нее только ошметки полетят.

— Что же делать? — подошел Андрей.

— Уходить в тайгу,— ответил Лаврентий.— В ней наше спасение.

— А деревню на разграбление? Не будем спешить, пока они в нас не бросают ядра.

— Когда начнут бросать, то бежать уже некогда будет, Андрей Феодосьевич. Мы служивые, мы умрем на посту, пошто же вам умирать?

— Неладно ты говоришь сегодня. Мы и вы — это один пост. Умирать будем вместях. Но пока примем гостей по-русски, с хлебом и солью. Оружие не прятать, пусть видят, что мы не с пустыми руками их встречаем.

— Верна, сынок, верна! Надо наперво перехитрить иноземцев, а ежли че, то дать бой. Ивану надо сыграть комедь за старосту. Согласен ли? Дураковатый староста, дураковаты мужики. А?

— Можно. Пусть нас примут иноземцы за простачков. Иван Парфенович, иди сюда, слушай, ты староста, поломай перед пришлыми комедь, но не переламывай. Внял?

— Как быдто. Ась? Внял, внял, деревенька наша, стало быть, ниче. Народ тожить куда ни шло, покладист, мирнай, то

да се, дружбу водит со всеми, кто с дружбой пришел. Ага, ну ежли что, то и на пушки прет.

— Пойдет, а мы поможем тебе. Степан, неси хлеб, соль, передашь старосте,— приказал Андрей.

Фрегат, промеряя дно, втянулся в бухту Малую. Встал на якорь. Спустили шлюпку на воду. В нее вошел капитан, все с той же трубкой во рту, Петер Греве, гребцы. Все без оружия. Капитан первым сошел на берег. Иван Воров и мужики встретили его с хлебом и солью.

Капитан принял хлеб, отломил немного, макнул в соль, пожевал. Хлеб передал Петеру. Что-то сказал. Петер перевел:

— Капитан приветствует вас и желает вам всяческого благополучия.

Иван Воров приставил к уху руку трубочкой, громко переспросил:

— Чевой-то он сказал? Ня слышу?

— Капитан вас приветствует! — прокричал Петер.

— Откель прибыли? Куда пути держите? Я здешний голова, потому на все вопросы должны ответствовать мне,— распрямил грудь Иван Воров, поправил бородищу. — Явственно? Здрасте, здрасте! Давненько не захаживали к нам дорогие гости. Забегал тут однова фрегатишко, ну, энто самое, вздумал нас пограбить, а мы его под дых — и покатился на дно. У нас ить так, мы ить такие, что взять пермяков, что вятичей, что тамбовцев. Горячи на слово и на руку.

— Мы пришли к вам с миром и дружбой,— прокричал Петер Греве.

— Тогды к нам в гости. Бабы там уже сгоношили застолье, вот посидим за пивком да спиртом, авось о чем-то и договоримся. Нам бы пушчонок у вас прикупить. Есть у нас полста штук, но, чую, маловато будет, пороху бы сотни две пудов, вот бы и разошлись с миром. У вас добрый фрегат, а у нас вся земля фрегатой стала.

— Петер, ты слышишь, что говорит этот полоумный мужик?

— Сэр, он врет. На испуг нас берет.

В деревне гостей усадили в просторной избе Феодосия Силова, обнесли пивом, потом спиртом, потек разговор.

Петер, не жалея красок, рисовал райскую жизнь в Америке. Удивляя мужиков, может быть, врал, а может быть, и правду говорил.

— Эко дело, знать, у вас и рубашек не чинят. Куда жить их девают? Ась? И сапоги не чинят? Ну дела,— прикидывался дурачком Иван Воров. — Врешь ты, поди, господин хороший?

Петер, срывая голос, доказывал глухому старику, что все это

так, что там каждый мужик может стать богачом, купить свое судно, построить свой завод, стать президентом.

— А ты откель наши-то слова знашь? И как прозываешься?

— Я Петер Греве, жил в России, служил царю. Теперь стал богат. Путешествую по странам, изучаю языки.

— Э, и для ча знать много языков? Ась? Мне и одного хватит. Поди, ить на кажном языке надыть думать, сны видеть. Запутаешься, свою бабу назовешь еще не тем прозваньем. Ась? — издевался Иван Воров.— Потом проснешься и не будешь знать, на каком языке тот сон разгадывать. Че вам вчера снилось? А, обедали у нас. Ну это уж как водится, игде пообедал, туды и ужинать тянет.

— Капитан любезно приглашает вас посетить наш корабль, отведать нашего вина, разных блюд, чтобы вы еще ближе узнали сказочную страну Америку. Мы за вами вышлем шлюпки.

— Не для ча слать за нами шлюпки, мы вона пять дюжин лодчонок понастроили, добежим на своих.

— Спасибо за хлеб и соль,—поклонились Греве и Чарльз. Ушли.

— Дела, мужики. По всему видно, что эти люди пришли за нами. Хотят нас забрать с собой и увезти в Америку. Прямо не сказали, но ежли хвалили, то задумка на то есть,— заговорил Андрей. — Ясно и другое, что ежли мы не пойдем по-доброму, то будут брать силой. Мне студент рассказывал, когда я был на каторге, что будто американцы ловят и вывозят из Африки к себе негров. Рабами их делают. Баб с детьми разлучают, мужей с женами. Говорил и другое, что это богатущая страна, но не про всех. Мы сможем пойти в ту страну только неграми. Вот и давайте решать, что и как?

— Я думаю, что поначалу нам надо побывать на их судне,— подал голос Кустов. — Разведать, что и как, а уж потом решать.

— Верна, сходим на судно, отведаем их вина, а уж потом будем думать,— согласился Иван Воров.

— Ты на чужой счет выпить мастак,— усмехнулся в бороду Феодосий, задумался.— Мысль ладная, сходить, проведать, а уж потом решать, бить или убегать.

— А может, кто на самом деле поплывет в Америку? — спросил Андрей. В ответ молчание.

— А делают там новые очки? — серьезно спросил Митяй.

— Там все делают, даже таких дураков, как ты,— сердито бросил Феодосий.

— Ежли кто-то поедет для затравки, то, может, обойдемся и без боя,— пытал Андрей.

— Чего пытаешь? Ить без своей земли мы душевной болестью изойдем,— взорвался Пятышин.— Далека Пермь, но она с нами. Но сможем ли мы устоять супротив фрегата? — повернулся он к Кустову.

— Сами можем уйти, скот и коней угнать, но деревню не унесешь. Сожгут, а дело к осени. Снова строить?

— Силов не хватит. Охлял народ,— уронил Феодосий и задумался.

— Можно ли ночью поджечь фрегат, тайком подплыть на лодках? — спросил Андрей Кустова.

— Можно, но вахта вас тут же заметит, даст тревогу, и нас перебьют, как кутят на воде. Там будет за две сотни матросов. А нас?

Феодосий после схода долго пытал матросов, как устроен фрегат, где могут находиться пороховые погреба, можно ли протиснуться к пороху.

Отвечали, но затем Кустов спросил:

— Зачем это тебе?

— А ежли туда бросить бомбу, тогда что от фрегата останется?

— Щепки на воде, что же может остаться.

Феодосий не спал, ворочался на жесткой постели. Нудливые мысли лезли в голову. Прав Лаврентий: ежли собрать всех инородцев, то и тогда не устоять перед силой фрегата. Перебьют людей, уничтожат деревню. Сгинет земля, пропадет мечта.

Утром сказал:

— Будут приглашать на пир, не спешите, я один схожу, проведаю, что и как, уж тогда дам знак. Пусть я не большак, но вы доверьте мне это дело.

— Поезжай,— согласились мужики.

Феодосий тронул рукоять пистолета, проверил второй, а тут и шлюпка подошла, чтобы отвезти гостей. Вошел один Феодосий, Петеру же сказал:

— Мужики послали меня к вам гипломатом, чтобыть все просмотрел, проверил, нет ли с вашей стороны подвоха. Покажете свой корабель, людей, тогда и остальные приедут утренничать.

Петер не стал возражать.

— Мужики, остановите его, он что-то задумал. Ночь не спал, совсем поседел, — схватилась за сердце Меланья.

— У каждого одна думка, как бы отвести напасть,— остановил Меланью Иван Воров.

Феодосий стоял на носу шлюпки и пристально смотрел на берег, будто прощался с ним.

— Сэр, принимай дипломата,— засмеялся Петер.

Матросы пьяно захохотали, видя, как неловко поднимался по шаткому трапу старик.

— Придержи, Петер, высокого гостя, как бы не свалился в воду,— ржали матросы.

— Не смейтесь! — оборвал Петер матросов.— У русских всегда так водится — чем старше человек, тем почетнее. Молчать!

Чарльз устроил легкий завтрак в честь высокого гостя. Пили ром, заедали паштетами, мясом. На столах разные вилочки, ложечки, но «русский дипломат» предпочитал простую ложку.

— Дикарь! Не знает, наверное, для чего служат эти приборы? — буркнул капитан.

— Всё они знают, сэр, только прикидываются незнающими.

Феодосий пил ром стаканами и не пьянел. Хотя для страховки притворился пьяным. Потребовал, чтобы ему показали судно.

— Мы должны знать, на какой посудине поедем мы в вашу страну?

— Покажем тебе все, чертова ты развалина,— проворчал капитан.

Феодосий ходил между пушками, хлопал широкой ладонью по их стволам, осматривал бомбы, ядра.

— Но ить сколько этим прожорам надо пороху? — удивлялся старик.

— Очень много.

— А у нас с порохом туговато. Покажи-ка, сколько его у вас? Я все должен знать, все своим донести,— ежли что, так мы запротивимся. Нападут вороги средь окияна, и крышка нам.

Петер повел гостя в пороховой трюм. Часовой пропустил. Но сверху закричал капитан:

— Вернуть старика! Ты что, Петер, забыл, что сам говорил о русских...

Феодосий с размаху ударил Петера по шее, тот покатился к пузатым бочкам с порохом. К нему бросился матрос, но Феодосий выхватил пистолеты и взвел курки.

Увидели мужики, как начали прыгать за борт матросы, что есть силы плыть к берегу. Но тут же взметнулся в небо столб огня и дыма. Дрогнула земля, поднялась высоченная волна. Дошла даже до деревни, смяла заборы, ударилась в рубленые углы и тут же откатилась. Огромный хвост дыма отнес ветерок в сопки. Над бухтой стало чисто. Будто и не приходил сюда иноземный корабль, не грозил русским мощью своих пушек. Вода побелела от глушеной рыбы. Среди рыб барахтался человек. Мужики тут же спустили лодку и подобрали человека. Это был матрос с фрегата. Он долго не приходил в себя, а когда

пришел, то на руках показал, как белобородый человек взорвал судно...

Меланья молча смотрела на морскую гладь. Затем широко перекрестилась.

— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего Феодосия.

— Царство ему небесное. Порадел за народ,— стянул с головы картуз Ефим.— Пошли, люди, молиться за раба Феодосия, чтобы бог отпустил ему всяческие грехи — вольные и невольные.

— А куда же идти, здесь и помолимся, здесь его могила, здесь его крест,— сказал Сергей Пятышин. — Спаси его, господи, от ада огненна.

— Здесь так здесь. На колени, люди, поклонимся праху его, до последнего издыхания так и остался большаком, отвел от нас смерть и муки адовы,— первым встал на колени Ефим.

— Не за упокой, а за здравие надо молиться. Такие люди не умирают. Прости, тятя! Ты привел народ в эту землю, ты его и спас. Хотел бы и я сделать такое, но хватит ли у меня сил?

— За здравие! — рыкнул Иван, выкатилась слеза и утонула в бороде.

— За здравие! — прокричал Митяй.

Но что бы ни говорил народ, а к вечеру еще один крест поднялся на сопочке. В могилу вылили ведро морской воды: ведь прах Феодосия смешался с морской водой. Бросили по горсти земли. Три дубовых креста смотрели на восход солнца, смотрели в море, будто тоже дозор несли, землю русскую охраняли.

— Прощевайте, други! — сглотнул слезу Ефим.— Кто был зол, кто обижен — земля примирила.

Еще много лет находили рыбаки на дне бухты ружья, нож из них скуешь, и то дело, куски медной обшивки, покореженное железо... В мужицком хозяйстве все сгодится. Из меди Пятышин делал рукомойники, тазы, в умелых руках ничто не пропадет.

17

Сильно окрепла община Андрея Силова. Те, кто ушел из нее, огорчались, рады бы вернуться назад, но мужицкая гордость не позволяла поклониться в ноги. Кто остался, те радовались, что не поддались соблазну.

Из всех, кто ушел из общины, разве что один Пятышин не прогадал. Он набирал силу. Его звонкий молоточек ковал деньги. Капкан починить — гони колонка, ружье, судя по починке,

пару соболей. Не стрелял, не мерз, а был с пушниной. Деньги пока не в ходу. В ходу мягкая рухлядь. Так точнее и вернее.

Пришлось сбиваться в мелкие артельки и другим переселенцам. Один на один с тайгой — много не навоюешь. Ларион хотел тайгу один покорить, но его чуть не засек кабан, едва открестился от медведя-шатуна, бежал десяток верст, только пятки сверкали. Арзамасов тоже спарился с дружком. Только Софка Пятышина, когда ее выгнал Путятин с поста, так и осталась одинокой. Звали ее общинники к себе, но отказалась, гордячка.

— Я одна себе завсегда кусок хлеба добуду, своим ружьишком. Стрелять могу, бегать тоже, мое от меня не уйдет. Живите, не тревожьте меня. Сгину в тайге,— знать, судьба.

Жила в домике, который построили еще при жизни Прокопа. Построила себе зимовьюшку на одном из притоков Висильковой речки. Охотилась, добывала себе кусок хлеба.

И люди, кто-то жил побогаче, кто-то победнее, не были голодны. Все одеты, обуты, чего же жаловаться на судьбу?

Ждали богатого урожая. Всходы, как и в первые годы, были темные, сочные, наливные. Травы тоже дружно поднялись.

Звери, которые в первые годы вытаптывали поля, теперь отошли, собаки угнали в сопки, да и охотники поразредили табуны кабанов и оленей. Не заходили сюда и хунхузы. Но Алексей Тинфур рассказывал, что были они за перевалом, снова мучили и убивали людей, как и прежде, за неизвестно какие долги.

А тут еще одну партию переселенцев прислал новый командир русских портов Казакевич. Этим тоже, чем и как могли, помогли старожилы. В Новинке стало до восьмидесяти дворов. По этому краю — уже город.

Пришел август. Над сопками зависли туманы, нудная изморось сыпалась с неба. Потом она перешла в затяжные дожди, прорывались и ливни. С моря дул и дул жестокий хиус. И так неделю, другую...

Алексей Тинфур сидел дома. В такой дождь — какая охота или рыбалка? Хотя зверя добыть легко. Зверь в дождь мало бродит, чаще стоит под деревьями и тоже ждет лучшей погоды. А в реке уже не поймать рыбы: вода стала вровень с берега́, вот-вот выплеснется. Сима и кета ушли в мелкие ключики, которые сейчас тоже стали похожи на речки.

Зашел Техтомунка. Закурили трубки. Техтомунка кивнул на речку и сказал:

— Еноты бегут в сопки, змеи уползают на скалы, мышь уходит из поймы реки. Это плохо. Речка шибко сердится. Будет большая вода. Шибко большая. Земля пить больше не хочет.

Погибнут русские, смоет их речка. Сегодня ночью будет очень большая вода. Всех унесет в море... Не молчи, говори.

— А зачем слова? Разве у тебя глаза стали худо видеть? Нет. Я уже одет, обут, у ног лежит копье. Вот только докурю трубку и побегу к братьям.

— Тогда беги. Вода будет до сопок. Пусть уходят выше. Мы тоже уйдем в сопки, унесем с собой чумы. Может, ты поплывешь на оморочке.

— Нет. Она погубит меня, тогда погибнут и они. Я пошел.

— Ты не должен утонуть. Возьми с собой Ворона. Он тебе поможет переходить речки. Он сильный. Может, мне пойти с тобой?

— Зачем же делать одну работу вдвоем? Будет и здесь вода, ты уведешь наших в горы. Ворон, пошли со мной!

Алексей утонул за плотной сеткой дождя. Техтомунка вышел на берег, встал на колени, начал молиться:

— О, Великая вода, кровь земли нашей, радость человеческая, не утопи нашего Олеску, пусть он спасет русских. О, Великий Куты-мафа, премудрый начальник гор наших, не трогай Олеску, пусть он добежит до русских. Олеска чист, как слезы матери, как родники наши, не стой на его тропе. Русские еще не знают, как сердится большая вода. Будут спать и все погибнут.

Техтомунка встал с колен, теперь он был уверен, что Олеска дойдет до русских. Зашел в чум и стал со взлобка смотреть на реку. Он помнит, лет пятнадцать тому назад была большая вода, которая разлилась от сопки до сопки. В тот год никто не поймал рыбы, не добыл зверя, потому что был большой снег, зверь ушел на юг. Пришлось уходить к морю и там добывать рыбу. Трудно было, но никто не умер с голоду.

Алексей бежал по тропе. Рядом трусил Ворон. Это был крупный пес, помесь серого волка с лайкой. Умный и понимающий пес. Идти было трудно, ноги скользили по тропе, ключики, которые он переходил раньше и ног не замачивал, приходилось переплывать. Спасибо Ивану, который научил плавать Алексея. Никто из их племени плавать не умел. Дух рек того не хотел, чтобы люди плавали в его воде. Там могла плавать только рыба. Человек рожден ходить, а не плавать.

Впереди большая река, ее-то и боялся Алексей. Сильно боялся. А потом, шла ночь, скоро станет совсем темно.

Услышал рев. Вышел на берег и растерянно остановился. Река ярилась. Ночь. Дождь. Ни зги. Там, где был брод, теперь ревел и пенился перекат. Тинфур помнил, что за перекатом есть огромный залом, завалы из плавника. Топтался на месте. Вода

плескалась у ног. Надвигалась. Вот она затопила ступни, поползла к коленям. Раздумывать больше нельзя. Но и плыть опасно: если не успеешь перескочить речку, то затянет под корявые стволы деревьев. Пошел выше, чтобы не влететь под залом. Оперся на копье, прыгнул как можно дальше. Копье бросил. С ним не переплывешь. Поплыл. Сильное течение подхватило и понесло по волнам. Следом плыл Ворон. Алексей что есть силы греб руками, бил по воде ногами. Его спасала куртка из рыбьей кожи, она надулась пузырем и держала тело на воде.

Впереди слышался страшный грохот, будто кто крутил огромные жернова. Значит, залом близко. А тут еще залилась в штаны вода, начала тянуть на дно. Грохот все ближе и ближе. Он нарастал, а сил все меньше. Алексей уже хлебнул воды. Страх сдавил грудь.

— Ворон! Тону-у-у-у!

Выбросил руку вперед. Ворон был рядом. Одной рукой придерживался за спину пса, второй греб. Но тут сильный поток воды подбросил Алексея, с такой же силой бросил в провал. Алексей задохнулся. Но вот он вынырнул, больно ударился о ствол дерева. Нашел силы схватиться за ветку. Задержался.

Не затянула Алексея вода под залом, а перебросила через него. Ворон был рядом. Он, тихо поскуливая, тянул друга за парку. Встал, побрел на тропу, продираясь через чащу. Дошел до взлобка, упал на мокрые травы, расслабил тело. Знобило. Лежать долго нельзя. До Новинки еще далеко, можно не успеть. Люди спят. Алексей встал, вылил воду из штанов, вышел на тропу и побежал. Он бежал и падал. Вставал, снова бежал. Когда он оставался долго лежать, то Ворон лизал его лицо, будто просил встать, поторопиться. Техтомунка часто говорил, что собаки, как и люди, есть совсем умные, а есть совсем дураки. Разные бывают люди, разные бывают и собаки.

Ворон остановился и глухо зарычал. Попятился. Тинфур положил руку на нож. Если Ворон пятится, это куты-мафа. Других зверей этот пес не боялся. Алексей тронул Ворона ногой, послал вперед. Но Ворон не пошел. Он жался к ногам хозяина, глухо рычал.

— Эй ты, Куты-мафа, уходи с тропы! Разве ты не знаешь, что я устал, бегу к братьям, чтобы спасти их? Они еще дети, они никогда не видели большой воды, а ты видел. Уходи, или мы поссоримся. Слышишь, Великий Куты-мафа? Кабанов много в тайге. Иди за ними.

Во тьме рыкнул тигр, было слышно, как он сделал легкий поскок с тропы, прошумел мокрой листвой, ушел в сопку.

Снова бежали человек и собака, а следом за ними бежал тигр. Но Алексей не обращал внимания на тигра, лишь однажды остановился и закричал:

— Ты дурной люди! Думаешь, я не слышу твои шаги? Все слышу. Уходи! Пусть я умру, но выну твое подлое сердце. Только враг ходит следом, трусливый враг. Ворона съесть хочешь? Не отдам. Ворон хороший люди, а ты подлый!

После этих слов Тинфур пошел на тигра. Тот рыкнул, не принял вызова человека, ушел в сопку и больше не трусил следом.

Дождь, пот, частое дыхание. Ключи гремели еще злее. А речка, та просто охрипла от рева. Казалось, тропе не будет конца. Если бы не Ворон, то Тинфур бы сбился с тропы. Но пес вел и вел человека к людям.

Тинфур в изнеможении оперся о стенку казармешки. Нащупал дверь, сильно постучал:

— Вставайте, люди, пропадете! Вставайте, большая вода пришла!

— Кто там? — прорычал спросонок Лаврентий.

— Я, Тинфур. Большая вода пришла. Пропадут наши братья! Ваши спят, вода их унесет в море.

— С чего бы это? Такого здесь еще не водилось. Мокрущий, проходи, сушись.

— Некогда, подымай своих, подымайте, кто в Новинке.

Матросы наспех оделись, выскочили из казармы, зажгли по смоляному факелу, и, когда подбежали к деревне, она уже была в воде. Вода, кругом вода, которая пенилась, плескалась, терлась об углы домов. Подсвечивая, пошли в деревню. Воды вначале было по колено, затем по пояс. Лаяли собаки, мычали коровы, ржали кони, но за стоном и ревом реки их не было слышно. Ни огонька. Все спали. Позже кто-то скажет: «А мы думали, поднялся штормяга, вот и дрожали дома, ревела вода».

— Как можно так сыпи? Все пропадут,—плевался Алексей, загребая руками, брел по грудь в воде.

А волны одна за другой накатывались, били по ногам, валили набок. Вот и дом старосты Андрея Силова. Алексей загремел в ставню. Матросы разбрелись к другим домам, начали поднимать людей.

— Вставай, Андрий, большая вода пришла! Андрий, вставай!

Андрей спрыгнул с кровати и тут же очутился в воде. Закричал:

— Варя, ребятишки, вставайте, вода в избе!

С поста рявкнула пушка. Это Дионисий сумел под дождем зарядить пушку и дать сигнал тревоги.

Люди спрыгивали с кроватей, печей, полатей и тут же ухали в воду.

— Бабы, мужики, поначалу выводите детей, а уж потом все остатнее! Детей выводите! — орал что есть силы Андрей. Страшный, взлохмаченный, размахивал ружьем при свете факелов.— Ты что, очумела, стерва, брось самовар, детей выноси! — кричал на бабу.— Мужики, запрягайте лошадей! Отпускайте скотину, сама доберется. Все в телеги! Детей, скарб! Живо! Митяй, да не стой ты столбом, коня запрягай, детей на телегу! Марфа, дай ему под дых, може очнется.

Алексей собрал баб и детей, повел их в сторону казармы, в сопку. Сам нес троих мальцов. Они висели на нем, как виноградные гроздья. Марфа вовсе была облеплена детьми. Пыхтела, охала, но брела.

Брели коровы, плыли телята, овцы, брели и плыли за людьми.

Редкие факелы, фонари освещали дорогу, маслянисто блестела вода. Люди спотыкались во тьме. Андрей выхватил из рук Викентия факел, взбежал по лестнице на крышу своего дома, поджег крышу изнутри. Вначале повалил белый дым, мешаясь с дождем, а потом вырвались языки пламени. Стало светло. На него закричала Варя:

— Ошалел! Для ча дом поджег!

— Чтобы люди легче находили дорогу к берегу. Выноси детей. Лопотину потом. Брось борону! Не утонет, утонет, то найдем.

— Викентий, помоги выносить из избы. Караул! Горим! — растерянно кричала Варя.

Мужики бродили по воде, бросали в телеги что под руку попадет, а чаще попадало не то, что было надо, гнали груженые телеги к берегу. Местами кони всплывали, телега опрокидывалась, все летело в воду. Тугая струя затягивала коня и телегу, топила. Хозяин едва успевал выплыть.

Последнего коня пригнал Андрей. Его дом жарко горел. Над морем появилась серая полоска рассвета. Дождь прекратился. Подул противный ветер. Он угнал остатки туч. Взошло солнце. Какое-то ленивое, холодное, будто чем-то обескураженное.

А вода продолжала прибывать. Она накатывалась валами, сметая все на своем пути...

— Батюшки, а где же Настя? Настя-а-а! Ты игде?

— Нет нашего Сережки. Мамочка, неужли утоп?

— Вона девчушка на кусте болтается. Лови! Держи!

Выхватили, спасли, слова сказать не может, продрогла. Жива, слава богу. Нет Сережки, нет Семки...

Мутное солнце все выше и выше. На глазах уходили дома под воду. Андрей с мужиками пригнали уцелевшие лодки с берега моря, теперь пытались прорваться к домам. Но лодки крутило, опрокидывало волнами, не пробиться.

Вот сорвало хлев Пятышина, поднялась из воды баня Воровых... Люди смотрели затаив дыхание: что же будет дальше?

Вот качнулся дом Арзамасова, тяжело всплыл, стал разваливаться на волнах: крыша поплыла отдельно, рассыпался. В море, в накат волн. Дома один за другим поднимались, покряхтывали, будто старики в бане, всплывали и уносились в море. Хорош дом у Ивана Ворова. Он стоял на пригорочке. Должен устоять. Но и на этот дом шла беда: коряга ударила в угол, дом развернулся и покатился в море.

— Все,— разом проговорили мужики.— Поплыл. Одна надея была на него. Была деревня, и нет ее. Эко беда.

— А поля, где поля? Господи, ить все смыло! Батюшки, что же деется?

На крутом обрыве стоял Ефим Жданов. Ефима было не узнать. Казалось, он даже подрос, стал шире в плечах. Со слипшимися волосами, реденькими, разметанными, с глазами безумца, стоял над бушующей водой. Потом глянул на солнце. Тщедушное тело его затряслось не то от плача, не то от смеха.

— Бога мать! Богородицу мать! Проклинаю! — закричал он сильно, звонко, заставил обернуться людей.

Протянул костлявые руки в небо, к солнцу, еще раз прокричал:

— Проклинаю тя, бог, проклинаю весь твой род до седьмого колена! Проклинаю рождение твое! Пропади ты пропадом! — Повернулся к людям, упал на колени, протянул к ним руки, заговорил: — Простите, за все простите! Люди, простите, предал Феодосия анафеме, вас держал в страхе божьем! Молил бога, чтобы послал нам добро, а не зло. Теперича смотрите: деревни нет, полей нет. Одних оставил с тайгой и гнусом. Бог — не добро, а бог есть зло. Проклинаю! За наши муки, за наши молитвы вот нам ответ! Проклинаю! Анафема тебе, господь бог! Сволота, оставил всех голодными и холодными. Господи, неужли ты есть на свете? Нет, ответствуй? Тя спрашиваю аль нет? Пошто нем-то? А? Знать, нет тебя. А ежли ты есть, то не знаю, какое имечко и дать тебе? Дьявол ты. Порождение сатаны! Ты с ним заодно. Прав был Феодосий, заодно с дьяволом водку хлещешь и «Барыню» пляшешь. Хошь бы детей пожалел,— орал Ефим в небо.— Проклинаю! — Рванул ворот рубахи, со-

рвал с шеи крест, бросил его в кипящий водоворот.— Проклинаю! — Упал на сырую землю и надрывно, по-мужицки заплакал.

Прошипела молния, врезалась в кряжистый дуб, он вспыхнул факелом, следом прогремел гром, раскатистый, утробный. Люди подались от Ефима-хулителя. Думали, что молния испепелила его. Но он вскочил на ноги, сделал две фиги и начал ими тыкать в небо, кричать:

— Накось, выкуси! Думал молыньей меня сокрушить? Несокрушим я. Дудки. Не быть мне убитым. Не быть! Что мне твои молнии и громы? Ты дьявол, а не бог. Отрекаюсь! Проклинаю! Люди, не верьте богу, он зол и мерзок! Гремит на меня, хулу свою шлет, громы низвергает. Плевать! Не признаю! Не признаю тя ни в небе, ни на земле! Пропади ты со своим адом и раем.

— Ефим, окстись! — положил на плечо тяжелую руку Андрей.— Проклятием и отречением делу не поможешь.

— Не помогу, но хоша душой очищусь. Разве это по-божески — такую деревню утопить, все как корова языком слизнуть? А? Всех оставить в одних портках. А где хлеба? Где овощи? Что есть будем? Феодосий был святым, а я грешным. Не думай, все это я говорю в памяти, в твердом духе. Дурачил народ богом-то. А он нам в ответ.

— Одумайся, ты наш наставник!

— Им и останусь, но буду люд не за бога наставлять, а супротив. Сколько можно слать на нашу ватагу мук? Кто здесь живет, те все во святости пребывают. Да, да! Такие земли пройти, столько мук душевных и телесных принять, всяк святой!— кричал Ефим.

Над Каменными воротами поднялась радуга. Ефим посмотрел на радугу, сказал:

— Пьет воду, сволота, еще будет дождь.

Вода начала спадать. И, будто в насмешку, посреди деревни стояла Митяева баня.

— Что я тебе говорила? Не трекались бы из Перми, жили бы и жили. А тут снова муки, снова беда! — орала Пятышиха.

— Молчать! — впервые взорвался Пятышин.— Ежли наша така судьба, то что можно сделать? Что? Тебя спрашиваю? Прокляты мы были, видно, еще в утробах матерей. Молчать!

Ефим сидел на пне ко всему безучастный. А мужики уже колготились, как быть, как жить дальше.

— Ежли не придет Шувалов, то сгинем.

— Надо посылать людей к Шувалову, в ноги падать, помощи просить.

— Пошлем. Послать есть кого. Аниска в тех землях бывал, вот его и пошлем.

— Не бойтесь, наши помогут, рыбой, мясом — помогут,— сказал устало Тинфур.

— Спасибо за привет. Но хлеба-то смыло, поди, и земли на пашнях нет. Без хлеба — пропадем.

— Я вам говорил, что близко стоят у воды дома.

— Знамо, говорил. Да что теперича. Мужик задним умом крепок.

Детей увели в казарму, туда же подались люди. Скоро запылали костры. Кто-то прихватил связку юколы, кто-то шмат мяса, кое у кого оказалась мука, картошка, все в один котел. На несколько дней еды хватит. А потом?

— Что-нибудь придумаем,— чесал затылок Андрей.

Речка будто задохнулась в своем неистовстве. К утру вошла в берега. И взору предстала печальная картина: на месте деревни лежала огромная коса, на ней блестела окатанная галька — лишаисто и сиротливо, на пашнях тоже не было земли, ни единого стожка на покосах, все покосные поляны были занесены корягами, илом, вода все смяла и перекрутила.

Был сход. Андрей предложил всем мужикам, парням выходить и косить сена на взлобках сопок.

— Без сенов загубим тягло, скот. В них наша сила. Заглавная сила. И все накошенное в один котел. Общиной будем беду отводить. Пойдут с нами и матросики, их теперь уже десяток. Охранять тута пока нечего, ежли не станет нас.

— Согласны,— ответил Лаврентий.— Одного оставим на посту, а все к вам.

— Всем бабам и детям ходить по прибою и собирать колоски. Ить хлеба уже были зрелы. Собирать картошку. Два-три пуда зерен в день, уже жить можно. Степан, ты отбирай лучших охотников — и на промысел зверя. Митяй, тебе с Марфой ловить рыбу. Не пропадем, не должны пропасть.

— И я пойду. Одному туда ходить опасно. Потом, я там знаю многих людей,— вышел вперед Алексей Тинфур.

— Спасибо, Алексей Тинфурович.

— Надо вам сходить к Чи Ину. Они хлеба не сеют в долинах, на сопках сеют. Могут помочь, коли что,— подсказал Тинфур.

— Сходим к соседу. Он свойский человек. Вместе воевали — вместе и эту беду отведем. Сходим в долину Аввакумовки и там выберем место под деревню. Места те мне приглянулись.

— Я не хочу быть в общине. Я тоже себе место подсмотрел по реке, там буду строиться,— подал голос Арзамасов.

— Когда почнем строиться, тогда можешь выходить, а счас и говорить не моги. Вошкаться не будем, ежли что, то выпорем, а нет, то просто на сук вздернем. Не время булгачить народ. Пойдут за тобой и другие, можете пропасть. А здесь нам каждый человек нужен позарез.

На берегу бухты бродили дети, женщины, собирали выброшенные волнами колоски, картошку, рылись в водорослях, иле. Собирали жалкие крохи от обильного стола. Крохи, крошечки даже.

Еще тревожились люди за Ефима. Вроде и не трекнулся умом, наоборот, стал разумнее, говорил:

— Верил в бога, чего уж там. Верил. Теперича все. Нетути для меня бога. Не верю. А как жить без веры? Вот этого не умыслю. Человек без веры — что обсевок в поле. Все думал, живу, не грешу, будет рай мне уготован. А теперича, когда умру, то куда мне податься? А? Будь ад, то в ад бы пошел, абы жить после смерти-то. Но нет ни того, ни другого. Значит, просто смерть — и все. Знать, весь умру? Тяжко. Стану землей, камнем. Страшно.

— Не майся, Ефим, не трави душу себе и людям,— пытался урезонить Андрей.

— Откель ты взял, что я маюсь? Душу травлю? Нет, я просто думаю вслух, точку в жизни ищу.

— Плюнь на все, и пошли выбирать место под деревню.

— Деревню заложить — плевое дело, сто раз можно заложить, десяток пожаров и наводнений пережить. Но веру потерять стоит раз. И ты ижица. Букашка-таракашка. Человек без веры — назем и ил. Ежли бы не было бога, то люди нашли бы другую веру. Без веры нельзя жить человеку.

— А ты верь. Мой тятя верил и не верил, ссорился с богом, снова мирился...

— Не ломай комедь. Ты знаешь Ефима Жданова, он ежли верит, то насовсем, а уж ежли не верит, то тоже насовсем. Очищен, но ум пока не принял то очищение, душа очистилась.

Ездили целый день по долине. Выбрали место под деревню на веселом взлобке. Пусть далековато от речки, но сбоку был ключ. Для питья и его хватит.

— Здесь и будем ставить,— решили мужики, поехали на пост.

Ушли, за плечами котомки, ружья. Надолго ушли...

Сенов немного наскребли. Теперь дети ломали веники, чтобы ими кормить скот. Начали пробивать дорогу до будущей деревни, которую назвали Пермской. Но все труднее и труднее стано-

вилось с едой. Все, что собрали по берегу, съели. Кончался порох и свинец. От одной рыбы люди маялись животами. Андрей уже который раз обращался к Лаврентию, чтобы он дал из своих запасов пороху и свинца, но тот уперся:

— Не могу. Это все казенное. Мы при службе, случись бой — и стрелять будет нечем.

— Лаврентий, пойми, что без нас вы не много настреляете. Ты должен нам дать порох и свинец. Ты без боя хочешь загубить полтораста душ мужиков, триста душ баб и детей. Дашь или не дашь?

— Нет.

— Тогда ты дурак! Я думал, что ты лучше. Придут враги, то не проси от нас помощи.

— Не могу,— тянул Лаврентий.— Не было такого приказу!

— Так будет, я приказываю тебе выдать, что просим, еще сверх того дать запасные ружья.

— Ты не полномочен давать приказы.

— Тогда будем брать силой. Мужики, берите его и вяжите! Не помирать же нам. Пушка однова стрелит, а мы сто раз.

Не успел Лаврентий что-либо сказать, его тут же скрутили, сунули кляп в рот, чтобы не орал.

— Ефим, пиши: «Я, Лаврентий Кустов, находясь в полном здравии и уме, даю команду Дионисию выдать Андрею Силову два пуда пороху, десять пудов свинца. Ко всему этому приложить десять ружей, кои лежат в бесполезности. Расписался временный начальник русского поста святой княгини Ольги...» Одну руку ослобоните, чтобы он свою подпись поставил. Вот так. Пиши аль палец приложи.

Лаврентий мычал, крутил головой, но Андрей насильно водил карандашом по бумаге, вывел фамилию: «Кустов».

— Вот и все. Положите его на сухую травку, пусть полежит, а мы пока сбегаем на пост и привезем все, что значитца в записке.

Дионисий покрутил бумажку в руках, хмыкнул и пошел на складишко, чтобы выдать все, что приказал Кустов. Читать он не умел, но раз есть бумага и устный приказ, чего же больше?

Кустова освободила его жёнка Лушка. Он побежал на пост. Дважды упал на стлани, что проложили мужики. Навстречу шел Андрей с помощниками, несли порох, свинец.

— Ну и тать ты, Андрей! Связал, кляп в рот, слова не скажи. Я ить мычал, хотел сказать, что согласен, ежли ты напишешь расписку: мол, взят порох и свинец взаймы, ружья тоже, так и дал бы. Пошли, напишешь мне такую бумагу.

— Не буду такую расписку писать. Мы ить тоже служивые, тоже эти берега стерегем.

— А куда же я спишу все это?

— Скажешь, что был бой с хунхузами аль с пиратами, вот и потратились.

— А ежли скажу, что ты силой взял?

— Скажи; ежли будет такой же начальник, как умница Бошняк, он только и сделает, что отругает тебя за скряжество. Он скажет, мы един отряд, одна сила.

В Пермской уже во всю силу стучали топоры, снова вжикали пилы. Деревня строилась. Неподалеку по речке заложил деревню Арзамасов с дружками, речку ту скоро стали звать Арзамасовкой. Андрей и другие переселенцы не перечили.

Андрей и Степан шли с охоты, гнулись под тяжестью добытых изюбров. Вышли на полянку и отшатнулись. На толстом суку клена висел человек. Андрей бросился к нему, хватил ножом по веревке. К его ногам упал Ефим. Он лежал на спине, выкатив глаза, пристально смотрел на Андрея. Андрей сдернул шапку и перекрестился.

— Не вынесла душа безверья. Зря ты себя удавил, Ефим Тарасов. Сейчас нам каждый умелец нужен. Поторопился. Плохо сделал...

Еще один ушел в лучший мир. Еще один великомученик почил на грешной земле. И пока никто не умер своей смертью: пал ли в бою с кабанами, хунхузами, пиратами, последний от безверья, в бою с богом. Четыре креста поднялись на земле обетованной. Сурово маячили на фоне звездного неба, где когда-то, как говорил Ефим, жил бог, заступник и спаситель.

18

И в Пермской, и в Арзамасовке спешили поставить хотя бы несколько домов, чтобы было где перезимовать бабам и детям, мужики разбредутся по тайге, им места в избах не надо, перезимуют в зимовьях. Они должны быть целы. А нет, то новые сгоношат.

Скоро подули холодные ветры, припадали низко к земле тучи, косые дымы кланялись ей, многотрудной и потливой.

Бабы простуженными руками жали жухлую траву, чтобы мешать ее с сеном, запаривать водой, не дать пасть буренкам. Не жизнь, а тление. Лишь бы перезимовать. Все пообносились,

пооборвались. Пришлось снова мять шкуры и шить одежду. Подкосило мужицкую удачу страшное наводнение. Унесло достаток, а с ним и радость. И нельзя было назвать это голодом: было мясо, была рыба, но без хлеба люди болели, хирели.

К марту начали возвращаться охотники с промыслов. Охота не удалась: откочевала белка, не было урожая на кедровые орехи, не стало мышей — колонок тоже отошел, совсем было мало соболя,— наверное, тоже откочевал за мышами и белкой.

Правда, добыли десяток тигров, два десятка медведей, в основном ради внутреннего жира и желчи. Ну и за сотню кабарожьих пупков. Все это свалили в общий котел. Не густо. Едва хватит купить семена на посев.

— Что делать? — почти стонал Андрей.— Ить надо подымать пашни, а мы обессилены...

Снова стоны и крики огласили тайгу вековечную. Как и в первый раз, раскорчевывать пашни вышли от мала до велика. И как-то само собой получилось, что люди снова работали общиной. В одиночку — пропадешь. Только сообща можно отвести беду, выжить. Кто-то на охоте, кто-то на рыбалке, все работают на один котел. Должны выжить. Но все тяжелее и тяжелее мотыги, топоры, осунулись люди. Да что люди, даже кони и те уже стали похожи на заезженных кляч. Нет овса, а без овса конь — как мужик без хлеба. Ширились пашни в долине Авакумовки, росли огороды на широком прилавке.

19

Кончилась мужицкая вольница. Началась новая, кипучая жизнь на далекой окраине России. Ожили берега. Ожило море. Шли на юг корабли. Шли с заходом в бухту и без захода. После транспорта «Маньчжур» забегал транспорт «Японец», затем клипер «Наездник» и другие суда и суденышки. Каждый что-то привозил: то ли новую партию переселенцев, то ли строительные материалы, продукты, коров, коней.

Это шел 1860 год. Год, в который основали первый город в южной части земли Приморской, назвав его Владивостоком. Год крупного строительства и в уездном городке Ольга.

Шли суда, несли новые и радостные вести, что жить этому краю и процветать. И почти все мужики понимали, что так жить будет легче, что безвластие только вредит этой земле.

Пристав Харченко и начальник поста Чихачин, оба молодые, задорные и в меру добродушные, не были похожи на тех приставов и чиновников, которых мужики привыкли видеть у себя

на родине. Эти были проще в обращении, приветливее с мужиками.

Надо было строить казармы, лазарет, жилые дома. Но людей не хватало, хотя сюда посылали таких солдат, которые могли держать в руках топор, рубанок, не разрушать, а строить. Чихачин стал просить мужиков, чтобы они помогли строиться. Мужики с радостью согласились, тем более что начальник поста платил щедро — три гривны в день. А тем, кто хорошо работал, платил и по пять гривен.

Военный пост рос на глазах, рос вместе с городом Владивостоком. Русско-американская компания везла сюда все, что твоя душа пожелает, знай живи и стройся.

Те, кто недавно приехал, большей частью строились в Ольге, но уже не на месте смытой наводнением Новинки, а на взгорье. Этим тоже в меру сил помогали Харченко и Чихачин. Часть осела в Арзамасовке, Пермской. А вятичи заложили свою деревеньку, которую назвали Вяткой.

В деревнях были избраны старосты. Андрей Силов остался старостой в Пермском, Арзамасов в Арзамасовке. Старосту Андрея Силова, как мог, оговаривал Ларион, он сидел до суда в кутузке, рассказал Харченко, что Андрей Силов был на каторге, бежал, что он же устроил самосуд и чуть не повесил отца. Харченко выслушал и ответил:

— То, что вы здесь сделали, то, что вы здесь пережили, может заменить три каторги. И бегство Андрея Силова в эти земли считаю геройским. А потом, ты сам оговорился, что Андрей Силов по злому року попал на каторгу. Невинен, значит, потому прошу тебя об этом молчать, здесь тайга, могут случайно и на язык наступить. Тебя же судить будем. И будь моя власть, то я бы предал тебя смерти. Но... Ладно, скоро суд, там посмотрим...

20

А годы шли, утягивались хвостатыми тучами за сопки, один, второй, третий. Менялись люди, менялась жизнь в этом краю, но уже было много легче. Не то, что первым поселенцам. Не ленись — и жить будешь. Купцы, товары, все наперебой, добывай дары таежные, покупай, что душа восхочет.

Одиннадцатое июля — день святой княгини Ольги, воительницы и защитницы Киевской Руси. Этот день долго почитался среди тайгарей. Святая Ольга спасла моряков, святая Ольга дала жизнь в этом краю, святая Ольга покровительница тех, кто живет на берегах ее бухты, в этих плодородных долинах, так считали верующие.

Киевская Русь и далекие берега бухты Ольги...

Андрей Силов, как и все живущие здесь, не работал в этот день, вышел на берег бухты. Остановился у прибойной полосы, долго и неотрывно смотрел на волны, которые у берега скатывались в тугие жгуты, рассыпались у ног.

Волны, как и люди, не бывают похожи друг на друга, хоть чем-то, но разнятся одна от другой. Вот катится робкая волна, прошипела у ног, спала. Следом идет высокая, гривастая, грозится подмять под себя берег, а может быть, смыть и человека. Ударила по ступням ног, откатилась. Третья волна что есть силы хлобыстнула по коленям, ударила наотмашь, со всего плеча, но тоже умерла. От пятой дрогнула земля под ногами. Сильно ворохнулась галька на косе. Шестая грохнула со всего маху, подняла брызги, родила радугу, смяла жару июльскую...

Когда Андрей был большаком в общине, не было времени подумать о себе — все о людях, все о делах общины. Теперь времени хватает на все. Община распалась, есть время подумать...

Любит он Варю, как и прежде любит, рвет душу на части. Но Варя будто и не замечает его любви. То она возится с детьми, то по хозяйству, порой стрельнет глазами и снова опустит их. Сколько можно так жить? Да и любит ли он Варю попрежнему? Это уже не любовь, а что-то ревностное, тягостное, томительное.

Волны катились и катились. Болело сердце, искала выхода душа. Жить надо, но как? Не бросишь же Варю с детьми. Дети не простят, люди не простят. Разум ведет, а сердце протестует...

Три дня назад пристав Харченко вызвал к себе Андрея. Спросил:

— Был ли ты на каторге?

— Зачем спрашивать, ведь вам Ларион, наверное, больше рассказал, чем я сам знаю. Был. Бежал.

— Как это тебе удалось?

— Помогла Варя.

— Есть приказ арестовать тебя и отправить туда же.

— Отправляйте, мне все равно. Свое пожил, а дальше жить неинтересно.

— Мало пожил, но много сделал для людей, для этого края. Считай, что ты своими деяниями снял с себя все преступления.

— А их и не было, ваше благородие. Одно у меня преступление, что умыкал Варю, бежал с ней в Сибирь, на поиски Беловодья. Больше нет. Хотя еще одно есть, любила в Перми меня одна девчушка, а я не захотел ее любви. Убил первую любовь.

— М-да. Иди и живи спокойно. Попытаюсь доказать кое-кому, что не виновен.

Андрей тронул ружье на плече, посмотрел на камни, усмехнулся, подумал: «Человек всему подвластен: злобе людской, властям, что могут совершить праведный и неправедный суд, времени, смерти, а вот камни никому не подвластны, лижут их волны, секут дожди, стоят наперекор всему...»

Андрей горестно усмехнулся. Понятна, а может быть, даже чуть близка стала Софка, со своей неразделенной любовью, вечной грустью в больших глазах. Вспомнился тот страшный вечер, когда Андрей, от безвыходности, чуть не задушил Варю за то, что не любит. Но разве можно силой заставить любить? Где-то сам просмотрел свою любовь? Но когда и где? Может быть, она ушла тогда, когда Варя своим телом выручала его с каторги? А может быть, и здесь, на берегу океана? Бежали сюда за мечтой, бежали, как к теще на блины. Но и черного-то хлеба не всегда было в достатке. Тяжко...

— Что, Андрей Феодосьевич, морем любуетесь? — раздался за спиной звонкий голос Софки.— Здрав ли ты?

— Слава богу, здрав. Пришел нерпишку пострелять, а она отошла уже. А тебя что сюда занесло? — обернулся Андрей.

Софка по случаю праздника была нарядной: в ярком сарафане, легких сапожках, цветастом платке. Распустив тугие косы, улыбалась. Сочные губы ярко горели.

— Эко хорошо-то! Море и солнце. А душище, ажно под сердцем млеет. А занесло меня сюда, мил друг, сердце-вещун. Зовет и зовет на берег, подсказывает, что там нудится неперегоретая любовь моя. А потом, кто мне указчик? Вдова — божья дева. Ходила в Ольгу, сюда завернула. Ить прошлое-то было, как вчера. В июльских травах познались. Не забыла я ласку. Баба, как кошка, до ласки охоча.

Много лет живет Софка одна. Ведет себя чисто. Вдовцы давно сватают ее, но гонит она всех прочь. Живет в Пермском, на краю деревеньки, промышляет зверя, немного сеет хлебов.

— Слышь-ко, ходила я в Ольгу, так меня там сватал Харченко. То да се, мол, будем жить душа в душу...

Андрей чуть поджался. Ворохнулась под сердцем ревность к Харченко, посмотрел на Софку. Расцвела баба как маков цвет.

— Харченко хороший, ладный барин. Чего же еще? — выдавил из себя Андрей.

— Эхе-хе! Был ты слюнтяем, им и остался. Ить ты Варьке и близко не нужен. Комедиянтка твоя Варька, как Иван Воров, а может, почище. На людях вы дружны, а дома как кошка с собакой живете.

— Хватит, Софка, ты и без того загнала занозу в сердце, не надо снова чинить боль.

— Ты дюжливей меня. Муторно жить с нелюбимой. Хошь знать, то ты Варю уже и не любишь, а лишь держишься по привычке, опасно оторваться. Такое я испытала на себе. Опасно, потому как не к кому пока пристать, никто не приласкал. Я ласкаю, и словами, и глазами, но мои ласки не трогают сердца твоего. Не люба, потому и далека от тебя. Та ночь распаскудная все испортила дело. Варька вырвала тебя из моих рук тепленького, а теперь не рада. Да и с чего радой-то быть, одно дело — работа и работа.

— Да замолчи ты!

— Зачем молчать-то? Ить трудно быть былинкой у дороги. Всяк норовит на тебя колесом наехать, грязным лаптем наступить. Не понять тебе этого, Андрей. Дитя бы мне. Жила бы его радостями и думами. Грел бы он мне бок, телу тепло и сердцу радостно. Завидую тем, кто детен.

— Шла бы домой, Софка,— простонал Андрей.

— Не гони друзей. Врагов у тебя под завязку. Ведь праведных люди чаще не любят. Таким не сладко живется на земле. Не гони, могу еще сгодиться. Ить я не висну тебе на шею, а говорить — кому заказано. Ладно, иди своей дорогой, а я хочу искупаться.

Андрей медленно пошел по тропе. Обернулся и увидел голую Софку, стоящую на мелководье. Баба, а все в ней девичье. Повернулся и смелее посмотрел, Софка улыбнулась. Пусть посмотрит, красива, она и сама знает, что красива. Разбежалась и нырнула под волну. Поплыла в море, как белуха, перекатывалась на волнах, зарываясь в их пену.

— Дьяволица,— буркнул Андрей и заторопился.

— Андрей, не уходи. Остановись, Андре-е-е-ей!

Молящий крик упал на волны, они его тут же закрутили, смяли и выбросили на берег.

Андрей вздрогнул, но не обернулся.

Софка села на песок, задумалась. Догорали соленые, как слезы, капли на ее теле. Да, Андрей во многом переменился: залегли суровые складки на лбу, чаще хмур, прошла та вялость во взгляде. Мог и власть свою показать, если что...

«Какая я заполошная. Мало ли мужиков меня сватают. Хожу по его следам, таюсь, как тигрица перед прыжком. Худо делаю. А что делать, ежли он не уходит из сердца?» — пересыпая песок в руках, размышляла Софка, будто хотела переубедить себя.

21

С военного поста через день, а то и каждый день дезертировали служивые, казаки или матросы. Пристав Харченко с ног сбился в поисках дезертиров. Но где там! Тайга и горы могут упрятать тысячи таких постов, а одного человека в них не найти, как иголку в стоге сена.

Но тайна дезертирства скоро раскрылась. На пост прибежал часовой, что стоял у складов с провиантом. Уже была осень, ночи холодные. Часовой забрался в тулуп с головой, слушал вой ветра, сухой стук сучьев. Сзади на него кто-то прыгнул. Раздался грозный рык.

«Тигр!» — только успел подумать служивый, на миг потерял голову от страха.

Тигр схватил человека за ворот тулупа и поволок в сопку. Но не растерялся матрос, вынырнул из тулупа. Но зверь этого не заметил, он даже наступил лапищей на грудь, унес тулуп. Часовой вскочил и бросился бежать, выждав, когда тигр-людоед отойдет подальше.

Тревога! Чихачин в ночь послал служивых в Пермское, чтобы они позвали охотников на тигров. Пришло пятеро во главе с Андреем.

Глазастый Аниска тут же нашел след тигра, как только рассвело, повел по нему охотников. Вышли в распадок за Крестовой сопкой, след потерялся в россыпях. Разошлись, чтобы снова перехватить след. Скоро наткнулись на логово. Здесь, под скалой, валялись обглоданные человеческие кости, рваные мундиры, картузы.

— Надо затаиться,— предложил Андрей.— Зверь с тулупа сыт не стал. Зверь ушел промыслить, ежли не человека, то кабана. Вот и кабаньи кости перемешались с людскими. В день все равно вернется в свое логово.

— Верна, следить почнем, может уйти,— согласился Степан Воров.

— Прячьтесь за камни, ветер с моря, авось не одушим.

Старожилы испытали на себе, что тигры-людоеды смелы и наглы. Могут средь бела дня броситься на человека. А вдруг этот сторожкий, хитрый? Лучше не пугать, а ждать в засаде.

И вот охотники увидели, как тигр, припадая к земле, шел по их следам. Он по-кошачьи ложился, тянул в себя воздух, готовый прыгнуть на потный запах человека, замирал, только кончик хвоста нервно дергался.

— Нас скрадывает, — прошептал Аниска.

— Не стрелять, далековато,— удержал Андрей охотников, которые уже подняли ружья.

Осталось полста сажен. Тигр пополз на животе. Не прогремит под его лапищами галька, не прошелестит листок. Страшно было смотреть на это скрадывание. Но вот Андрей опустил руку, грохнули выстрелы, зверь сжался в пружину, покатился под сопку. С тигром было покончено.

— М-да! — протянул Аниска.— Этакая киса навалится, и не пикнешь. Вот сволота, сколько людей загубил! Не боялся раньше тигров, теперь, поди, буду бояться.

— Не часто встречаются тигры-людоеды. Это второй будет на нашей памяти.

— Четвертый,— поправил Аниска.

— Тех беру огулом, из одного гнезда. Мать их научила. А этот уже старик. С трудом добывал кабанов, вот и наладился брать людей.

— Спасибо, Андрей! Оклеветали мы служивых в дезертирстве. А они загинули от лап тигра. Дезертирство оказалось страшным, — грустно проговорил Харченко. — Тайга. Здесь всего можно ждать.

— Как там мои дела?

— Есть еще одна бумага, чтобы арестовать тебя и провести расследование по чести. Только не верю я нашим... Написал письмо генерал-губернатору Казакевичу, даже царю написал. Но боюсь, что не сносить нам голов. Тебя могут снова бросить на каторгу, а меня в отставку. Будем стоять до конца.

22

Стояло тихое, погожее бабье лето. Пора хлеба жать. Уже летели малюсенькие паучки на своих паутинках. Над хлебами кружили голуби, в них наделали броды жирные фазаны. Мальчишки ставили на бродах силки и ловили фазанов.

Снова зажили мужики. В домах стало чище и светлее. Вместо бычьих пузырей в рамах вставлены стекла. Вместо плошек и таганцов почти у всех керосиновые лампы. Тайга и земля кормили.

Мальчишки тоже втягивались в охотничью жизнь. Все они рыбаки, все малые охотники. Пусть не добывают еще медведей, но уже бегают за белкой, ставят вблизи деревни капканы на колонков. В доме прибавка. Вот и Васька Силов шел с полей отягощенный добычей, десять фазанов словил. Устал. Присел на край пашни. Шла ночь. Увидел, как мимо него проскакал всад-

ник. И тут же почувствовал запах дыма. Вскочил. Всадника не узнал, он скоро скрылся в сумерках. Горели хлеба. Черный дым пополз в небо.

В Пермской ударили в колокол. Значит, и оттуда увидели пожар. Раздался дробный топот копыт, мужики скакали на пашни.

Гудел огонь, пожирая пшеницу, пахло жареным зерном. Васька выбежал навстречу, сказал мужикам, что видел человека, который угнал коня в сторону других пашен. А там тоже уже полыхало пламя. Сушь. С пашен огонь переметнулся на покосы, занялись стога.

Андрей Силов приказал везти плуги, опахивать хотя бы стога. Хлеб уже не спасти. Привезли. С десяток стогов удалось спасти.

Гудел тревожный колокол в Арзамасовке. Там тоже злоумышленник поджег зрелую пшеницу. Ночь в сполохах пожарищ, ночь в криках, ночь в плаче...

Спасать было уже нечего. Андрей пытал сына:

— Неужто ты не узнал кто?

— Мужик, а вот кто — не успел увидеть. Коня, кажись, узнал. Это дяди Митяя жеребчик, а человека — нет.

— Может, снова Софка задурила, оделась под мужика и пустила пал на хлеба? — сказал Иван Воров.

— Оставь Софку,— насупился Андрей.— Такое может сотворить только самый злой человек. Софка сама едва концы с концами сводит. Цену хлеба знает. Только Ларька мог поджечь хлеба. Где Ларька?

— Ларька в тайге. Третьеводни ушел, сказывал, что к субботе будет,— развела руками Галька.

— Э, чего гадать? — махнул рукой Андрей.— Не словили. Харченко надо звать, пусть ищет вражину.

Харченко допрашивал сельчан; те только разводили руками, но ничего вразумительного ответить не могли. Алексей Тинфур вышел на след поджигателя, след привел в глухой лог, там лежал убитый кем-то Митяев конь. Дальше след ушел в россыпь камней, запутался среди следов оленей и изюбров, спустился в речку и пропал.

Вернулся Ларион с охоты. По делу все ладно, он добыл изюбра, накоптил из него мяса, вытянув дорогие жилы. И когда его допросили, он даже пошел и показал, где охотился, как долго возился со зверем.

Чихачин и Харченко дали знать в Николаевск о беде, что постигла переселенцев. Оттуда вскоре пришел пароход Амурской компании, который привез муку. Ее роздали подушно.

Пусть не столь щедро, но при тех запасах, какие еще были у поселенцев, можно было прожить зиму. А там снова придут купцы, за пушнину охотники купят хлеб.

Охотники, уже который раз, снова ушли в тайгу. И если бы все добытое ими они сами бы смогли продать, то давно бы стали богачами и не думали о хлебе насущном. Но дорога дальняя, дорога опасная, не каждый решится нести свою добычу по тайным тропам. Аниска и Алексей и те не рисковали, пусть здесь их обманывают, обкрадывают, но зато без риска можно сдать добытое.

Ушел в тайгу и Андрей. Один ушел. Харченко уже не мог оставить уезд без надзора. Просился с Андреем на охоту Васька, но отец не взял его: старший сын должен помогать по хозяйству, за конями присмотреть, сено подвезти, да мало ли еще что нужно сделать.

23

И зажил Андрей одинокой жизнью. Потный и парной возвращался с охоты. На скорую руку готовил себе ужин, ел, затем свежевал колонков, соболей, белок, лишь в полночь ложился спать.

Была у Андрея собака Тайга. Андрей ей часто говорил:

— Эх, Тайга, Тайга, умнющая ты собака. Жизнь у тебя собачья, но все же будет легче людской. Ищешь ты мне зверя, помогаешь, поласкал, и ты рада. А я вот сколько уже лет маюсь без ласки. Трудно жить человеку без ласки-то. Трудно, Тайга. Хорошо живется Митяю, стары уж, а ласку не забыли. Хошь и ворчит Митяй, что не любит Марфу, но все он врет. Марфа его чуть ли не на руках носит. Да и думает за Митяя чаще Марфа. Таким веселее живется.

Тайга постукивала хвостом по грубым половицам, поскуливала, будто понимала сказанное человеком...

С утра Андрей ушел промышлять белку. Зимой она мало пасется, поэтому надо успеть хоть пару десятков добыть. Добыл. Белка залегла в дупла, в густой хвое елей. Пошел проверять ловушки. Здесь тоже снял пяток колонков, одного соболя. День не пропал зря.

Вышел на кабанью тропу. Решил добыть подсвинка для еды: у них мясо сочное, вкусное. Тайга тут же пошла по свежим следам. Но Андрей вернул ее, зачем пугать зверей. Подкрадется сам и добудет по выбору. Взял собаку на поводок.

Впереди послышалось тихое повизгивание, шорохи. Кабаны паслись на желудях в дубняке. Андрей выбрал поросенка пожирнее и выстрелил. Кабаны сорвались с места, бросились в разные стороны, кто куда носом стоял. Потом они соберутся снова в табун, сейчас же рассыпались, как горох. Смертельно раненный подсвинок бился в снегу. Тайга придушила его. Андрей набросил на рыло петлю и поволок добычу к зимовью...

Тайга бросилась под ноги, чуть не сбила охотника. В десяти шагах стоял тигр. Андрей рванул с плеча ружье, но тут же опустил. Оно было не заряжено. Заряжать поздно; если зверь бросится, одна надежда на нож. Тигр присел для прыжка. Гибкий хвост мел снег. В желтых глазах вспыхнул зеленый огонек. Андрей выставил вперед ружье, вытянул нож из ножен. Но тигр не прыгнул. Поднялся. Отряхнулся от снега и медленно пошел прочь.

Андрей поспешно заряжал ружье. Зарядил, но зверь уже скрылся за чащей. Преследовать побоялся. Бросил ружье за спину и пошел распадком к зимовью. Ругал себя, что упустил такую добычу, ружье не зарядил.

— Ладно, вдругорядь я тебя шоркну. Раз ты пришел сюда, не скоро уйдешь. Почитай, пара коней ушла,— ворчал Андрей.

Брел, буравя снег унтами, тянул подсвинка.

— Кажись, сегодня суббота, надо банешку стопить. Хорошо, что ушел тигр-то. Правда, Тайга, а то бы провозился с ним и без бани остался. Пусть пока ходит.

Андрей вышел на свою тропу. В щеку дул ровный ветерок — северяк. Знобило тело. Шел и ловил натренированным ухом лесные шорохи и звуки. Гудела тайга. Сбоку пискнул поползень. В каменной россыпи процвиркала пищуха. Шумно взлетел рябчик, сел на сук, затаился, настороженно смотрит на человека. Внизу грохнул выстрел. Кажется, недалеко от его избушки? Кто бы это зашел в его угодья? Начал взбираться на сопку. Сразу зачастило сердце. Взмок. На становичке присел на валежину, снял шапку с парных волос, над головой закурился парок. Посмотрел на таежные дали. Задумался. Вспомнился отец, те времена, когда они выжигали с ним уголь на Урале. А потом бунт, ссылка и страшная дорога с Варей через Сибирь.

— Эх, Варя, Варя, что ж нам делать? Как жить дальше-то? — В тайге Андрей говорил вслух. Это для одинокого охотника дело обычное.

Страшно, что так быстро идут годы. Но их не удержишь. Все уходит, все проходит. Остаются лишь люди и земля. Погиб отец, спасая других. Памятник в чьих-то душах оставил. А надолго ли? Кто вспомнит, что Феодосий Тимофеевич Силов погиб ради

счастья людского? Разве что шалый ветер, что пронесется над бухтой, да небо, что смотрит на людей ясными глазами...

Человек живет один раз. И то его жизнь чаще кособокая. Кто мешает жить во всю ширь? Может быть, ты сам в этом повинен? А может быть, злые люди? Кто бы ни был виноват, а радостей с гулькин нос, а вот болей и печалей — полный короб, воз тяжкий. И везешь ты этот воз, человек, и тянешь ты его до могилы. А жить бы тебе надо с вечной улыбкой, с вечной радостью, потому что жизнь коротка, потому что ты — человек. Жизнь твоя должна быть похожа на солнечный день, на вечное лето...

Что ни год, то новая седина на висках. Стареют друзья, стареет и Андрей. Мечется, бедолага, все думает, что завтра будет лучше, легче. Но приходит это завтра — все остается по-старому. Та же нетореная тропа, по которой спотыкается Андрей, и нет перемен. Радости нет.

Радость, где же она запропастилась? Почему не придет она с погожим днем, не приплывет с туманами плакучими? Может быть, ее сдувают ветры, смывают дожди, и потому она не может добраться к людям. Все может быть...

Над крышей зимовья курился дымок. Густо валил дым из башенки-каменки. Андрей остановился. За эти недели он свыкся с одиночеством. Никого не хотелось видеть. В прошлом году дважды приходила Варя. Не пришла ли она сейчас? Ее приход — тягостен. Молчание, обрывки фраз: мол, тот-то умер, того-то медведь ранил, дети живы и здоровы, кланяются отцу, вот и весь разговор. Потом был чай. А после него Варя бросала за спину котомку с пушниной и уходила домой.

Андрей бросил поросенка у порога. Выбрал из бороды сосульки. Входить не хотелось. Все же толкнул дверь.

За столом сидела Софка и пила чай.

— Софка, тебя чего сюда занесло?

— За тигром шла. Чутка приблудила. След в россыпях потеряла. Вышла к зимовью, а он, гля, крадется ко мне. На собачонку мою нацелился. Вот и торскнула из ружья.

— Это ты моего сняла. Ить я его видел за десять шагов. Не успел стрелить, ружье забыл зарядить. И все же не бабское это дело — за тиграми шастать. Но бог тебе судья,— ровно говорил Андрей, раскладывая добычу по полкам, чтобы быстрей растаяли зверьки.

— И не мужское это дело добывать мелкоту. Добывала, скукотна мне такая охота. А тут идешь — и душа млеет. Я ли его сшибу, он ли меня жамкнет. А как ссадишь, то и пойдет колесухой. Да с рыком, да с воем, мороз по коже.

— Обленился я ходить за тиграми, ни зимовья тебе, ни пристанища. А тут все под боком. Вот и занимаюсь бабской охотой,— усмехнулся Андрей.

— У каждого своя планида. Банешку я растопила, помыться у тя хочу. Не выгонишь?

— С каких это пор охотник охотника гнал бы от себя? Ночуй, места хватит. Сейчас кабашка разделаю, сгоношим едому. А тигра-то прибрала?

— Пока только шкуру сдернула. Кости и мясо завтра приберу.

— Задубеет от мороза.

— В бане оттаю. Притомилась я дюже. А ты кабашка-то тоже брось, не возись, я дорогой взяла поросенка, хлебова уже заварила. Завтра все и угоим.

— А завтра воскресенье.

— Для охотника нет воскресений.

— Скажи правду, ты ненароком сюда завернула?

— А может быть, и нароком... Кто мне указчик? Позвало сердце, вот и пошла.

— Эх, Софка, Софка... Чего ты мне силки-то ставишь? Заловить хочешь? А может, я давно в тех силках? Может, только тебя и жду?

— Ждешь, знаю... Чем дольше жданка, тем милее встреча. Не бранись. Будя нам ходить по-за поскотиной... Никто не знает, какой кого гром убьет...

После бани Софка, разливая спирт, тихо говорила:

— Быдто снова с тобой в Перми... Все ить видится, словно вчера все случилось.

— Ладно, не гуди. Зря ты ходишь на тигров-то. Убьют ить.

— А теперича мне все равно!.. Бежала к тебе, увидела зимовье — сердце ажно захолонуло. Думала, прогонишь.

— Помолчи, Софка. Дай подумать. Я ить давно хотел убежать к тебе. Обрыдло жить и быть ничьим. Да страховато, ить семья... Откель у тебя такой шрамина на руке?

— Медведь ранил, плохо стрелила. Зажило, как на собаке. Намедни чуть медведица не порешила. Шла, да оступилась в берлогу. Она хвать меня за голенище унта. Обернулась, рядом пастище. Добыла.

— Бедова ты баба, задавят тебя звери.

— Не задавят, ежли буду с тобой... Станешь жить со мной аль тайком будем любиться?

— Погоди, не толкай в шею.

— Праведник ты, Андрей. Из двух половинок твоя душа. В Перми убежал, с моря убежал, но сейчас-то ты от меня не

убежишь. Боишься душу запоганить? А разве не поганишь ты ее, когда с нелюбой живешь?

— Хватит, больно ты говорлива стала! — оборвал Андрей.

— Станешь говорливой, ежли каждую ночь в нудьге и раздумье. Лежишь у костра и звезды считаешь. Такое зло возьмет на свою одинокость, что хоть вой волчицей. Ден десяток назад я ить чуть не убила Ларьку. Шел он гривкой, а я понизу. Выцелила его в лопатки, но рука не смогла спустить курок.

— Зачем же убивать? Ты его не любила, он тебя тоже...

— И ты не любишь, и тебя не любят, а ить живете...

— Потому и живем, что семя свое надо растить.

— То так. Нас же с Ларькой ничто не держало.

Тихо подвывал ветер в пазах, гудела печурка, потрескивали за стенами деревья от мороза, о чем-то печалились звезды. От Софкиных волос пахло тайгой, свежими травами. Андрей зарывался в них лицом, пересыпал в руках.

— Так вот и промаялись большую половину жизни вдали друг от друга. А живем однова. Может, хватит маяться-то? А?

— Душа к тому тянется, душа того хочет, а разум противится. Да, душа. Никто ту душу не видел, а ить болит она. Ефим всю жизнь маялся, да так и не познал души своей, счастья не изведал. Греешь ты меня, Софка, но ведь никто не захочет понять, что не в грех впали мы, а всего лишь заново обрели друг друга. Эко жить сложно и тяжко. Бесчестными назовут.

— Бесчестье — это когда без любви, когда во блуде. Ить все видела я, как ты бился подранком и не знал, к какому берегу пристать. А теперь не нудись. Не грех это.

— А ты томилась по мне?

— Мало томилась, так на луну выла. Даже хотелось ее достать и разгрызть, как ледяшку... Так тяжко было.

Звезды, звезды, даль неоглядная. Луна-бродяжка, и смотрят на тебя люди, души свои раскрывают. А ты молчишь, ничем им помочь не можешь... Уснул ветер за стенами зимовья. От лунного света сопки стали еще строже, емче, тоже, насупленные, молчат...

24

И вольно в тайге, и опасно в тайге. Но тайга кормит, тайга одевает. Без тайги поселенцы давно бы захирели. Всем понятно, что одной землей здесь не прокормишься: мало того, что каждый клочок земли надо отвоевывать у тайги, так еще частые наводнения губят пашни. Поэтому-то и уходят на промысел все, кто может держать ружье, ходить по крутым сопкам.

Вот и Марфа с Митяем тоже в тайге. Давно они стали знатными охотниками. Бьют тигров, медведей, рысей, барсов. Стрелять умеют. У них также есть свое охотничье угодье, где построены зимовье, ловушки, расставлены капканы...

И случился в их жизни страшный день. Все вышло враз, вдруг. Митяй и Марфа шли по следу тигра. Тигр был старый, не подпускал на выстрел, уводил их к Сихотэ-Алинскому перевалу. Иногда делал петли, чтобы зайти в затылок охотникам, но собачонка Мушка своим заливистым лаем выдавала замыслы зверя. Уходил, гак и не сделав смертельного прыжка. Митяй шел впереди. Марфа уже дважды просила бросить след и возвращаться в зимовье, но Митяй не соглашался, отвечал:

— Вона за той сопочкой мы его хлопнем. Видит бог — хлопнем.

Вдруг он запнулся и ухнул головой в медвежью берлогу. Разбудил старого космача. Вскочил, а тут слетели с носа очки. Упал на четвереньки и начал шарить по снегу руками. Взревел медведь и навалился на Митяя. Марфа не успела выстрелить. Рев и истошный крик человека смешались. Зверь хватил Митяя страшными клычинами за тонкую шею. Митяй сунулся в снег и замер. Марфа взмахнула ружьем, как дубиной, и раскроила череп зверя надвое. Он тоже сунулся в снег. Выхватила Митяя из снега...

Марфа несла Митяя, прижав к груди, как ребенка. Дышала ему в лицо жарким паром, будто хотела отогреть остывающее тело. Но Митяй становился все холоднее и холоднее. Марфа спешила к людям, чтобы в диком плаче излить свое горе...

Сколько шла Марфа по тайге, не помнит, но, когда вышла на санную дорогу, в небе уже дрожали звезды.

К утру пришла в деревню. Положила тело на крыльцо. Сбежались люди. Тихо сказала:

— Вот и нет нашего Митяя... Не раз он хотел уйти от меня! Ушел. Ушел... Хороните его, люди! У меня силов нет.

Пока соборовали Митяя, затем читали псалтырь, Марфа все это время в тупом оцепенении сидела в стороне и о чем-то думала. У гроба дети, внуки. Всяк живет сам по себе, только вот беда собрала их. Прервала Пятышина, который читал псалтырь, спросила:

— А как на том свете — поди, все вместях будем? А?

— Все, милая Марфа, все,— ответил Пятышин.

— Ну и добре.

Марфа спокойно поднялась и вышла на улицу. Дул ночной ветер, злой, колючий, в небе гомонились тучки. Марфа зашла

в амбар, взяла новое ружье, долго и тщательно заряжала, плотно приколачивала пыж деревянным шомполом...

Глухой выстрел разбудил деревню. Захлопали двери, замерцали фонари. Марфа лежала посреди двора и не мигая смотрела на звезды. Душа ее спешила догнать Митяеву душу. За свою душу она не беспокоилась, как бы кто на том свете не обидел Митяеву.

Иван Воров стянул с лысеющей головы шапку, рванул поредевшую бороду, с отчаянием выругался:

— Жизнь, распроязви ее мать!

— Не лайся над усопшей-то! — оборвала Харитинья.

— Как хоронить-то будем? Как самоубивцу аль обычно? — спросил Пятышин.

— Как христианку... Похороним в одной могиле с Митяем. Эко, не перенесла Митяевой смерти,— сказала Меланья, заголосила и запричитала. И Феодосия вспомнила, и даже то, что не смогла она вот так же пойти за ним...

И многие не знали, охотясь в дальних зимовьях, что еще двух бедолаг не стало на свете, что еще два кряжистых креста поднялись на сопке. Еще два человека нашли приют в земле обетованной.

Смерть, как и рождение,— дело обычное. Разошлись люди по зимовьям, чтобы промышлять зверя. Тем и живет человек, что всегда думает, мол, не его порвет медведь, не его съест тигр. Кого-то другого, но только не его.

И бредут люди по горам Тигровым, и живут люди мечтой и надеждой...

25

Только Ларион Мякинин бросил промышлять зверя. Купцом-коробейником заделался. Он ходит от зимовья к зимовью, от чума к чуму, продает табак, чай, сахар, разную мелочевку, но глаза его все ощупывают, все осматривают. Рысьи глаза. Злые глаза. Настороженные. Не любят люди Лариона, хотя за что не любить-то. Даже ханжу приносит. Да и не дорого берет. Но людское чутье подсказывает: не с добрыми намерениями ходит Ларион, что-то ищет, что-то хочет выведать. Но что?

— Чего ты бродишь возле наших чумов, как голодный волк? — в упор спросил Алексей Тинфур.— Разве ты от такой торговли станешь богатым? Добывал бы соболей, колонков, тигров. Уж не росомаха ли ты?

— Точно, росомаха, — поддержал друга Аниска. — Чего ищешь? Так и чешется рука пустить тебе пулю в спину.

— Не шумите, я стал другим и никому зла не желаю... И разве принято у вашего народа спрашивать гостя, зачем он пришел?

— У нашего не принято, но принято у вашего. Я говорю языком вашего народа,— отрубил Алексей.

— А потом, нечего тебе делить нас с Алексеем. Шел бы ты прочь отсюда,— зло щурил глаза Аниска.— Ходит тут...

— Хожу,— знать, в этом есть радость.

— Может быть, и так,— усмехнулся Алексей.— Мой второй отец Иван Русский говорил, что есть такие люди, которым в радость ходить по земле, спать под дождем, снегом. Но те люди любили людей и свою землю. А ты ни землю, ни людей не любишь. Смотри не поймай стрелу в спину.

— За что же? Я никого не обидел, не обманул. Никому тропу не перешел. Ну было когда-то зло, все прошло.

— Я бы поверил, ежли бы такое сказал Андрей, Степан или еще кто-то из наших, но тебе нельзя верить. Пра, паря, ты что-то украсть хочешь?

— Я торгую.

Кое-кто пытался понять Лариона. На охоту он ленив. Меньше всех добывал зверя, даже тогда, когда он был рядом, теперь отошел дальше, вовсе, видно, лень далеко бегать. Но ничуть не лень ему носиться с этим коробом. Тоже непонятно. Потом, он богаче всех в Пермском. С чего разбогател? Фома оставил золото? Нет, все знали, что у Фомы золота уже не было. С этой мелочной торговли? Тоже не может того быть. Но как бы там ни было — у Лариона дом под цинковой крышей, на стенах дорогие китайские ковры, полы крашеные, сам одевается только в сукна в праздничные дни, баба и дети тоже чище всех одеты, и едят сытно.

И кружил, и кружил Ларион по тайге, редко заходил дважды в одно зимовье, ничего не выпытывал, а лишь смотрел, оценивал.

Ларион вернулся из тайги, вернулся радостный, чуть возбужденный. Зазвал в гости Ваську Силова, угостил конфетами, напоил чаем. Но о руднике пока ни слова, как бы не спугнуть птичку. Между прочим сказал:

— Твой отец-то бросил вас. С ним в зимовье Софка. Как теперича жить-то будете? Ить ты старшой в семье, на тебя все заботы лягут.

— Неправда ваша, дядя Ларион, тятька любит нас.

— А че мне врать-то? Может, вас и любит, а вот мамку нет.

Васька метнулся в дверь. Это не то чтобы его оглушило. Он уже давно приметил, что отец с матерью живут не так, как все:

молчат, сторонятся друг друга. Но в то же время заставило сжаться детское сердце. Он долго бродил по деревне, раздумывая, сказать или не сказать правду матери. Решил не таиться.

— Отец бросил нас. Живет в зимовье с Софкой. Видели их люди.

— Дело его,— как-то равнодушно ответила мать.— Не сладилась у нас с ним жисть. Пусть живет с другой. Знаю я Андрея, голодными вас не оставит.

— А если оставит?

— Ты уже большенький, Андрейка на крыло поднимается, там Митька подойдет... Проживем.

Ларион не унимался:

— Ты, Васятка, не бойся. Ты уже большой. Ежли бросит вас отец, а он бросит,— Софка-то была моей первой бабой, оставил я ее, как неродиху,— так мы вас не бросим. Ты ить мой племяш. А это большая родня. В беде не оставим. Галя, корми дорогого гостя! — шумел Ларион.— Хорошо корми, чтобы быстрее рос, мужал, а там мы вместе с ним будем ходить по тайге, торговать, деньгу наживать. Обойдемся без отца-перевертыша.

И так день за днем прикармливал мальчонку, называя его сиротой. Кажется, созрел племянник для серьезного разговора. Посадил его рядом, спросил:

— Вася, расскажи-ка мне, как вы хаживали в прошлом году в тайгу? И зачем? Ты хоть помнишь туда дорогу?

— Ходили мы в Кабанью падь. Анисим, Алексей и отец мой...

— Не зови его отцом, он бросил вас.

— Чтобыть при случае бежать туда, ежли отца будут ловить. Еще мы там смотрели старые печи, Алексей Тинфур рассказывал, что там, давно, будто плавили люди серебро. Показывал дыры в сопке. Я хотел забраться в одну дыру, но меня не пустили, мол, может придавить камнями.

— Мог бы ты показать мне туда дорогу?

— Хошь завтра. Идти и идти морем, а потом подняться до скал по речке. Там и серебро лежит.

— Добре. Если покажешь, где тот рудник, плюнем мы на твоего отца и заживем безбедно. Возьму тебя в пай. Будешь возить серебро. Согласен ли?

— Ага. А когда пойдем?

— Скажу. Только молчи, никому ни слова.

— Но дядя Тинфур тоже нас просил, чтобыть мы никому то место не показывали, мол, придут хорошие люди, тогда покажете.

— А разве я плохой человек?
— Нет, ты добрый.
— Тогда считай, что хорошие люди уже пришли. По рукам, и молчок. Пока в торговлю тебя не беру, могут худое заподозрить, живи и жди.

Пристав Харченко метался по тайге с маленьким отрядом казаков. Рушил лудевы, эти страшные орудия лова, ямы, в которые падали звери и умирали медленной смертью. Таких лудев уже были тысячи. Заставлял самих же хозяев засыпать их. А разбой шел во всех уголках тайги. Но тайга велика, а пристав один.

26

Вернулся Андрей Силов с охоты. Снял тяжелую ношу с плеч. Долго вытирал грязь с ичигов. Дети видели его, но никто не бросился ему навстречу. Не закричали дети, как это было раньше: «Тятя пришел!» Вошел в дом. В доме гробовая тишина. Поздоровался, но на приветствие никто не ответил. Дети смотрели на отца волчатами. Стало больно в груди, враз обвисли плечи. Варя оторвалась от печи, тихо спросила:
— Пошто не ушел туда? Не виноватю тебя, сама во всем виновата. Пойду затоплю баню. А ты разболокайся пока... На детей не таи обиды, им многого не понять.
Андрей сел на лавку и задумался. Что сказать детям? Оправдываться? А в чем? Сказать, что во всем виновата мать? Что она его не любит? Что последние годы для них обоих была жизнь в тягость? Софка пришла и отвела ту тягость. А так ли уж отвела? Если отвела, то почему сразу не ушел с ней? Кувшин разбит — не склеить. А не ушел, потому что не смог оторваться от детей. Они его, они ему были и будут дороги.
Господи, как это все сказать им!
— Ты плохой тятька,— зло пробурчал Андрейка.— Мы тебя не любим. Ты обманул маму. Уходи от нас.
От каждого слова Андрей вздрагивал, напрягался.
— Мы все тебя не любим! — закричали девчушки с полатей.— Ты плохой, ты злой.
Андрей откинулся к стенке, сжался в тугой комок. Вот она, расплата за обретенное счастье. Так просто, так легко отказались от него дети. Поднялся, обвел избу отсутствующим взглядом и медленно пошел к двери. Ждал, что кто-то его окликнет, позовет. Но все молчали. Молчала и Варя, она стояла у бани с поленом в руке и пристально смотрела в спину Андрея.

Навстречу Иван Воров. Обнял Андрея, спросил:

— Ты что как в воду опущенный? Родные дети отвергли отца? Знакомо. Видывал. Варька отвергла, а уж потом дети. Минет срок, и разберутся дети. Пристав тебя кличет. Чтой-то хочет сказать.

— Снова разговор о каторге? Сейчас-то уж я пойду. Надоело жить!

— Не дури, Митяй и Марфа почили в бозе. Ты следом за ними?

Иван коротко рассказал про беду. Андрей вздохнул и сказал:

— Смеялись мы над их нескладной любовью-то. А ить она была настоящая. Поди брось пушнину в дом, все детям. А нам с Софкой и того пая хватит.

Андрей оседлал коня, тронул его по дороге в Ольгу. Ехал не спеша. А куда спешить? Рванул ворот рубахи, застонал. Чего говорить: жизнь прошла, стоит ли за нее цепляться? А Софка, разве с ней нельзя начать новую жизнь? Людям не скажешь, что накипело на душе. Понимает его только Варя, сама испытала всю тягость такой жизни. Дети всегда будут на стороне матери, потому они прощены за такой прием. Да другого не могло и быть, изменил семье, чего же хуже!

Харченко обнял Андрея. Крикнул казаку, чтобы нес водку, надо угостить верного друга. Выпили.

— Вот, Андрей, снова пришла бумага, чтобы я арестовал тебя и препроводил во Владивосток. Что делать?

— Арестовать! — даже обрадовался Андрей.— Молю тя Христом-богом, арестуй! Дай еще глотнуть чуток, зажгло под сердцем.

— За что арестовать-то? Ить по воле случая попал ты на каторгу. Не могу арестовать тебя. Сто раз писал, что ты много делаешь для этого края, для России. Не внемлют голосу разума.

— А я говорю, арестуй — и вся недолга. Не арестуешь, то сам сяду на пароход аль парусник и сдамся властям.

— Это работа Лариона. Ларион зол на тебя за многое. Вот Лариона я и арестую. Он недавно ушел в Кабанью падь, чтобы добывать там серебро. Повел ту банду твой сын Васька. Подлишка твой сын! Не в отца. Мало ты его бил, наверное?

— Совсем не бил, потому и страха он передо мной не имеет.

— Поезжай домой, не трону я тебя.

— У причала пароход, когда он уходит в город?

— Завтра поутру, как разгрузится.

— Давай мне ту бумагу, поеду сам во Владивосток и все,

как было, как есть, обскажу властям. Не могу больше жить под страхом ареста, с клеймом каторжника.

— Решай сам. Здесь уж я неволить тебя не могу.

— Решил, решил, потому как нет за мной вины, виноватым сделали злые люди. Но неужли там не поймут, что при случае живота своего не пожалею, ежли над нами нависнет беда? Тогда не знаю.

— Могут и понять, а могут и нет. Поезжай, так будет вернее.

Харченко что-то долго писал, запечатал пакет, сказал:

— Побудь дома, а утром тронешься в город. Выпьем за благополучный исход дела. Аминь!

Софка молча выслушала Андрея, припала к его груди, запричитала:

— Не ходи, закуют в кандалы, сгинешь...

— Молчи. Так надо, так будет лучше. Много ждала, еще немного подождешь.

Пароход уходил. На причале одиноко стояла Софка, прижав к губам кончик платка. Ветер надувал колоколом ее сарафан, будто хотел унести в сопки. Там жить чище, там крепость надежнее. Зря Андрей добровольно пошел сдаваться. Бывший каторжник, чего же еще надо. В кандалы и на каторгу.

Пароход шел мимо скал, пугая басовитым гудком чаек, застывших на скалах горалов, пугливых пятнистых оленей. Шел, а по земле шла весна. Робкая зелень обозначилась на сопках. Ветерок доносил с берега земные запахи, тревожил. Мимо шли такие же пароходы, парусники, салютуя друг другу флагами...

Безвестного пассажира обходили матросы, не заговаривали с ним. Молчал и Андрей. Прошел день, ночь, а утром пароход вошел в Амурский залив, затем втянулся в бухту Золотой Рог, пришвартовался к причалу. Андрей спросил матроса:

— Где мне найти губернское управление?

— А вона каменный дом, туда и чапай.

Андрей сошел на берег. Поднялся на взлобок, посмотрел на бухту. На ее глади дремали парусники, густо дымили пароходы под флагами многих государств. Сновали шлюпки. На берегу вереница складов. От них то и дело отъезжали ломовики, что-то привозили, что-то увозили. Вышел на улицу Светланскую, по ней катились кареты, погрохатывая по мостовой коваными колесами; пообочь шли пешеходы: русские, китайцы, корейцы, японцы,— разноязычный говор, разнообразная одежда. Огромные магазины, торговые дома, лавки, лавчонки, цирульни. Все зовут,

приглашают: подстричься, поесть, отдохнуть с молоденькой мадам. Плати деньги — все будет.

Андрей крутил головой, удивлялся, ворчал:

— М-да, далеко нашей Ольге до этого города. Эко развернулись! Голова кругом. Вот те и Россия-матушка!

В губернском управлении ничуть не удивились приходу беглого каторжника, который хочет сдаться на милость властей. Не бросились тотчас же заковывать его в кандалы. Нет. Жандарм провел Андрея в кабинет губернского исправника, который молча показал на стул, продолжая рыться в бумагах.

Андрей Силов подал пакет от Харченко. Штабс-капитан, уже седой, чуть сутуловатый старик, внимательно прочитал послание ольгинского пристава, из-под очков посмотрел на Андрея, усмехнулся. Начал рыться в железном сейфе, искал дело Андрея Силова. Нашел. Это была пухлая папка. Прочитал:

— «Андрей Феодосьевич Силов, беглый каторжник, осужденный на десять лет за убийство раскольника Исайи. Живущий под видом крестьянина в Ольгинском уезде, Пермской волости, в деревне Пермская». Так.

-- Доподлинно так. Но меня никто не судил, просто отправили на каторгу, и вся недолга.

— Судили, здесь есть и постановление суда Омской губернии. Это дело мне хорошо знакомо, потому что у нас здесь беглых раз-два, и обчелся, тем паче бунтарей, все заняты работой. А ты разбойник и бунтарь. От ваших же людей идут и идут письма: мол, ты хунхузишь, убиваешь на тропах людей, а Харченко тебя покрывает, потому что сам хунхуз...

— Это Харченко-то хунхуз! — приподнялся Андрей.

— Сиди, сиди, я говорю о том, что нам пишут. А теперь садись-ка рядком да поговорим ладком. А? Ты расскажи, как на духу, о себе. Убивал ли ты Исайю? Как бежал с каторги? А?

Андрей начал свое повествование. Жандармский исправник торопливо записывал, хмыкал, крутил усы, иногда пристально смотрел Силову в глаза: не врет. Видит бог — не врет!

Андрей рассказал про пермяцкий бунт. Про суд, порки и ссылку в Сибирь. Рассказывал все, как было. А к исправнику шли, то бумагу подписать, то что-то спросить. Заходили и оставались послушать хожалого человека. Скоро в кабинете стало тесно. Бросил писать штабс-капитан... Каторга... Побег... Амур... Первая деревня на берегу Амура. Все это явственно вставало перед глазами слушателей. Невельской, строительство крепости. Голод, холод, а крепость росла, назло всем врагам росла, замыкала вход в Амур. Вторая деревня на берегу уже Тихого океана. Нашествие зверей. Пиратов.

Уже давно миновал час обеда, скоро и солнце припадет к низким сопкам, а Андрей все рассказывал и рассказывал. Замолчал. Кто-то громко сказал:

— Таким людям нельзя не верить. Он правду говорит.

— Ты, прапорщик, помолчи, нам знать, кому верить, а кому не верить. Иди, Силов, устраивайся на ночлег. Завтра снова приходи. Не убежишь?

— Не убегу, ежли вы так же справедливы, как Харченко, то можно спать спокойно.

Андрей ушел.

— Вот так-то, господа офицеры. Не зря его Харченко отстаивает. Такие люди еще пригодятся нам.

Силову не спалось. Долго ворочался на жесткой кровати постоялого двора, страшился каторги. Может быть, убежать? Раз ему поверили, зачем же сеять неверие? Чуть свет уже был на ногах. Мягко шелестят ичиги по каменным плитам, булыжникам, ходит Андрей перед парадным подъездом губернского управления. К подъезду подкатывают тройки, запряженные в дорогие кареты, на легких дрожках. Заходят, выходят, и никому нет дела до этого человека.

Но вот легла рука на плечо, жандарм сказал:

— Гражданин Силов, вас просят!

Ударила слабость в ноги, холодно стало под сердцем... Круты ступеньки, тяжек шаг. Тот же кабинет, тот же штабс-капитан. Знакомый кивок, приглашающий сесть.

— Ну вот что, Силов, поезжай домой, чтобы зря тебе не томиться здесь, твое дело мы рассмотрим в суде, бумаги пошлем Харченко. Я верю в добрый исход. Мне лично понятно, кто и по каким причинам столь много клевещет на тебя. Ты сделал здесь больше, чем сделал бы на каторге. Генерал-губернатор приказал рассмотреть твое дело и снять с тебя обвинение. Стряпня это, а не дело. Поезжай. Сегодня к вам идет транспорт, я дал команду подвезти тебя. Ну, прощай!

Вернулся Андрей домой окрыленный. Одна тяжесть свалилась с плеч. Но вторая, как потеря семьи, останется навсегда. Хотя Софка, как умела, отвлекала Андрея от грустных мыслей. Но...

27

Харченко не меньше других обрадовался возвращению друга. Кричал:

— Дурак я, дурак, надо было сразу раскрутить твое дело. Давай выпьем за встречу, за снятую с тебя вину!

— Снята ли? Пусть дело давнее, но могут иначе раскрутить. Я проговорился, что со мной бежал Сурин, он погиб, это точно, но думается мне, что он убил Евдокима, который помог нам бежать, но тут же образовал за нами погоню. Не пришили бы мне Евдокима. Ить им-то можно было нас убивать, а мы не моги.

— Ладно, пей, скажи ты об этом раньше, упредил бы тебя, все сошло бы. М-да. Авось обойдется, черт не выдаст, то бог не съест.

Андрей не спеша шел по тропе, которая петляла по речке. Это было его излюбленное место пантовки. Здесь есть солонцы, пока не было фанз, а значит, и нет лудев. Поэтому думал легко добыть одного, двух пантачей и тут же вернуться домой.

Речка бурная и порожистая. Поэтому и тайга здесь еще не тронута, не сплавишь лес по такой реке, а зимой она не замерзает. Здесь дубы, ясени, клены перемешались с кедрами. Зверь любит такие места, охотно держится разнолесья.

Уже в сумерках Андрей добрался до Иван-скалы, здесь будто любил отдыхать бродяга Иван Русский. Сопки еще кучней надвинулись друг на друга. Щерили свои серые зубы скалы. Дикое место.

Затабунились тучки, заморочало. Андрей содрал с ели корину, соорудил навесик на случай дождя. Нарвал папоротника. Натаскал дров на костер. Все-таки в тайге ночи свежие, да и при костре спать веселее. Но тучи прошли. Вызвездило. А к утру сорвалась гроза. Она больше часа буйствовала над тайгой, секла молниями Иван-скалу, рыкала громами. Речка враз вздулась, еще сильнее загремела на порогах. Андрей сидел под навесиком, пережидал грозу.

Гроза ушла. Стало еще свежее. Андрей расшуровал костер. Кто-то метнулся от огня, прогремел на косе галькой. Шумно перебрел речку и ушел в скалы. Ухнул напоследок филин.

Рассвет лениво открывал глаза. Затренькали пичуги, запели, голосистые. Тонкий окоем появился над сопками, розовый, нежный. Окоем ширился и рос. День не удержать. Ломтик солнца высунулся из-за сопки. Веселый, задорный. От этого даже Сихотэ-Алинь чуть расправил спину. Потянулся в неге, лапы под себя подобрал, будто прыгнуть на кого-то задумал. Все стало враз близким и знакомым. Ведь ночь приносит угрюмость и таинственность. День все это снимает, как светлая улыбка обиду с лица.

Лучи солнца засияли, заискрились в росинках, зарадужились на перекатах, пронзили темный лес, поскакали по склонам

крутых сопок. Смяли туманы, расчесали после грозы чубатые дубки, пошептались с осинками, русоволосыми ивами, заглянули в распадок и унеслись дальше.

Андрей заварил чай. Напился. Посмотрел на скалу, которую секли молнии, и чуть подался назад: из-под карниза лился багряный луч, его отражал камень-самоцвет.

Андрею вспомнился рассказ бродяги о каменном поясе земли: «И разгневалась земля от неправедности, поднатужилась и порвала на чресле своем дорогущий пояс, в злобности разметала его по всем уголкам. Урал потому и зовется Каменным поясом, что им была опоясана наша земля. Теперича от того пояса остались обрывки, и ня боле».

Свет излучал свежий излом скалы. Туда ударила молния и отвалила большую глыбу.

Вспомнились сказы про камни-самоцветы, которые любили рассказывать старики на Урале. Здесь же об этом не говорили. Может быть, нет камней-самоцветов. Нет, а вот, кажется, один есть. Правда, Алексей Тинфур рассказывал, что однажды видел глаз Дракона. Будто это дух подземелья выглянул из камней, чтобы посмотреть, как живут люди на его земле.

Андрей вспомнил обет, который дал род Силовых после гибели прадеда, что никто и никогда не будет искать, собирать камней-самоцветов, золота, серебра. Но как пройти мимо такой дивной красоты? А вдруг это дорогой камень, тогда Андрей легко поправит свои дела.

«Берегись глаза Дракона! На кого он посмотрит, того ждут большие беды. Духи подземелья не любят людей», — предупреждал Тинфур.

— Чепуха,— проговорил Андрей.— Надо глянуть...

Андрей оставил на таборе ружье, котомку, перебрел речку и полез на скалу. Добрался по россыпи камней до карнизика, начал подниматься вверх. Глаз Дракона все так же горел под солнцем. Еще немного, и Андрей доберется до него. Глянул вниз. Закружилась голова. Руки суетливо начали искать расщелину. Нашел, но камень под рукой качнулся, подался, ударил в грудь Андрея, загремел под скалу. Андрей потерял равновесие, начал заваливаться на спину. Сейчас упадет. Не растерялся, спрыгнул с карнизика и заскользил по боку скалы, цепляясь за расщелины. Камни рвали одежду, царапали кожу, обдирали пальцы. Прокатился по россыпи, что языком сползла к речке, сильно ударился головой о камень, сыпанули искры из глаз. Затем стало темно. Темно и невесомо...

Очнулся Андрей, когда усталое солнце тронуло сопки. Не сразу осознал, что с ним и где он. Черное солнце, черное небо,

черные скалы. И все это качается, качается, качается, как огромный маятник. Прорвался грохот речки, будто кто дверь открыл. И еще долго, бесконечно долго силился вспомнить: где он? За речкой увидел шалашик, ружье, котомку. Почему ружье там, а он здесь? Куда он шел? Зачем шел? Посмотрел на скалу и все вспомнил. Глаз Дракона! Падение! Рванулся, но острая боль в спине бросила его на камни. Застонал. Пошевелил рукой, второй — работают. Хотел пошевелить ногами, но они были чужие.

Затаился, долго лежал без движения. Даже без дум. Не метался. Понял, что это смерть! Пришла, не отгонишь! Кого же родит Софка? Снова останется одна. Вспыхнул лучик и тут же погас. А Варя, она даже рада, что ушел Андрей. На людях говорила, мол, спокойнее стало и ему и мне. Чего маять друг друга? Каждый день, мол, был пыткой. Посмотрел на речку. Если бы кто завернул сюда, может быть, и спас бы. Но сюда редко кто ходит. А потом, кому он нужен — калеченый? Нарушил обет отцов — наказан. Не поверил Тинфуру, что опасно видеть глаз Дракона, а он хотел его вырвать,— получил свое.

«Никто и никогда не трогал глаз Дракона. Все люди, как увидят его, бегут далеко, за сто сопок», — наплывали слова Тинфура.

Посмотрел на руки. Они были похожи на кровавое месиво: ладони в страшных ранах, с пальцев содрана мякоть до костей. Боль в теле. Застонал. И не столько от боли, а оттого, что умирать не хотелось. Закрыл глаза...

Падали сумерки. Андрей посмотрел на полоску заката, заметался. Еще сильнее жить захотелось. Надо что-то делать! А что, когда от боли повернуться нельзя? Под чьими-то лапами прошуршала листва, мягко и вкрадчиво. Добраться бы до шалашика, к ружью, тогда, может быть, и выжил бы? Но как? Отнялись ноги, болят руки. Все болит. К ружью, к шалашу, к дровам.

— Господи, помоги!

Из орешника показалась тигриная морда. Зверь тихо рыкнул, будто спросил: «Еще жив?» Андрей схватил камень, забыв и о боли, приготовился к защите. Усмехнулся, бросил камень. С камнем против тигра! Смешно.

Тигр фыркнул, прошуршал старой листвой, ушел в сопку. Вышел на взлобок, посмотрел на распластанного человека, нервная дрожь прошла по охристой коже, по ярким черным полосам, шевельнулся гибкий хвостище.

— Иди, иди отсюда! — закричал Андрей.

Зверь ушел. Андрей проводил его глазами. Собрался с силами, перевернулся на живот и пополз к берегу. Пить хотелось. Боль. Стон. Искры из глаз. Но все же добрался до воды. Долго и жадно пил. Затем обмыл руки. Порвал зубами подол рубахи, обвязал их. Отполз на песок, лег на бок и стал ждать смерть!

Рокот реки, гул тайги — тишина. Но вот в эту тишину ворвался чистый и мелодичный, как стон, как плач — зов, голос квонгульчи. Маленькой птицы совки. Андрей и раньше слышал эти зовущие крики, но как-то они не трогали его. Кричит, ну и пусть себе кричит. Но сейчас он тот же крик услышал по-другому. Зов услышал. К жизни потянулся.

— Квон-гу-гуль! Квон-гу-гуль! Квон-гу-гуль! — стонала ошейниковая сова, слала свой стон таежному безмолвию. Глушила рокот реки, гул тайги, шепот звезд и стон человека.

Андрей слышал от Алексея предание, что таежные люди считают эту птицу добрым духом ночи. Она будто стережет корни женьшеня, показывает его хорошим людям, помогает найти дорогу тем, кто заплутал в тайге, в ночи.

— Квон-гу-гуль! Квон-гу-гуль! — стонала совка-плакальщица.— Брат-братко! Брат-братко! — звала утерянного брата.

Андрей и Алексей в прошлом году были на пантовке, во тьме тоже так кричала эта птица. Тинфур, сидя у костра, помешивая палочкой в золе, тихо рассказывал легенду об этой птице:

— Это не просто птица, а это птица-девушка... Мало кто ее видел, но голос ее слышали все. Редко у кого не дрогнет душа, не заболит сердце, не вспомнится тут же любимая...

Это было очень давно. Жил в нашем племени великий охотник Квонгуил. Это был сильный, красивый и добрый человек. Недаром в нашем народе говорят: «Скажи, кто ты, а я скажу, какими будут твои дети». У Квонгуила родились дочь и сын. Отец передал сыну все, что сам умел, мать передала дочери свое мастерство. Ведь жизнь так коротка, что всегда надо успевать делать то, что можно сделать сейчас же, научить детей тому, что умел делать сам. Пришла черная оспа. Родители умерли. Эти двое остались сиротами. Но не пали духом, ведь они умели многое. Квон взял в руки отцовский лук и ушел на охоту. Гуила взяла в руки костяную иголку, которой шила мать, и начала шить.

Квон в первой же охоте добыл золоторогого оленя. Гуила сшила чудесную парку. Первый уронил честь великих охотников, вторая посрамила великих мастериц. Те и другие чуть не умерли от зависти. У Квона тысячи невест, у Гуилы столько же женихов. Молодые охотники подкараулили Квона на тропе

и убили. Девушки напали ночью на Гуилу, связали сонную и унесли в лес, бросили на съедение зверям.

На Гуилу набрел куты-мафа, в ярости забил хвостом по бокам, но тут же усмирился, красота Гуилы покорила его. Он порвал ремни, что связывали девушку, освободил девушку. Пошла Гуила по тайге, начала звать брата: «Брат-братко! Брат-братко!» Но тайга немо молчала. Звала день, ночь, еще день. Сжалилось солнце над Гуилой: когда начало уходить на ночлег, оно превратило Гуилу в ночную птицу, сказало: «Плачь в ночи, сторожи, когда меня нет, ночь, помогай уставшим людям, вселяй в них силу и бодрость. А если кто загрустит, то не пугайся, грусть — это начало добра...»

— Где же Алексей? Знай он о моей беде, то нашел бы, — простонал Андрей.— Если ты находишь след воровья на торной тропе, мой-то бы подавно нашел.

И верно, Алексей Тинфур мог видеть след там, где его не видел русский. Говорил:

— Я сам не знаю, как их вижу. Смотри, здесь три дня назад прошел кабан, листок перевернул копытом, смял травинку, но она уже поднялась. А вот заяц только что пробежал, тронул своими лапками-подушками травинку, она пригнулась...

Андрей натянул на голову зипун, пытался уснуть. Но мешали боли, ел поедом гнус.

За чащей раздался грозный рык. Шел медведь. Этот будет пострашнее тигра. Тот пришел и ушел, медведь не уйдет, ежли нацелился на добычу. Андрей тронул нож на поясе, усмехнулся. Будь он здоров, то и нож был бы оружием, а сейчас... Закрыл глаза, кажется задремал. Во сне кого-то звал, стонал. А медведь тихо потрескивал чащей, принюхивался, ждал чего-то...

Степан Воров затаился на лабазе. Ждал пантача. Вдали запотрескивали под копытами сучья. Шел зверь. Перед лабазом остановился. Долго слушал тревожную тишину, пытался отличить опасные звуки от неопасных. Ночь обманчива. Может быть, за выскорью затаился тигр, медведь ли, в развилке дерева распластался барс или рысь. На тропах к солонцам или водопоям много ждет опасностей, каждый не прочь полакомиться парным мясом. Копытные знают об этом, но идут. Идут потому, что их душат свищи, которые поселились в носу, под кожей, даже в голове. Только соль может убить свищей.

Степан посмотрел на ствол, там вместо мушки была подвязана белая тряпочка. Ждал. Нельзя было пошевелиться, зверь на подходе. Заметит движение и убежит. А если «облает» солонец, то другие звери не придут. Будут предупреждены об опас-

ности. Зверь смело вышел на солонец. Из-за туч выплыл ломтик месяца. Тень зверя упала на росистые травы. Вышел на полянку саек. Рожки-шилья, такого не стоит стрелять. Лучше подождать. Снова легкий треск. Вышла на солонец матка. Фыркнула на бычка, тот немного отступил. Дал место. Стали жадно лизать соленую глину вместе. Но вот, грохоча камнями, шел пантач-великан. Степан даже пригнулся. Такого упустить — жалость немалая. Пантач топнул копытом, фыркнул, и эти двое отскочили в стороны. Вытянули длинные шеи. Ждали.

Степан медленно поднимал ствол ружья. Начал целиться. Не успел нажать на спусковой крючок, как звери враз сорвались и легкими тенями скрылись за чащей.

Ночь... Купол небосвода развернулся. Звезды поменялись местами. Замолчала квонгульчи. Значит, скоро рассвет. Андрей с рассветом решил добраться до кострища. Вот снова вспыхнул глаз Дракона... Андрей пополз по косе. Ноги безжизненно волочились следом.

Невольно вспомнился случай с медведем. Да, он был похож, очень похож на того медведя. Андрей ранил зверя в позвоночник. У него отнялись задние ноги. Но зверь нашел в себе силы, чтобы с ревом броситься на человека. Он полз на передних лапах, рычал, зад волочился следом. Андрей зарядил «скороспелку», пятясь от медведя. Навел ствол. Медведь перестал реветь, только шумно сопел. Обмяк чуть. Понял, что пришла смерть. А глаза маленькие, красные от зла и боли, будто спрашивали: «За что же ты хочешь убить меня? За что? Изуродовал, а теперь убить? Ведь я уходил от тебя. Я не хотел тебя трогать. А ты?» Зарычал, закричал, как человек... Выстрел оборвал этот вопль...

Андрей дополз на локтях до тихого плеса. Поплыл. Его заносило вбок, потому что ноги болтались, тянули ко дну. Переплыл. Смерил расстояние до костра. Недалеко. Пополз. Дома. Ружье под руками. Теперь никто не страшен. Нашел кресало в котомке, добыл огонь. Ползая, собрал дрова, начал сушиться. Лихорадило. Огонь и солнце согрели человека, просушили на нем одежду. А когда Андрей разогрел остатки вчерашнего чая, напился, то и вовсе стало легче. Потянуло на сон. Забылся...

Медведь несколько раз прыгнул, но почему-то остановился, подставил бок для выстрела. Андрей выстрелил. Тяжелая пуля прошила широкую шею зверю, ломая кости позвоночника. Зверь сунулся мордой в листву, раза два дернулся и сдох. Андрей долго смотрел на зверя. Пополз к нему. Вспорол живот, негнущимися пальцами достал печень, вырезал несколько кусков

нутряного жира, вернулся к костру. Желчь вылил в котелок. Сало разложил на валежине. С трудом снял с себя рубашку, разрезал ее на полосы, смочил холстину в желчи и положил на раны. Скоро полегчало. Еще натопил в чашке сало, смазывал им ноги, царапины. Андрей не заметил, как уснул.

Проснулся, когда над сопками завис туман, осел белыми гривами на скалы. В забоке закричала квонгульчи. Значит, пришла ночь. Там, где лежал медведь, раздался шум и грызня. Это две рыси дрались около медведя. Андрей раздул угли, развел костер. Рыси, противно мяукая, вереща, пожирали мясо. Андрей их не боялся. Рысь зверь достаточно трусливый и только тогда бросается на человека, когда оказывается в безвыходном положении. Хотелось пить. Андрей сполз к речке, напился и принес котелок воды, чтобы вскипятить чаю, поесть. Впервые захотелось есть. А когда человек хочет есть, то жить будет, если звери не сожрут.

Снова сменил гнойные повязки, намочив их опять же в желчи, еще и налепил сало на раны.

— Квон-гу-гуль! Квон-гу-гуль! — будто кого-то звала совка, раздирая душу.

Рыси наелись и ушли. Их сменили шустрые колонки, тоже визгливые, жадные. Каждый старался вырвать кусок мяса из зубов противника.

— Эко дело, зверюшки и те не боятся костра и человека.

За сопкой провыли волки. Два голоса сплелись и осели в туманах. Это выли красные волки. Вот они провыли поближе. Скоро послышались крадущиеся шаги по мокрой листве, траве. Колонки сломя голову бросились прочь. Волки подходили осторожно. Сделают шаг — остановятся, другой — снова остановка.

Андрей взвел курок. Он знал повадки этих волков. Они чертями бросаются на человека, спасуй, то разорвут.

Костер притух. Андрей увидел тени волков. Они, небольшие, коротконогие, поджав уши, шли на него. Будто и не лежала перед ними туша медведя. Андрей плеснул воду на костер, совсем затушил. Огонь не поможет. Только пуля их может остановить. Эти мудрые звери, наверное, поняли, что человек в общем-то беспомощен.

— Ничего,— шептал Андрей,— одного собью пулей, второго прикончу ножом. Кажись, уже есть сила.

Андрей несколько раз уже встречался с красными волками. И ни разу не обходилось без того, чтобы они не бросились на охотника. Вот серых он еще в глаза не видел, вернее, видел, но те мелькнут серыми тенями и тут же пропадут с глаз.

Со стороны скалы рыкнул тигр. Затем послышался его кашель. Красные волки резко остановились. Потянули в себя воздух и тут же бросились назад.

Андрей не заметил, как он поджал под себя ногу, как сел, второй уперся в землю, чтобы выстрелить точнее. Волки ушли, но шел тигр. Обойдет ли он человека?..

А вдали, за туманом, звала брата и тосковала о нем квонгульчи. Андрей настороженно ждал тигра. Он слышал, как тот долго лакал воду, тихо порыкивая...

Тигр легко перемахнул речку. Андрей уже видел его при свете месяца. Взял на мушку. Но зверь постоял на косе, тихо пошел в верховья речки. Значит, этот не людоед. Просто ради любопытства подошел к человеку. Можно спать спокойно. Волки тоже не придут, если тигр оставил здесь свои следы.

Андрей тряхнул головой, не поверил себе, что он сидит. Боясь чего-то, тихонько пошевелил ногу. Жива! Вторую,— тоже работает. Правда, еще ныла спина да болели раны. Сильно болело ушибленное колено правой ноги. До этого боли в ногах он не чувствовал. Осторожно поднялся, сделал несколько шагов. Закричал:

— Господи, дык я ить хожу. Ну, теперича выживу, добреду домой.

Сходил за дровами, сильно прихрамывая. Развел костер, сварил чаю, лег и тут же уснул, крепко, без кошмарных сновидений.

Предутренний ветерок качнул тайгу, осыпая с ее листвы росистую капель. Она дробно застучала по старой листве, закатывалась в травы. Капли падали на лицо Андрею, но он закрылся зипуном, не хотел просыпаться. Тревоги и боли много отняли сил, теперь их возвращал живительный сон. Выспится, а утром похромает домой. Доберется, доковыляет...

Пришел апрель. А с ним пришла в тайгу оспа. Харченко спешно собрал сход, чтобы убедить мужиков, которые бы немедля ехали по стойбищам и спасали людей. Убеждать не пришлось. Охотники дружно выехали в стойбища, чтобы забрать к себе удэгейцев. Не помешало и распутье. Больных грели на печах, поили малиновым вареньем, липовым цветом. Многие из русских тоже заболели оспой. Но что делать? Спасая других, может погибнуть и сам спаситель.

Андрей и Тинфур приехали в стойбище Календзюги. Шаман

шаманил, а его дети, мать болели оспой. У Календзюги было десять красивых девочек, пять мальчиков. Да и у других семей рода Календзюги тоже было много детей. Девочек и женщин они отогревали на теплых канах, а мужчин выносили на мороз,— мол, охотники должны выгонять из себя болезни холодом. Они сильные люди, холод им не страшен.

Андрей, взбешенный, налетел на лекаря, влепил ему затрещину, закричал:

— Гадина, ты нарошно убиваешь мужиков!

— Мы своих так лечим.

— Тогда почему же они валяются на морозе? — надвинулся Алексей.— Отвечай! — выхватил нож.

— Моя так делай всегда. Эти люди здоровы.

— На мороз и к столбу всех здоровых,— приказал Андрей.— Больных в сани и к нам на печи.

И конечно, там, где не было русских, в оспу погибло больше половины удэгейцев, гольдов. Поредели стойбища...

Харченко послал отряд охотников за перевал, чтобы спасти аборигенов... Опоздали. Оспа пошла на убыль. Спасать уже было некого.

Заболел Тинфур, затем Андрей. Отлежались на печи. Андрей стал корявым. Софка, посмеиваясь, говорила:

— А ты мне коряренький-то больше по ндраву. Ей-пра!

Ходили упорные слухи, что пост Ольга скоро станет городом. Это и радовало охотников, и огорчало. Будет город, тогда и вовсе зверей не станет. Радовало, что при городе можно всегда и что угодно купить. Детей тогда будут сдавать на учебу. А то ведь дело-то с учебой не двигалось. Научит Роман Жданов читать псалтырь, деньги считать, и хватит. В тайгу, на охоту,— каждый должен что-то в дом нести.

В Ольгу приехал жандармский исправник. Не тот штабс-капитан, который так тепло принял Андрея Силова. А молодой, с пышными усами поручик.

После водки и чая заговорил:

— Константин Капитоныч, ответь мне честно, почему ты прикрываешь убийцу Силова? Мы несколько лет копались в его делах, добрались до сути. Убегая, он с Суриным убил человека.

— Не знаю. Знаю одно, что Андрей Феодосьевич Силов столь много сделал для России, что, право же, кого мне защищать, как не его.

— Вам предложена отставка. Я же прибыл взять под арест Андрея Силова, от вас получить заявление об отставке.

Аниска, который подавал на стол, подносил свечу, чтобы дорогой гость прикурил пахучую папиросу, перемигнулся с Харченко.

— Силов бунтарь против царя и отечества.

— Силов первый защитник царя и отечества,— стоял на своем Харченко.— Через таких, как Силов, крепка и сильна Россия. Без Силовых нас давно бы здесь смяли хунхузы. Они, Силовы, отстаивают эти берега. И не бунтуют они, а живут мирно землей и охотой, приумножая богатства России.

— Не будем много говорить. За мной едет новый пристав, а Силова прикажи казакам арестовать и привести сюда.

Аниска уже гнал коня в деревню. Кубарем скатился с седла, влетел в дом.

— Хлеб да соль!

— Едим, да свой, а ты рядом постой,— пошутил Андрей.

— Андрюха, не до шуток, приехал жандарм, шьет тебе убивство какого-то забайкальского казака, приказал тебя арестовать. Я все слышал. Собирайся — и в тайгу. Харченко дали по шапке, теперича он не пристав, паря.

— А может быть, не стоит бежать в тайгу-то? Сдамся властям, и баста? Дело-то давнее.

— Давнее аль нет, но Капитоныч приказал мне спрятать тебя. К давнему пришьют свежее, и загремишь на каторгу. Теперича уже загремишь. Это точно. Потом, я слышал, будто ты робил вместе с хунхузами, потому, мол, тебя и не было с нами.

— Но ведь все знают, что и как?

— Знают и отрекутся. Твоя сестрица десятую бумагу пишет, что не Ларька водил хунхузов, а ты, ты и убил Ларьку. Такое нагородят, что тыща прокураторов не разберутся. Собирайся — и в тайгу.

— Константину Капитонычу я верю. Ежли приказал уходить — ухожу.

Софка тоже поднялась из-за стола, сказала:

— Я с тобой. Парень уже большой, бабка присмотрит.

— Зачем же, одному легче будет скрываться.

— Я тоже с тобой,— сказал Тинфур. — Теперь вы для меня самые родные. Уведу вас в Кабанью падь, там нас никто не отыщет.

— А куда Иванку?

— Мама присмотрит. Ить не насовсем...

— Насовсем, Софка. Ежли Капитонычу дали отставку, то

насовсем. Новый-то как еще себя покажет. Не захочет через меня получать пинка, какой получил Капитоныч.

— Все одно у мамы оставим. Потом при случае заберем.

И снова бегство, снова неведомые тропы по тайге. Молодец Харченко, задержал казаков, успели спокойно собраться, завьючить двух коней и уйти в тайгу. Решили-таки уходить в Кабанью падь. Туда не добраться без проводника жандарму. Осядут в устье реки, будут жить, через Алексея и Аниску продавать пушнину, покупать необходимое для жизни.

Тогда была Варя, сейчас Софка.

Жандармский исправник влетел в Пермское, когда беглецы уже скрылись за второй сопкой. Сельчане даже не обратили внимания, куда и зачем они пошли. У каждого свои дела, у каждого свои тропы. Лишь старший сын Андрея, Васька, долго и вприщур смотрел в спину отцу. Тоже не знал, куда они торопятся. А когда казаки, по приказу жандарма, окружили дом, затем ворвались туда, опрокидывая стулья и стол, понял, в чем дело.

Догадалась и Варя, что и как. Перехватила злой взгляд сына, сказала:

— Василий, слышишь, тебе говорю, отец убежал в тайгу. Ежли ты его предашь, то прокляну тебя на веки вечные. Ежли ты поведешь казаков по его следам, то вот своими руками тебя задушу. Андрей не виноват, что вы остались одни, во всем виновата я.

— А ты не грози мне, мама. Я ить уже большой: баба есть, свой дом, — значит, у меня есть и свои думки. Как хочу, так и распоряжусь своей совестью. Ага. Потому дуй отселева и не путайся под ногами! — загремел Василий.

— Господи, это ты такое говоришь матери! Это пошто же я тебя грудью-то не задушила? А? — Бросилась в дом, упала на кровать и забилась в тугом плаче. Сын, родной сын такое сказанул матери! Сдернула с колышка винтовку, подержала в руках, повесила обратно.

А жандарм уже допрашивал сельчан. Но те пожимали плечами. Чаще отвечали:

— Тайга велика. Сыскать неможно. Следов-то там уйма, а который ихний, поди узнай.

— Он убил человека. Его надо найти! — гремел жандарм.

— У нас кто-то кого-то каждый день убивает. От хунхузов,

слава богу, едва открестились. А Силов ежли кого и убьет, то в дело. Без дела не тронет. Чистой души человек.

Ничего не добился, арестовал Варю и увел в Ольгу.

— А ее-то пошто, ить она уже не егошняя баба,— разводили сельчане руками.

— Знать, и к ней есть дело. Без дела не возьмут.

Варя, как всякая неискушенная в таких делах баба, все честно рассказала: и про Евдокима, и про побег, и про пистолет, который она купила у надсмотрщика. Чего таить, что было, то было.

— Но Андрей в убивстве не виноват. Ежли что, то виновата я. Я дала ему тот пистоль, а он передал Сурину.

— Этого и хватит, гражданка Силова, чтобы вас судить.

— За что, ить они шли нас убить? — крикнула Варя.

— Они государевы люди, а вы преступники, кому-то вас надо же ловить

— Ловить, но не убивать.

— А ежли вы убегаете, то как быть? Просить, чтобы остановились? Вот и ваш бывший муж сбежал, что с ним делать?

— Не знаю,— вконец запуталась Варя.— Но его вам не поймать. Живым не дастся. Кто побывал на каторге, тот туда больше не пойдет.

— Да, но он приходил к нам.

— Тогда ему было трудно. Ладу в жизни не было, вот и пошел. Сейчас он при жизни. Меня берите, а его не трогайте. Во всем, что было,— виновата одна я. Только я. И побег, и Сибирь, и каторга — все на моей совести. Даже тот проклятый дед Исайя. Я перешла ему тропинку и все сломала.

— Каяться будете потом, когда вместе сядете снова на скамью подсудимых. Тебя будут судить как сообщницу.

— Судите. Абы народ не осудил, вашего суда не боюсь,— выпрямилась Варя, гордая, зло сверкая глазами.— Непонимающие вы люди, чего же с вами говорить! А Андрея вам еще надо поймать!

Горел костерок. Андрей сидел на сутунке клена, рядом прилегла Софка. Запах трав пьянил. Алексей прилег за костром, так виднее, если кто вздумает подобраться к друзьям. Андрей ровно говорил:

— Вот ить как случается, живешь, радеешь за землю и люд и не знаешь, какая напасть вьется за твоей спиной. Пошел, во всем сознался, будто оправдали, снова за свое. Нет, кто один раз оступился, тому уже не встать на ноги. Так и будет ковылять, а следом вина невиноватая. Правильно сделали, что бежали, не побежи, то столько бы еще наскребли, что не открестить-

ся, не отмыться. Теперь можно на меня свалить, что было и что не было. Все мое...

Задумался, потеребил бороду, снова заговорил:

— Эко земля-то велика! А ладу-то на ней нету. Одно понял, когда промерял ее ногами, что не земля живет для человека, а человек для земли. И жил бы, ежли бы не теребили душу, не рвали тело... Как там наш Иванка?

Алексей до боли любил Иванку. Такой же белокурый, кудрявый, находчивый и шустрый. Ненавидят его братья по отцу. Василий уже не раз наводил ружье на мать и Иванку. Да трусил выстрелить. Про каторгу много наслышался.

— Чует мое сердце, что здесь растет жестковатое племя. Ожесточатся люди, то манзы жить не дают, то хунхузы, то еще какая-то нечисть. Может, оно и к лучшему: не охляют, не захиреют.

— Ваши не захиреют, а наши все погибнут,— сказал за костром Тинфур.— Вы будете жить, а мы погибнем.

— Заладил: «погибнем, погибнем», будто мы не защищаем вас. Помогаем, сколько силов есть. Я бы на месте ваших властей тех, кто выращивает мак и собирает опий, всех бы приговаривал к смерти. Ваших людей сгубит опий.

— И манзы, и опий.

— Морочает, как бы дождь не пошел. Давай сгоношим шалашик, пока еще не стемнело. У меня на дождь дюже болит спина.

По тропе раздались шаги. Шли двое, шли скорым шагом. Остановились, начали подкрадываться.

Беглецы схватились за ружья.

— Эй, кто вы? — спросил неизвестный.

— Люди, подходите, ежли нет злого умысла.

— Убери, Исак, ружье, русские.

К костру шагнули два бородача. Андрей пристально посмотрел на коренастого мужика. Тихо спросил:

— Уж не Степан ли ты Бережнов? Что-то сходное есть в обличье. Не ты ли меня провожал до тракту?

— Многих обиженных я провожал, привечал, а кончилось тем, что нас предали. Окружили наш скит жандармы, был бой. Ладно мы там наколотили вражин. Сожгли скит и в бега. Дело привычное. Енисей, Даурия, а уж потом сюда. Живем второй год в тиши да райском песнопении. До рая-то далеконько, но жить можно. А все началось с того, что забрел к нам однова мужик с бабой, порассказал нам про Беловодское царство, мечту заронил, сам сгинул, его наш предал, а мы двинули по его думке, по его следам.

— Степан, аль не признаешь меня? Ить я и есть тот мужик.

— Исайю знал?

— Он зашиб мою бабу камнем, а я по запарке его зарезал.

— Тогда ты и есть. Андрей Силов, ежли память не продырявилась?

— Он самый.

— Рад встрече. Знать, выжил? Дважды рад. Ить через тебя мы здеся.

Андрей коротко рассказал про свои мытарства. Степан молча выслушал. Смахнул слезу, проговорил:

— Евстигней во всем виноват. Сожгли мы его на костре. Всяк сказал, мол, смерть предателю. Где-то мыкается со своим двоедушием в аду. Не позавидуешь. А сейчас пошто здесь?

— Бежим в тайгу. Жандармы снова на каторгу зовут, да что-то не хочется,— усмехнулся Андрей.

— Айда к нам. Все пошли. Как дружка звать?

— Алексей Тинфур. Свойский человек.

— Пошли, у нас не пропадете,— уговаривал Степан Бережнов.

— Нет, Степан Алексеевич. Уставы у нас разные. Не будем путаться под ногами. А вы чего бродите по тайге?

— Землю познаем. Нам ить на ней жить, а раз жить, то надо знать, куда какая тропинка течет.

— Хунхузы не беспокоят?

— Пока нет. Стороной обходят. Русских они побаиваются.

— М-да, сказали бы, что с вами встренусь, то не поверил бы.

— Земля тесна, Андрей Феодосьевич, я бы тоже вруну уши надрал, скажи он мне, что встренемся. Да не дичись ты, Алексей. Имя-то наше. По-нашенски-то говорит аль нет?

— Говорит,— усмехнулся Алексей Тинфур.— Не удивляйтесь, я с русскими почти с пеленок. Они мне как братья. Еще ни один русский, кроме Лариона, меня не обидел, не был врагом.

— Рад, что наш язык знаешь,— знать, и души наши познал. Давайте гоношить шалашик, дождь в ночь будет,— сказал Бережнов и первый пошел драть кору.

Сбоку хлопотала речка. Споро построили шалаш, заварили чай, поужинали, потек мирный разговор.

Бережнов рассказал, как они спустились на шельях в Студеное море, потом вошли в Енисейскую губу, поднимались по Енисею до Байкала.

— Остались бы там, но земля студеная. Решили бежать до Беловодья. Умирали дети, старики и старухи, мужики, но никто не роптал. Уверовали люди в то, что есть Беловодье, на том

и держались. Только Беловодья-то не нашли. Нет его. Ибо дальше море, а за морем чужие страны. То нам ведомо доподлинно. Жаль, конечно, но жить здесь можно. Раз у вас пристав с казаками, то и у нас тоже будет. А бежать, как поняли мы, дальше-то некуда. Придется тоже ладить с ними, брандахлыстами, куда денешься,— заключил Бережнов, наставник раскольничьей братии.— Не дай мы бой, сдайся мирно, то меньше бы мук хватили. Но без боя не обошлось.

Жандармский поручик искал следы Андрея Силова. Он уже знал, на кого можно опереться. Зашел к Гальке Силовой-Мякининой.

— Вы писали, что ваш брат хунхузил, что он убил Лариона? Так ли это?

— Думаю, что так. Конечно, и Ларька был не мед. Оба хороши,— с чего-то пошла на попятную Галька.— Андрей бежал в тайгу, будто в Кабанью падь, а где та падь — не знаю. Может об этом знать его старшой сын Васька, вместях ходили выбирать место под деревню. Вот и все, что могу вам сказать.

— Не жаль брата?

— Всех жалеть, то и жалейки не хватит. Зла за Ларьку на него, вот и все... Вдова, а детей куча.

Поручик зашел в дом Василия Силова. Взял его за подбородок, как мальчонку, Васька вспыхнул, оттолкнул руку, зло сказал:

— Непозволительно вам так обращаться со мной!

— Горяч, еще, видно, не порот. Так выпорю.

— Поркой не пугайте, все дело испортите. Что вам надо?

— Куда бежал отец?

— С этого бы и начинали. Куда бежал, то ему ведомо. Места там добрые.

— Кто еще знает о тех местах?

— Почитайте, половина деревни. Ходили выбирать место на случай побега.

— Поведешь ли нас на родного отца? — с брезгливой усмешкой спросил поручик. Ведь и жандармы не любят предателей, хотя без их услуг и дня не могли бы прожить.

— А кто же вас поведет, как не я? Отец бросил нас, за это я ему отомщу.

— Хорош сынок, ничего не скажешь. Ладно, готовься в поход, но об этом ни слова другим.

— Сам с усам,— бросил Васька и отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

Андрей, средний сын Андрея, притаился на печи, слушая этот страшный разговор. Как только вышел жандарм, он спрыгнул с печи и бросился с кулачонками на брата, кричал:

— Изменщик, двоедушник! Маму обидел, теперича тятьку хочешь, чтобы убили жандармы.

— Цыц, щанок! — дал подзатыльник Васька.

Андрей убежал к Воровым, здесь был малый совет. Харченко ходил по натертому песком полу, кусал усы, гадал:

— Предаст или не предаст Васька?..

— Васька все рассказал жандарму, он поведет казаков на тятьку, они убьют его,— разом выпалил Андрейка и заплакал.

— Аниска, дуй не стой, догоняй Андрея, пусть уходят в другое место. Пропал не то мужик,— приказал Харченко.— Мужики, вы тоже садитесь на коней, в случай чего дадим бой. Мне уже терять нечего.

— Не ввязывайтесь вы в это дело, Капитоныч. Мы мужики, мы и будем защищать своего. Порка для нас привышна. Не ходите с нами. Пропадете,— ровно говорил Иван Воров, натягивая сермяжный пиджак, набивая сумку порохом и пулями.— Аниска, ты нас поведешь. А вам, Капитоныч, сидеть дома. Ждать вестей.

Но промешкали мужики. Отряд казаков уже ходко погонял коней по тропе. Впереди Василий, тоже на казачьем коне...

Друзья решили дать дневку. Что-то приболела Софка. Бережнов тоже остался с другом на дневку. Куда им спешить? Они тоже идут к морю, а со знающими людьми и тропа короче.

У коряного шалаша сидел Алексей. Он резал деревянную фигурку острым ножом, хотел по памяти вырезать лицо Ивана Русского. Но не получалось. Иван выходил каким-то суровым, с каменной улыбкой на губах. Не такой был Иван. У Ивана была улыбка мягкая, добрая, спокойная. Вдруг опустил нож, прислушался. Его чуткое ухо уловило чьи-то шаги, шаги опасные, шаги крадущиеся, много шагов. Тронул за плечо спящего Андрея, проговорил:

— Андрий, проснись, плохи идут сюда люди. Много людей.

Андрей вскочил, проснулась Софка, поднялся Бережнов с Исаком Лагутиным.

— Слышишь, идут со всех сторон.

— Дым наш заметили, вот и окружили. Эх, как мы опростоволосились! Но кто же ведет их сюда? Аниска? Нет, этот умирая не покажет дороги. Васька! — вскричал Андрей.— Мой сын-перевертыш ведет казаков.

— Андрей, бежать надо! — теребила за рукав Софка.

— Куда? Ты слышишь, отовсюду шаги, мы окружены. Как ты, Алексей, не взял своей собачонки, она не дала бы окружить.

— Эй, Силов, сдавайся! — закричал поручик.

— Я буду сдаваться,— подал ружье Софке.

— Чудак, ты идешь сдаваться, а что нам делать? Ты каторжник, мы беглые, с тобой,— знать, твои сообщники, нас тожить на каторгу. Внял ли это? А нам каторга не с руки. Ежли что, так уж лучше в бою умереть,— проговорил Бережнов и первым выстрелил на крик. Кто-то истошно закричал,— кажется, первая пуля не ушла даром.

И загремели со всех сторон выстрелы. Пули секли веточки, клейкие листочки, врезались в валежины, за которыми спрятались защитники. Они стреляли редко, но каждый выстрел нес смерть. Казаки залегли за колодины, под пули лезть не было желания.

Андрей приподнялся, хотел перебежать к более надежной валежине, но тут же ойкнул, схватился за грудь и начал оседать. Кровь темным пятном начала расползаться по рубашке.

— Убили! — вскрикнула Софка, отбросила ружье, встала на колени перед Андреем. Повернула лицом вверх. Он был мертв. Но и сама как-то резко качнулась, тихо ойкнула и прикрыла собой Андрея.

Алексей подполз к друзьям. Оба были убиты.

За чащей кричал жандармский поручик, требовал наступать на бунтарей. Но казаки, постреливая, неуверенно ползли вперед.

Алексей водил стволом, искал жандарма. Но тот сидел за выскорьем, не показывался на глаза...

Со взлобка сопки прогремел выстрел, другой. Поручик медленно повернулся на выстрел, встал во весь рост, качнулся раз-другой, рухнул лицом в серую глину и щебень. Аниска не мог промазать.

И загремели выстрелы. Казаки, как только увидели, что убит поручик, тут же бросились к коням. Коней сторожил Васька. Кто-то из казаков что есть силы огрел его плетью, заорал:

— Иуда! Отцеубийца! — начал хлестать его по рукам, плечам, лицу.— Иди поклонись праху отца.— Сбил с ног, чуть конем не затоптал.

Казаки немного отъехали и остановились. Что делать? Ведь все, кто в них стрелял,— это старые друзья. Друзья по борьбе с бандитами. Друзья по борьбе с таежными разбойниками, когда дружины сельчан выезжали вместе с казаками, чтобы рушить лудевы, вылавливать беспаспортных манз. Не все обходи-

лось гладко, навстречу гремели выстрелы, дзенькали пули. Вот и Иван Воров, которого видели казаки, уже был дважды ранен в таких перестрелках. Вот и Анисим, верный друг и помощник Харченко, не однажды пробирался в стан врага, подслушивая их разговоры, многих спас от верной смерти. Алексей Тинфур, который десятки раз водил казаков по следам убийц и находил их, куда бы они ни спрятались. Да кого ни возьми, тот и свой человек, помощник и друг в делах защиты земли русской.

Нет, Василий не побежал к убитому отцу, он вскочил на коня, погнал его в Аввакумовскую долину, через перевал. Прошмыгнул мимо казаков, втягивая голову в плечи. Кто-то сдернул ружье, чтобы пустить пулю в спину отцепредателя, но ружье выбили.

— Не марай руки об дерьмо,— гадливо скривился старый служака.

— Что делать? Не можем же мы бросить своих? Головы снесут, а к мужикам не подступись. За Андрея голову выкрутят из плеч,— тревожились казаки.

Харченко остановил взмыленного коня. Тревожно спросил:

— Ну, как там? — кивнул вперед.

— Убит поручик, Андрей, это точно; кажется, Софку тоже срезали. Потом навалились мужики, мы не стали затевать с ними бой.

— Правильно сделали. Поворачивайте коней, поехали. Может, раненые есть, тела с собой забрать. Негоже своих бросать на поле брани.

— Кто свои, кто чужие, поди разберись. Эх, служба наша распроклятущая, не знаешь, какому богу и молиться,— ругались казаки.

— Перебьют нас мужики.

— Не тронут. Мужики люди понимающие, не вы их враги, а те, кто вас на них гонит. Поехали.

Мужики, во главе с Иваном Воровым, настороженно встретили казаков. Хмуро, исподлобья смотрели на них. Даже приезд Харченко не смягчил их. Иван Воров только и сказал:

— Забирайте своих и дуйте отселева!

— Сволочи! — потянул руку Аниска к горлу казака.

— Не сволочись, Анисим, они не вольны в делах своих,— остановил Харченко — Забирайте, ребята, убитых, уезжайте. Раненых нет?

— А вы? — удивленно повернулись казаки.

— А я с ними. Я уже пристав отставной. Запишусь в мужицкое сословие и буду мирным пахарем, охотником. Прощайте!

— Здесь нет мира. Царствие ему небесное, добили-таки великомученика Андрея,— широко, двуперстием перекрестился Степан Бережнов. — Пошли, Исак, не будем встревать в чужое дело. Своих под завязку.

Эти двое ушли в сторону моря, чтобы посмотреть на его кипень неуемную, глубже узнать землю.

Алексей Тинфур тоже взял в руки ружье, котомку, сказал:

— Прощай, Андрий! — Стянул с головы шапку.— Прощай, Софка! Я за вас отомщу людям в погонах! Прощайте, русские люди! — поклонился и живым Тинфур, пошел в сопку...

Роман Жданов — он же учитель, он же наставник в Пермской. Пермяки отказались от попа. Стали не то раскольниками, не то иноверцами, но беспоповцами. Он читал псалтырь над невинноубиенными.

— Не суди мя, боже, и рассуди прю мою: от языка преподобна, от человека неправедна и льстива избави мя...

В Ольге поп, в новой церкви, тоже читал псалтырь над невинноубиенными — жандармским офицером и тремя казаками. Те же слова, та же мольба к богу. Ведь псалтырь читают над добрыми и злыми. Разве что такие, как Ларион Мякинин, остаются без отпевания. Таких отринул народ, с такими сам господь бог пусть разбирается.

Ольгинский поп предал анафеме пермских мятежников, которые якобы восстали против церковной власти. А восстания-то и не было. Просто пермяки отказались строить в своей деревне церковь, мол, без надобности она. Наш Роман Ефимович и без попа и церкви ладно хороводит своей паствой. Честен, от приношений отказывается. Ладно и в меру сил своих учит детей. А другого нам и желать нечего.

Выгнали пермяки и купца, который хотел построить здесь кабак. Ведь Пермское — самое большое село в долине Аввакумовки. Будь здесь церковь, кабак, зело борзо можно было бы службу править и о кабаке не забывать. А пост Ольга малолюден. Прихожане неохотно угощали батюшку за свои кровные, сами не прочь выпить на дурняка. Ждали, что будет город заложен, но его так и не заложили. На этом слухе-то и прогорел Сергей Пятышин, он скупил здесь, в Ольге, много земель, а когда не стали строить город, то те земли и за пятую часть

цены едва продал. А будь город, то быть бы Пятышину миллионщиком. Теперь он снова бедняк, снова его звонкий молоточек кует деньги.

Андрея и Софку пришли хоронить люди из всех деревень. Даже бродяги из Шамыня, те, кто честно работал на этой земле. Кого-то из них выручил Андрей, кого-то спасал в оспу, с кем-то поделился последним куском хлеба. Люди добро его не забыли, потому что он творил то добро от чиста сердца, не помышляя о том, что творящему добро люди в ноги поклонятся.

Здесь же была Варя. Ее своей властью, пока не было пристава, отпустили из карцера казаки. Она, суровая, с поджатыми губами, стояла над убитыми. А перед этим всенародно прокляла сына, отреклась от него. Первой бросила горсть земли на кедровые гробы и поспешно ушла домой.

Иванка тоже бросил горсть земли и прижался к ногам бабушки.

Только не было Васьки. Он ушел в тайгу, отринутый и проклятый людьми и матерью.

— Помолимся, люди православные,— сказал Роман.

Люди повернулись на восход солнца, которое чисто и светло сияло над тайгой, и долго молились, прося бога о милосердии, призывая его к добру, ибо бог, как поняли многие, не так уж внемлет к горю людскому...

Ночью на кладбище надрывно кричала квонгульчи. До сих пор не слышали люди в том месте ее крика. С чего бы это? Уж не душа ли Софкина ищет душу Андрея? Может быть, потерялись их души по пути в небо? Кто-то спутал их неторные тропинки. Вернулась назад, чтобы криком своим вернуть душу Андрея, а уж потом улететь вместе. Но, видно, не докричалась Софка-квонгульчи, кричала она до осени, потом на другое, третье, даже пятое лето слышали ее голос люди. Стонала и оплакивала мужицкую любовь, чуть суровую, не всегда нежную. Тайну любви оплакивала. Не понимали люди крика квонгульчи, ведь для людей голоса птиц и зверей — тайна. Но краем души доходили, о чем говорит квонгульчи, кого оплакивает...

28

Приехал новый пристав. С ним была уже сотня казаков. Прибыл и следователь, чтобы разобраться в делах Андрея и Вари, выяснить причину бунта.

Харченко, теперь уже мужик, спокойно изложил суть бунта. Почему мужики пошли в защиту Андрея.

— А кто убил поручика?

— Все стреляли. И советовал бы я вам закрыть глаза на бунт и не тревожить мужиков, им и без того хватает работы. Ежли мы их обозлим, случись беда, то и защищать будет некому эту землю.

— Казаки говорят, что поручика убил Аниска?

— С перепугу они многое могут сказать. Аниска — наш до последней волосинки.

— А кто убил намедни служивого?

— Его мог убить хунхуз, а может быть, кто-то из наших. За Андрея есть кому постоять и отомстить.

— Ночью наши видели Аниску и Алексея. Дружков твоих. Это они убили?

— Все может быть. Тинфур ушел в тайгу, с ним, с семьей, ушел и Аниска. Друзья, что поделаешь.

— А кто поднял народ спасать Силова?

— Иван Воров, об этом знает каждая собака. Да и не бунтовать он повел мужиков, а спасти от неправедной смерти. Ведь казакам было приказано стрелять в Андрея. Вот что, господа, я не пришелся ко двору, потому что заигрывал с мужиками, как вы говорите. Хочу вам дать совет — жить так же с мужиками, как жил я с горсткой казаков. Ежли вы потеряете мужиков, то поверьте, трудно вам будет. А порой и лихотно. Они наша опора, наша сила...

Иван Воров не отрицал своей причастности к бунту. Он заявил:

— Повел мужиков я, потому как того душа восхотела. Бунтарь? Да, бунтарь, бунтую, почитайте, с самой Перми. Сюда пришел, когда все было ладно и к месту, не бунтовал, наоборот, живота не жалея, дрался за Россию. С царем заодно обихаживал энту землю. И не боюсь я вас, тайга велика, тайга глуха, пока сыщете, то судить вам придется не нас, а уже внуков наших.

— Я вас прикажу арестовать, гражданин Воров!

— Здря, ваше благородие, грозите. Сгинете и вы, как сгинул тот офицер.

— Грозите!

— Упреждаю. До встречи,— бросил Иван картуз на лысую голову и ушел.

Пятышин тоже спокойно увещевал:

— Поймите вы, ваше благородие, здесь не та Россия, где подняли солдат по тревоге и в бой на мужиков. Здесь сила на

нашей стороне, здесь неизведанная тайга. Ежли что, то все бросим, деревни сожгем и уйдем от вас. Нам ведомы тайные тропы, с нами пойдут инородцы. Зайдем в такие места, где Макар телят не пас. Проживем. Мы ить уже многое можем. А что вы без нас? Кто вы без нас? Без нас вы никто! Жили мирно, дружно, беды сообща отводили, налетел коршун, всех расклевал, размотал, сам сгинул и других погубил. А Ворова не трожьте. И не затевайте суд. На суд мы придем и с ружьями, и со стрелами. Для нас бунт, ежли что, дело знакомое. Бунтовали, и не раз.

Суда не было. Никого больше не тревожили, забыли и про Варю. Но добрая дружба с казаками и служивыми нарушилась. Люди сторонились пристава, а он их...

Прибывали новые артели переселенцев, закладывались новые деревни. И на берегу моря, и в глухой тайге. Туда чаще забирались раскольники, подальше от царя и церкви.

С горы Крестовой теперь можно было часто видеть густые дымы пароходов, белые паруса старых судов. Эти уже отживали свой век, на смену им шли железные, сильные пароходы, которым не нужен ветер, не столь страшен шторм. Лаврентий Кустов иногда поднимался на Крестовую, чтобы через даль прошлого увидеть новые времена.

Двадцать шесть лет минуло, как одно мгновение. Двадцать шесть лет проскользило над этими сопками. Здесь вся жизнь Лаврентия Кустова, густые штрихи в памяти: первая казармешка, четверо против всего мира, с нее-то и началась жизнь в этом краю, и тот первый парусник, которого матросы ждали без малого год, и та первая борозда, первый крик ребенка, а за всем этим первая и негасимая любовь, и первый дом, и первый бой. Земля застоялая проснулась, загудела. Но только в том гуле слышны жалобы, даже мольба: не грабить, а созидать. Но пока грабили, а не созидали... Все в памяти. Все. И тот ужасный взрыв, который потряс сопки, выплеснул воду из Малой бухты. Взрыв, что спас первую деревню, а в нем Феодосий. Вон он выходит из волн морских, отряхивает с плеч своих морские водоросли, выпутывает из бороды ракушки. Вышел на берег. Вышел, чтобы спросить людей: «Не создали ли еще Беловодское царство? Праведно ли живете в тайге? Не занесли ли топор над землей, чтобы изрубить, искромсать ее, родимую, а потом бросить воронам на расклев?..»

— Занесли, Феодосий Тимофеевич, занесли. А что будет дальше, то одному богу известно,— прошептал Кустов и тихо побрел с горы.

Но что бы там ни было, здесь росло крепкое и сильное племя тайгарей. Эти парни не побегут от тигра-людоеда, не метнутся

прочь от медведя-шатуна. Эти осели в горах Тигровых — накрепко и навсегда. Глубоко пустили в землю обетованную кряжистые и гибкие корни. Не вырвать, не изломать.

Уже вел внуков на тигровую охоту Иван Воров. Сам еще крепкий и все так же веселый старик.

Учил кузнечному ремеслу внучат Сергей Пятышин. Охота хорошее дело, но звонкий молоточек всегда прокормит.

Ночами, в тихие вечера, все так же стонала и звала куда-то ночная птица квонгульчи. И люди, слушая ее голос, почему-то грустнели и замолкали. Тянулись на ее зов, но не каждый знал путей своих нехоженых, не знал, куда зовет их та птица. Потрескивали костры, подолгу молчали люди...

Сихотэ-Алинь, Кавалерово,
1969—1974

ОГЛАВЛЕНИЕ

Басаргин Иван Ульянович

В ГОРАХ ТИГРОВЫХ

■

М., «Советский писатель», 1975 г., 336 стр. План выпуска 1974 г., № 6.

Художник В. Г. Дмитриев. Редактор И. Н. Жданов. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор З. Г. Игнатова. Корректор Р. Г. Рагимова.

Сдано в набор 17/IV 1974 г. Подписано в печать 23/VI 1975 г. А02305. Печ. л. 21 (19,53). Уч.-изд. л. 21,07. Бумага 60×84 1/16, № 1. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1417. Цена 81 коп.

Издательство «Советский писатель». Москва, Г-69, ул. Воровского, 11.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

ИВАН
БАСАРГИН
В ГОРАХ
ТИГРОВЫХ